НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

КНИГА
ПЯТАЯ
МАЙ

МОСКВА
1927

Москва. Главлит № 85.711. 28.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Вл. ЛИДИН. — Отступник, *роман*, продолжение 5
2. Бор. ПАСТЕРНАК. — Лейтенант Шмидт, *поэма*, окончание 39
3. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Глушаки, *рассказ* 48
4. Бор. СОЛОВЬЕВ. — Рябина, *стихотворение* 55
5. Э. БАГРИЦКИЙ. — Бессонница, *стихотворение* 56
6. Д. БРОДСКИЙ — Баллада о маяке, *стихотворение* . . . 58
7. Павел НИЗОВОЙ. — Повесть о любви 59
8. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Из цикла „Люди", *стихотворения* 96
9. Павел ДРУЖИНИН. — Весенние стихи 98
10. Конст. БОЛЬШАКОВ. — Роза Ветров, *рассказ*. 99
11. Ник. ЗАРУДИН. — Два стихотворения 107
12. Мих. СКУРАТОВ. — Песня горемыки, *стихотворение* . . 109
13. Семен КИРСАНОВ. — Лирика, *стихотворение* 111
14. В. ВЕРЕСАЕВ. — Из детских лет, *окончание* 113
15. Серг. МАЛАХОВ. — Путешествие по Москве, *стихотворение*. 127

16. В. ГИППИУС. — Из неизданной переписки Н. Г. Помяловского 129
17. Виктор ГОЛЬЦЕВ. — О преодолении лирики в творчестве Блока 134
18. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Критические заметки. Блеф продолжается 147

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

19. Виктор КРАСИЛЬНИКОВ. — А. Новиков-Прибой 168
20. Р. КУЛЛЭ. — Синклер Льюис 173
21. Фрол СКОБЕЕВ. — Литературный ларек 182
22. Проф. П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. — Нескромности лорда Берти 185
23. А. ИОФФЕ. — За рубежом (путевые впечатления) 190
24. АДАЛИС. — Под Араратом. 199

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Стр.

Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Мих. Волков „Байки Антропа“ 204
В. КРАСИЛЬНИКОВ. — Ал. Тверяк „Передел“ 204
А. ЛЕЖНЕВ. — Ал. Сытин „Брат идола“ 205
Б. АНИБАЛ. — Конст. Большаков „Сгòночь“. 206
Виктор ГОЛЬЦЕВ. — Мариэтта Шагинян „Избран. рассказы“ 206
Як. БЕННИ. — Т. Дмитриев „Зеленая зыбь“ 207
Л. ГРОССМАН. — „Московский Пушкинист“, I. 208

Отступник

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Продолжение[1]*)*

VI

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты...

А. Блок

Накануне среды Свербеев напомнил, что Вера Никольская будет ждать завтра к восьми. В сущности, зачем условился он с чуждой ему этой женщиной пойти на вечер к поэтам? Стихи Безсонов писал для себя, глубоко и потаенно они возникали в нем, а здесь нараспев и вслух читают друг другу, нисколько не стыдясь и не стесняясь этих своих, мучительных для него, признаний. В среду с утра он много работал перед зачетом, но уже с шести вечера необ'яснимо и даже волнующе стало мучить его ожидание; и в начале восьмого, так и не сумев побороть это чувство, он вышел из общежития. Вера Никольская жила в большой холодной комнате-студии, на стенах висели необычайные плакаты, красные и рыжие,—все это была ее работа. На железной печурке стоял чайник, столь закоптелый, что казался утварью каких-то миновавших веков.

— Заходите, Безсонов, — сказала она как-то широко и очень свободно, совсем как мужчина мужчине, — скидавайте пальтишко, успеем к поэтам и в девять. Вы стихи захватили? Все равно заставят читать, у нас каждого новичка заставляют. Да чего вы смущаетесь? Я не кусаюсь, ей-богу. Не скромница, скрывать нечего, но сама не набрасываюсь...—Она говорила это и словно оглаживала очень спокойным и чуть насмешливым пришуром своих глаз.

И Безсонов почувствовал вдруг, что не ужасается он не-женской всей этой грубости, а слушает женщину с волнующим любопытством. Было в ней, во всем ее смутном облике какое-то бесстыдство, которое

[1]) См. «Новый Мир», № 4 с. г.

тайно тревожит,—и, чтобы отвлечь себя от этого, самому ему противного в себе беспокойства, он заставил себя думать о Тане. Такой, какой проводил он ее тогда от Свербеева—с милой и чуточку скорбною прядкой на щеке из-под шапочки, с девичьим профилем и очаровательной неправильностью находящих друг на друга зубов,—такой, хотел он, чтобы возникла она в этой комнате, но в комнате пахло сырою известкой, красками и близостью совсем чужой, непонятной и все же его волнующей женщины. Впрочем, Никольская не стала его больше испытывать, она не спеша оделась, и вскоре они вышли отсюда. Вечерняя Бронная оплеснула их гнилью тумана и зеленой сочащейся влагой газовых фонарей. Он шел чуть впереди и видел сбоку, что женщина смотрит вперед, загадочно щурясь и словно усмехаясь всему, что думает и чувствует он сейчас. Четверть часа спустя пришли они к поэтам. Лохматый и дикий человек, в холщевой куртке, с галстуком бабочкой, с угрюмыми глазами недопившего или перепившего человека, стоял на лестнице; губы у него были лиловые от чернильного карандашика, который сосал он, как карамельку.

— Здравствуй, Верка, — сказал он, совершенно блуждая в каких-то своих отвлеченьях, — кого привела? Ваша фамилия, товарищ? Больше пяти минут не читать, у нас сегодня восемнадцать человек выступают.

— Я не собираюсь читать, — сказал Безсонов в полном смущении, — я пришел только слушать, — но дикий человек поглядел на него равнодушно пустыми глазами.

— Нельзя отказываться от выступлений, не по-товарищески...— и на листке на колене, уже вовсе отсутствуя, стал записывать свои очередные дела.

Поэтессы, с янтарными четками на впалой груди, стриженые по-мальчишески, с начесанными с ушей наперед серпами волос; девушки, которых встречал иногда он на улице: в каких-то пестрых картузиках, в шерстяных — зеленых и красных — ярких носочках поверх чулок, с губами в пламени от кармина, они блуждали неспешно и сами себе нараспев говорили стихи; подростки, мечтательно вникающие в эти распевы, с расширенными, словно от наркотиков, глазами — ученицы студий и стиховедческих школ; молодые люди с достойною сухощавостью, в роговых очках преимущественно — вожди и мэтры, со скромной медлительностью посвященных проходящие сквозь ряды учеников; и главное — вся эта молодежь в бобриковых куртках, в шинелишках, в пальтишках на собачьем меху, уже завороженная славой, возможностью находить основу жизни в стихах, слетевшаяся мошкарою на свет бутафорских ламп, — таким возникло перед ним это сборище. В зал набивались, занимали места на окнах; Вера Никольская уверенно провела его сквозь толпу. Они сели на деревянной скамейке в углу у стены, и Безсонов ощутил очень близко то же самое тепло, от которого час назад на мансарде так туманно зашлось его сердце. Случайно или нарочно, сидела Вера близко

к его плечу, и с удивлением уловил он в себе, что это теперь не отвращает его, а как бы жарче тревожит. Скоро в залу набились вплотную и затерли проход. Мэтры заняли места за круглым столом. Прежний дикий человек неистово зазвонил в колокольчик. Собрание было открыто. Томный молодой человек, слабый, как былинка, с подхваченными короткими брючками и в сереньких гетрах, вышел вперед. Сцепив опущенные руки, он стал изгибаться, как страдающая Антигона, и вдруг запел, обрывая слова, ломая руки и выворачивая плечи в непоправимом отчаянии. Две девушки рядом с Безсоновым смотрели на него восхищенно; детскими пальцами они поправляли выпадавшие прядки волос. Наконец, поэт выплеснул все, что его мучило, и потупился скромно. Девушки рядом захлопали неистово. Колокольчик всхлипнул, и председатель прервал овации. Минуту спустя юноша запел поэму о голоде. Сбоку, сзади дышали жарко; некоторые следом шевелили губами. Мэтры неподвижно, с суровыми лицами, как врачи на консилиуме, сидели полукругом. И поэта-былинку сменил рыжий, угрюмый юноша с презрительно опущенным ртом. Став в полоборота, презирая, словно выплевывая слова, он стал их цедить — это были стихи об уличных кабаках, о бандитах и сутенерах, и все это называлось „Баллада о финском ноже". Поэт процедил балладу, не поклонился, хотя очень хлопали сзади, и даже мэтры похлопали пальцами, и поэтесса с прозрачными, словно бутылочными, глазами и с мальчишески-остриженной головой, глядя поверх в космические какие-то пространства, стала извлекать из себя стихи с таким мучительством, как будто пророчествовала или решала сложнейшие вычисления.

И пошли сменять друг друга поэты и поэтессы, простачки, читавшие нараспев с костромским или волжским оканьем, потряхивая крестьянскими волосами, девицы, разминавшие на нёбе стихи, как тянучки, и молодые проворные люди, которых можно увидеть во всех модных местах, которые всегда отлично одеты и выбриты, всегда с красивыми женщинами, нигде не служат, считаются поэтами и неизвестно на что существуют. Так слушал Безсонов все эти завыванья и голубиные стоны, сменившие неожиданно привычный круг формул, расчетов консоли и параболических ферм, а рядом была чужая и случайная женщина, которая уже запросто прижималась к его плечу, — и именно в эти часы волнующий круг чертежей и расчетов казался страшно далеким, а то, что происходило вокруг, — необычайно важным и поучительным. Особенно же волнующим для него было то, что все эти люди вокруг обладали чудесным и таинственным даром, над добычей которого столько он бился, — даром песни и слова. Он так увлекся всем этим, что даже не понял, когда по списку назвали вдруг его имя, но Вера Никольская стала толкать в плечо, а дикий человек хлопал в ладоши и обращался к нему над толпой:

— Ваше слово, Безсонов!..

Тогда он понял все и ужаснулся; прижав к груди руку, он стал ему было доказывать что-то умоляющим голосом, но его не слу-

шали и хлопали в ладоши, а дикий человек подошел, взял его за руку и потащил за собою к эстраде. И минуту спустя Безсонов увидел круг человеческих лиц, десятки женских глаз, какой-то черный и многоглазый провал, сгрудившийся вкруг него, от волненья и ужаса мгновенно облился он потом, а человек позади шипел ему яростно:

— Да читайте же, чорт возьми... будет ломаться!

Он стоял растерянно и потирал мокрые ладони,—и он понял, что нужно читать, что бы ни вспомнилось, потому что иначе его засмеют... Напрягая мучительно память, ничего не мог он припомнить — и вспомнил, наконец. Это были стихи о близких, о городе, где отшумело его детство, и о ржи, которая не цветет в городах. Почти закрыв глаза от отчаянья, не слыша собственных слов, он прочел это. Сразу заплескались ладоши: стихи понравились — они были грустны, и оттого что от ужаса он себя не слыхал, он прочел их взволнованно и хорошо, вероятно. Он хотел вернуться на место, но его не пустили, опять человек прошипел позади: — „Читайте на бис", — и он вспомнил другие стихи... Так, залитого потом, со слипшимися на лбу прядями, мучили его целых десять минут и, наконец, отпустили. Не видя людей, в тумане он вернулся на место. И сейчас же крепкая женская рука значительно и жарко пожала его руку, точно были связаны между собою они не первые месяцы. В тумане же, не видя людей, он вышел отсюда с Верой. Хорошо опахнула тьма сыростью. Наслаждаясь, подставил он изнемогающее лицо этому ее отеческому дуновению. Шел дождь, заливая унынием засыпающий город, и поэты расходились — в Замоскворечье, Бутырки, Хамовники, как бы раздвигая это дождливое марево неугасаемым светом стихов и мечтаний.

VII

Вера взяла его под руку, и неумело шел с нею он рядом.

— Ужасно, что я сегодня читал! — сказал он, искренно ужаснувшись себе, как решился и мог это сделать.

Но Вера приникала к его локтю, она посмотрела на него блестящим глазом, женственно теплевшим под яркою шапочкой.

— Прекрасно читали, искренно, не ломались, — сказала она нараспев, — и то, что она не осудила его поступок и даже одобрила, делало ближе ее и милей,—да и по правде был ли этот поступок настолько ужасен? Он никогда не читал стихов для других, а вот теперь он прочел их вслух и ничуть не хуже, чем остальные, ему аплодировали, и женщина, которая идет с ним сейчас, хвалит его талант. А вдруг впрямь — талант, блестящая возможность вознести себя талантом, а не зарывать его в чертежи и кривые. И он подумал в эту минуту об общежитии, о студенческих трудовых и безрадостных буднях, — и, в сущности, прав Свербеев: а что же ожидает их дальше? Перепроизводство... диспетчерство с канарейкой на маленькой станции? А тут — талант, может быть, слава, связанная с его единственным

именем, — не инженер-транспортник, каких сотни, а поэт — один среди тысяч, то-есть, не гвоздь, затерянный в этом огромном городе, а составная блестящая часть его славы... Впрочем, он думал об этом в том же смутном тумане, головокружительно и до невозможности зыбко. Они прошли по бульвару и вышли к Страстному. Машинально сел Безсонов следом за Верой в трамвай, почему-то решив, что едут они вместе к Бахметьевской, и только тогда, когда стали срываться назад незнакомые и худо освещенные улицы, удивленно спросил он ее:

— Куда же мы едем?

Вера молчала очень хитро и затем сказала, не торопясь:

— Увидите... я вас нарочно хочу с одним человечком свести: это Курепов, кино-механик. Когда вы сегодня читали стихи, мне пришла в голову мысль... вам ведь деньги нужны? Попробуйте сняться в кино. Многие студенты работают здесь, а я помогаю писать декорации. Сейчас ставят историческую фильму... может быть, подойдете для роли молодого боярина, Курепов посмотрит и все сразу скажет. А деньги вам пригодятся.

Конечно, мог бы крепко Безсонов задуматься, почему этой женщине может быть важно, есть ли деньги у него или нет, и уже во всяком случае не этого ради везет она его ночью к Петровскому парку, чтобы показать какому-то кино-механику. Но он не мог сейчас до конца продумать все это, его чувства были в смятении, словно жизнь сорвалась в этот вечер с оси, и теперь, чем дальше будет она нестись,—тем естественней и великолепней... Трамвай скоро опустел, стал сверлить зеленеющие улицы, деревья сумрачно пошли по сторонам. Вера поднялась, у зеленого огонька остановки они сошли. Улица была совсем пустынна и незнакома. У большого и словно нежилого строения со множеством стекол Вера позвонила уверенно. Минуту спустя им открыли, и они вошли в это здание. Стеклянный ночной ковчег, сумрачно отражавший в стеклах зеленую мглу окраинных фонарей, оказался павильоном для с'емок. Человек, их впустивший, зажег тысячесвечную лампу, слепительным фиолетовым светом она оплеснула чешую стекол, картонные декорации, золоченую мебель, бутафорию, груду боярских костюмов, пюпитры с угольными лампами и змеями проводов, аппараты для с'емки, — все недра этой загадочной фабрики.

Механик Курепов жил здесь, до приискания квартиры, на кожаном старом диване, похожем на дилижанс. Курепов был головаст, мал ростом, с монгольскими глазками и во френчике какого-то удивительного горчишного цвета; на голенастых ногах у него были рыжие краги бутылками. Он не удивился ничуть ночному этому посещению, быстро поглядел на Безсонова, точно прикинул его на ладони, и повел за собой, мимо огромного и затейливого боярского дома, сколоченного из фанеры и планок. Безсонов осторожно шагал через сонные удавы проводов, смутно волнуясь от всего невиданного этого зрелища, и вдруг за

боярским домом увидел Свербеева... Свербеев шел навстречу и улыбался стеснительной и длинной улыбкой, словно смущенный тем, что обнаружили его в этом убежище.

— Это хорошо, Верка, что ты его сюда притащила,—сказал он и обнял Безсонова за плечи,—надо, брат, все видеть в жизни, а может и кое-что из всего этого выкроишь... Вот тебе, Курепов, боярин—лучше не сыщешь.

Опять его примерил Курепов, сощурив монгольский глазок.

— Бородку бы отпустить, режиссер с руками возьмет... а хорош, ничего!

Все сели позади боярского дома вокруг стола, на столе стояли картонные золоченые фляги и чарки, но Курепов быстро смахнул все это, и минуту спустя бутыль русской горькой уверенно сменила картонные фляги; затем он быстро ободрал колбасу, нарезал ее, достал огурцов,—и ужин у Курепова начался.

— Ты, Кирюшка, не робей... все это будто чудно по-первоначалу, а главное, держи знакомство с Куреповым. Курепов у режиссера правая рука,—и бесцветно и длинно подмигнул ему глазом Свербеев.

Курепов налил пузатые рюмки ваньки-встаньки, все чокнулись, и он сказал Безсонову благоволительно:

— Ну, что же, выпьем за наше знакомство, боярин... а боярин сойдет, может, и почище что подвернется. Тут с десяток студентов этим живут. А у кого есть способности, те и в артисты выходят...

Водка была горькая, отвратительная на вкус, содрогнувшая попервоначалу. Впрочем, минуту спустя стало очень тепло. Вгрызаясь в огурец, обстоятельно говорил между тем Свербеев:

— Почаще бы так встречаться... живем по-берложьи, лекции да зачеты, а когда же по-человечески жить? Пять лет на вуз, а потом лет пять, пока не пристроишься, это к тридцати пяти жизнь начинать... Нет, не согласен, чертежи чертежами, а жизнь—жизнью!..

И сейчас же с готовностью его поддержал Курепов:

— А не жить, так и кругозору никакого не будет. Какой же без кругозору ты инженер?!

Опять выпили за инженеров и за кругозор. И теперь Кирилл Безсонов тоже почувствовал, что хочет жить именно так—широко и победительно,—в коленях его от вина начиналась блаженная слабость, как-то замечательно длинно и обещающе улыбался Свербеев, пророчил славу Курепов, если только найдутся способности, а Вера смотрела на него так, будто давно уж решен был вопрос об его способностях, об его славе и обо всем, что туманно возникло перед ним в сегодняшний вечер. Затем он пил, уже не содрогаясь, вся эта огромная зала становилась еще необ'ятней, словно куполом само было небо—так плотно своим облачным чревом лежало оно на стеклянной крыше, а Свербеев все кивал ему и кивал, и близко и по-новому волнующе было тепло женщины, руку которой он пожимал под столом,—и, главное, все было очень добро, невыразимо добро к нему. Затем Свербеев

внезапно поднялся, он обнял его и дружески повел за собой; он привел его к другому дивану, стоявшему в стороне, шепнул:—„Отдохни-ка, Кирюшка",—и с благодарностью ощутил Безсонов блаженство от этих пружин, легчайше под ним колыхнувшихся, и от покоя, просторно воскрылившего над ним. А все неслось и неслось—забвенно и примиряюще, и это было так блаженно и странно, что он засмеялся от грусти. Слышал он затем сквозь весь этот горький туман, как поет Свербеев, и, вероятно, Вера Никольская щиплет густые струны гитары, и он совсем не мог для себя отделить того времени, когда вдруг оказалось, что потушен фиолетовый огромный фонарь, видно зеленоватое небо над крышей, а рядом с ним на диване знакомое то же и невероятное тепло... Он протянул вперед свои руки и встретил руки, которые тотчас замкнулись кольцом у него на плечах, а женщина—губы к губам — говорила что-то бессвязно и торопливо, уверяя, умоляя, ликуя... С недоуменьем и ужасом он тщился понять, о чем говорит ему женщина, и зыбкий бред неистово застлал этот голос.

В шестом часу утра, вероятно, потому что со скрежетом пронесся первый трамвай, Безсонов добрел со сна до широкой стеклянной стены. За стеною был сад, уже рассветало, шел дождь, дорожки были сыры, и осенняя жухлая зелень болезненно зеленела в этом рассвете. Он долго смотрел в этот сад и на синеющий дождь, и утро улыбалось туберкулезной улыбкой. Позади, на широком диване, в стынущем к утру большом стеклянном павильоне, спала Вера Никольская. Женщина, которую видел он дважды в жизни и которая в эту ночь стала близкой ему. Без раздумий, очарования и даже простого влечения. Ну, что же, мужская случайная встреча, о которой не стоит раздумывать... В роде жены бондаря в мальчишестве. Но ведь была не только жена бондаря, была еще Варенька... и есть, наконец, то удивительное существо, которое только два дня назад провожал он по Бронной и для которого так страстно хотел он собрать себя целиком. Но пусть даже прав в своих догадках Свербеев, разве для него, Безсонова, это что-нибудь значит, когда неутоляемой мечтой наполнила она его жизнь? А сейчас, после того, что случилось с ним в эту ночь, может он разве к ней подойти с прежним и нетронутым миром своей души? Такой же, как все, или хуже,—и он тотчас представил себе, как весело засмеялся б Свербеев над ним, если б узнал эти утренние покаянные его мысли. Ну, что ж, каждый ощущает по-своему, а он с мальчишества себя приучил к уединенной мечте, как к тайным тем песням, которыми ни с кем никогда не делился. Но тут же он вспомнил вчерашний вечер, успех, какие-то непостижимые зовы жизни, впервые для него зазвучавшие, и раскаянье, мучительно томившее только что, постепенно истаяло, все было — разнообразно, очень ново и завлекательно, настоящая жизнь, которой не знал он доселе... И легкий восторг от того, что в нескольких шагах от него лежит ему покорная женщина,—легкий восторг по-мужски всколыхнул его сердце. Неслышимо он вернулся к дивану. Вера спала, холодея утренним сном.

Воспаленно смотрел он на обвялый рот женщины, восхищаясь немыслимым совершением снов. Она вздохнула, открыла глаза и затаенно и долго на него поглядела, еще погруженная в бушующие ночные видения.

VIII

Три дня спустя после этой ночи, оставшейся туманным провалом, в котором изжога отвращения к себе так тесно свилась с необыкновенным волненьем,—три дня спустя Кирилл Безсонов приехал один в этот же стеклянный павильон. В павильоне шла с'емка, фиолетовыми солнцами горели юпитера, и множество бояр в длиннополых кафтанах, похожие на церковных певчих, отдыхали на диванах и поедали бутерброды в бумажках. Механик Курепов, который вызвал сюда его через Свербеева, в синем рабочем балахоне, озабоченно и потно налетел на него и потащил к режиссеру. Стоя на стульях, режиссер вопил на толпу статистов, изображавших опричников. Опричников потешали скоморохи с гуселькими, в самом деле веселые разбитные ребята,—но опричники веселиться не умели и лезли толпой в аппарат. Режиссер, в замечательном сером пиджаке с накладными карманами и в шерстяных зеленых чулках до колен, с таким неистовством размазывал волосы на своей голове, точно стремился их выдрать совсем. Отбушевав, наконец, с опричниками, он соскочил со стульев, очень театрально схватил Безсонова за руку и потащил его к свету. Здесь, отступив на шаг, оглядел его он в подробностях и дальше понесся разбивать статистов на группы.

— Дело сделано, кажется... поздравляю,—минуту спустя шепнул на ходу Курепов.

Взволнованный и счастливый, остался Безсонов один в стороне. Он ехал, убеждая себя, что только нужда и необходимость найти работу сюда его гонят, и не хотел сознаться себе, что нечто иное, сильнее денег и важнее работы, влечет его этой дорогой,—именно те необычайные зовы, которые в невозможном тумане возникли перед ним три дня назад на вечере у поэтов... Эти три дня он пытался вернуться к работе, он с упорством и даже торжеством победителя вычерчивал свои чертежи, готовясь к зачету,—но властно звучали какие-то новые песни голосами чудесных побед, и в эти дни писал он стихи, грудившиеся в нем неотступно и застилавшие и чертежи и близкий зачет. В детстве о запечатленном человеческом слове говорил Макар Макарыч ему, и, может быть, звезда его, Кирилла Безсонова, жизни—именно в том, чтобы запечатлевать это неповторимое слово, в том, чтобы быть носителем возвышенных образов,—а не рядовым инженером на транспорте, без имени, без памяти о нем и без высоких свершений... И сейчас, оставшись один в стороне, глядя на фиолетовые и нестерпимые светила угольных ламп, слушая их загадочный нервический треск,—он переполнялся восторгом, оттого что отныне будет тоже причастен к этому миру.

И новый мир открылся, позвал и пленил. Безсонов положил себе вести подготовку к зачету одновременно с работой на с'емках. Но часы, назначенные для репетиций и с'емок, растягивались иногда на весь день, он возвращался в общежитие, пьяный от возбуждения и усталости, ему нравилось уже бродить в часы репетиций в костюме и гриме, с приклеенной бородой, подолгу в зеркале изучать свое измененное и прекрасное в гриме лицо, ступать в мягких цветных бутафорских сапогах, преображаться, играть,—хотя таких же, как он, здесь были десятки, и настоящие актеры не знали их даже в лицо. Но ему казалось теперь, что он в их же актерском ряду, и на репетиции раз, встретив Веру Никольскую, больше всего возликовал оттого он, что может полноправно уехать с ней вместе отсюда, как всегда уезжали актеры с кем-нибудь из артисток. С этого дня продолжились его отношения с Верой. Они уехали вместе отсюда, и дальше всё было так, как должно было быть, но у нее на мансарде увидел он осеннее мужское пальто—и внезапно загорелся от ярости. Вера поглядела на него очень спокойно размытыми своими глазами, она отряхнула пепел и сказала вопросительно даже:

— А какое тебе дело, Кирилл? Мало кто у меня бывает, и ты не думай, пожалуйста, совсем не хочу я, чтоб думал ты так — что один только ты у меня бываешь... А то начнешь еще сцены устраивать! Я для семейных дел не гожусь. Скучно. Не понимаю я, как это могут женщины с одним волынку тянуть... встречаться, ожидать, мучиться, письма писать.

Она говорила грубо и, может быть, чуть бравировала своей грубостью. Впрочем, она сейчас же добавила:

— А ты не ершись, пожалуйста... Ты мне нравишься, есть в тебе еще свежесть какая-то, и, если только ты без мужского этого самолюбия обойдешься, можем мы с тобой хорошо спеться. Детей рожать и с одним на всю жизнь сходиться—это я успею всегда. Есть у нас, положим, еще студентки-дурехи, которые с одним сошлись, детей нарожали, примус качают, в очередях в детской консультации стоят... а у детей понос, ревут по ночам, пеленки мочат... тоска какая!..

Она говорила все это, стряхивала пепел и по-мужски качала ногой. И какой-то огромной холодной пустыней возникла перед Безсоновым вся эта ее холостая мансарда, его грех без любви с этой женщиной—для которой ни в чем нет запрета, и с которой, быть может, даже Свербеев был близок... Он уперся руками в стол и спросил ее, внезапно наполняясь восторженной ненавистью:

— А со Свербеевым ты, может быть, тоже жила?

Она подняла одну бровь, качнула головой и ответила, усмехнувшись:

— Отчего же... Свербеев—настоящий мужчина, не очень только красив, но женщины красоты и не ищут.

Он даже поперхнулся от своего презрения и ужаса перед этой спокойной женщиной, с таким великолепным равнодушием говорившей

о самых постыдных и невозможных вещах,—но она курила и говорила не спеша:

— Очень глупо принимать все это так драматически... Я тебе не обязана была отчетом, могла и ничего не говорить, а сказала просто потому, что полагала, что и ты не можешь думать иначе, если ты студент и передовой человек. А в тебе вон еще—мужик живет, собственник, кулачок бабий, тебе к бабе в придачу огород и корова нужны...

И вдруг за этой враждебной и даже ненавистной ему теперь женщиной, за всей их позорной и ничем не оправданной близостью, возникло то—теплоглазое, удивительное существо, которому так пустынно он изменил за эти короткие дни и которому с такой большой и томительной радостью мог бы он принести дары предстоящей славы и нового зова жизни. Ей мог бы рассказать он о всем, и она бы все поняла, потому что Таня—именно та ускользающая и, может быть, придуманная мечта, которую вспоил он в себе в своем одиночестве... Он ничего не сказал этой женщине в ответ на ее признание и четверть часа спустя ушел отсюда, полный этой вновь возникшей мечты и крутого решения — никогда сюда не вернуться. Дожди за неделю прошли, сменились морозцами. Морозцы каляно подсушили пыль, предзимние ветры вздымали вихри этого городского и колючего праха и на бульваре завивались в легкие смерчи. Кирилл Безсонов шел по бульвару, муть очищалась в нем морозным холодеющим ветром; у Пушкина на скамейке сидели два человека, один показался знакомым, Безсонов вгляделся в него и узнал того самого дикого человека в холщевой куртке, который встретил его у поэтов. На человеке была теперь круглая шапка из собачьего меха, и издали еще помахал он рукой, приглашая подсесть.

— В среду очередное собрание, не забудьте, — сказал он посвященно, словно был Безсонов давним сочленом; Безсонов горячо, было, дрогнул от благодарности, но сейчас же тот стал его знакомить с соседом:

— Знакомьтесь, Безсонов... наверное, слышали про критика Донцева?

У Донцева была густейшая борода, в которой дремуче запутался он целиком, как в греней овчине. Необычайный верблюжий чапан должен был дополнять славянский этот—наперекор всем стихиям—облик.

— Крестьянский поэт? — сказал он необыкновенно благостным голосом. — Давно в Москве?

— Нет, я из рабочих... то-есть мой отец был рабочим, — сказал Безсонов поспешно и почему-то смутился.

— Что ж, заходите ко мне, батюшка... потолкуем. Если талант есть, поможем на первых порах... все прошли через Донцева, так-то, батюшка!

В дремучей бороде голубели бирюзовые линючие глазки, но эти глазки показались Безсонову прекраснее многих виденных глаз. Дон-

цев вытащил книжечку и записал карандашом ему адрес. Так, на бульварной скамейке, в ветряный ноябрьский день, судьба его освящалась серьезно на новое и невероятное цветение.

IX

В пятницу вечером, поборов свою нерешимость, Безсонов пришел к Донцеву на квартиру. Донцев жил в огромном, неряшливом доме, это был корпус дома-ковчега с тысячью жителей, во дворе катали десятки детских колясок, мальчишки гоняли колеса, и множество татар в разных концах взывали тоскующими голосами. Такая же громадная и неряшливая комната была и у Донцева, на полках стояли доверху книги, но книги были всё какие-то потрепанные, точно жеваные, и на столе лежали пыльные залежи рукописей с загнутыми углами. На Донцеве была вышитая пестрая тюбетейка, в которой походил он на торговца старьем. В соседней комнате жена качала грудного младенца, другой—вылитый папаша, с пятилетней немоложавостью, держался у двери. Так же благостно, словно каждое слово обмакивал он предварительно в постное масло, Донцев велел Безсонову сесть.

— Ну-те-с, — сказал он, как врач, — принесли? Читайте, батюшка. И нечего, нечего... читайте и все тут. Разговаривать будем потом.

Мучительно все же стыдясь, хотя для этого и пришел он сюда, Безсонов достал из кармана тетрадь. Теперь он делал обдуманно то, что неделю назад казалось ему невозможным, но с того вечера у поэтов всё это открылось, как возможное и даже обольщающее, — и так же неумело, с жестами, которые были совсем ненужны, начал читать он Донцеву. Донцев подпер голову рукой и водил своим толстым носом, как бы следуя за ним по строкам, затем он шумно вздохнул, сронив крошки со своей бороды, и сказал: — „Дальше". — И Безсонов прочел еще. Наконец, он кончил. Донцев оторвал руку от лба, посмотрел на него кукольными бирюзовыми глазками и сказал сокрушенно:

— Талант, батюшка... честное слово, талант! Еще поработать над формой — и можете завоевать место в литературе. Постойте-ка, я вас к себе в словарь занесу.

Он выдвинул длинный ящик с белыми карточками, порылся и на белом картонном листке стал записывать — имя, возраст, место рождения... Затем он вставил карточку на свое место в длинном лотке, и Безсонов был занесен окончательно в списки бессмертных. Этим, однако, не кончилось его свидание с Донцевым. Донцев снял свою тюбетейку, надел олений треух и очень торжественно и совершенно неоспоримо сказал ему:

— А теперь пойдем вместе в наш литературный кружок. Я каждую пятницу привожу с собой новый талант... талантлива Рассеюшка наша!

Он надел какие-то провинциальные огромные мокроступы и знакомый чапан, сказал величественно жене, очень заморенной и тоскующе

на него поглядевшей: —„Мы уходим", — и минуту спустя они вышли на улицу. По дороге Донцев все время громко говорил о России, так, чтобы слышали прохожие и оглядывались на него, угадывая в нем необыкновенного человека, хлопал его по плечу и по-стариковски возил своими тяжелыми мокроступами. Кружок, в который привел он его, заседал на квартире некоей Варвары Николаевны Доливо, романистки и драматурга, женщины грузной, отмеченной еще Скабичевским, — сейчас неподвижно, как некий буддийский идол, с благосклонной улыбкою сфинкса, сидевшей за длинным столом, на котором в пуританской суровости раскиданы были деловые бумаги, а меж них как бы случайно попадались в угрожающем количестве оттиски пьес и беллетристических опытов самой романистки Доливо. По бокам от усатой дамы сидели президиумом этого сборища старички и молодые люди с неподвижными лицами, шуршавшие деловыми бумагами, как на экономическом совещании. А кругом и вглубь теснились поэты и поэтессы, таланты, множество талантов, которых каждую пятницу приводил с собой Донцев — каждый раз нового, и на этот раз привел с собою Кирилла Безсонова. Огромной перезрелою розой, осыпающейся лепестками улыбок, высилась на этой человеческой клумбе Доливо, увядающей прелестью щек подпирались в узеньких щелках ее японские глазки и почти с гренадерскою пышностью оттеняли значительные усы роковую недолговечность женских обаятельных чарований. Было очень душно, накурено, и у Безсонова сразу зашлась голова, как только он окунулся в эту гущу людей, испарений и запахов. С привычной быстротою и ловкостью все растаскивали стаканы с чаем и очень пышные с виду, но совершенно вздорные и пустые внутри, пирожные — один человеческий выдох в безэ.

Десять минут спустя Безсонов сидел под крылом хозяйки, по левую от нее руку, как вновь-посвященный, от дамы победительно шел воинственный запах одеколона и пудры. Хозяйка позвонила в колокольчик, об'явила заседание открытым и сообщила данные о новом поэте, выступающем впервые в этом собрании. Донцев сидел в конце стола, торжествуя, подмигивал и кивал ободряюще, обнадеживая его, уже как свое творение. Затем, после краткой вступительной речи, хозяйка предоставила слово Безсонову. Он встал и, уничтоженный этой тесной гурьбою глаз, душной близостью Доливо и самолюбивым ужасом, стал читать. Он читал одно и другое, и третье. Временами умоляюще глядел он на Донцева и на хозяйку, но оба они кивали ему головой и были неумолимы. И он читал еще. Наконец, он кончил, — аплодировать здесь запрещалось, чтобы не нарушать монолитности впечатлений! Именно такой предупредительный плакат висел на стене. Первое слово взял пепельный аккуратный старичок с голоском курсистки.

Он очень толково разобрал стихи Кирилла Безсонова со стороны фонетической, слуховой, так сказать, указал на классические влияния, затем сказал слово о классической поэзии вообще и так развернулся,

что мог бы, вероятно, прочесть без запинки двухчасовую профессорскую речь, но время ораторов было ограничено. Затем говорил пламенный рыжий человек, он рыжел решетом веснушек и утверждал со страстной горячностью, что это — поэзия упадочная, такая поэзия не нужна, и с ней необходимо бороться. Не менее горячо человек в пенснэ ужасно обиженного и неказистого вида, этакий гадкий утенок, неоспоримо доказывал, что стихи Безсонова именно созвучны эпохе; потом заговорила женщина-профессор, необычайно обстоятельная, стриженая и похожая скуластым лицом на Плевако,—она находила погрешности формального порядка, небрежность в аллитерациях, и еще говорили другие, пять, семь,—Безсонов всех не запомнил в горячем тумане, который его заволок, одно только было неоспоримо: все они говорили о нем, как о настоящем поэте... В перерыве Донцев смотрел на него глазами победителя, он прислал ему записочку:—„Поздравляю“,—все это было еще головокружительнее, чем тогда впервые, на вечере у поэтов. Затем к нему подошел тот же молодой человек, похожий на утенка, и неотвратимо потребовал, чтобы он записался в их группу романтиков-классиков...

Безсонов шел домой ночью один. Осенняя ночная Москва, хлестаемая бичами бесснежных ветров, светилась для него огромно и пламенно. С ужасом на миг он подумал, что через неделю зачет, что он возвращается сейчас назад в общежитие, где все уже спят трудовым сном, но тотчас же очень легко и бездумно он постарался прогнать эти несвоевременные мысли. И ночь приняла его, как путника и пришельца.

X

С'емка, в которой принимал участие Безсонов, кончалась. Для окончания уезжали во Псков, на натуру, и он был ненужен. И в эти последние дни он люто ощутил пустоту от того, что неделю спустя он станет чужим в стеклянном обжитом павильоне. Он привык уже к этому озарению будничных дней, возникавших тусклым сумраком общежития и чередованием лекций, учебой и подготовкой к зачетам. То, что только годы назад казалось ему одним лишь мечтанием, возможность учиться в столице,—все это непонятно померкло перед тем новым и волнующим, возникшим для него у поэтов и в стеклянном павильоне для с'емок. Искусство, которому он призван служить—по общему признанию, по общей оценке. И чертежи казались теперь запутанной схемой ненужных никому доказательств, а лекции он слушал, отсутствуя, не запечатлевая их смысла,—и однажды он ужаснулся, как много он пропустил. Он пропустил три недели, то-есть непоправимо пропустил все то, что было теперь совсем понятно товарищам и вовсе непонятно ему. Почувствовав смущенье и ужас, он решил все это нагнать, кинулся в книги, пытался собрать себя, но как-то бескостно для себя самого он распадался на части. Одно было — стихи, туманные и влекущие обещания, другое—это слаженное и теперь отчудившееся

студенческое бытие, и третье—Петровский парк, свет фиолетовых солнц, актеры с жирными лицами от грима, бутафорская пленительная эфемерида.

Раз, на последней с'емке, шепнул на ходу Курепов, чтобы он остался по окончании. В последний раз сняв свою белокурую бороду, Безсонов сел на диванчике ждать. За эти дни он не видел Веры Никольской; но теперь, когда расставался он с этим, он примирился б и с Верой, лишь бы осталась она для него посредствующей связью. Ну, что же, если и нет любви... люди сводятся друг с другом не только любовью, даже реже всего любовью. Связь—так связь, обыкновенное и не обязательное ни для кого сожительство, которое так же легко покончить, как оно и возникло. Любовью могла бы быть Таня, но Таню с того самого дня, как проводил ее он до дома на Патриарших прудах, он не видел,—все дальше, туманней отдалялась она в эти дни, точно, верно, приснилась однажды. И от того, что жизнь его как-то плотски связалась с Верой Никольской, мечта о Тане становилась все тоньше, грустней и возвышенней. Там могло бы быть все, чего искал он с мальчишества; черты Вареньки, забытой и милой по детской и невстревоженной памяти, сошлись в ней, в Тане Агуровой. Связь с Челищевым не унизила ее для него, а словно обволокла ее грустью, женственным облаком и мечтательной невозможностью. Да, если б с ней,—она могла бы быть именно той его ведущей звездой, которая с юности недостижимо и обещающе призывала его к самому лучшему, на что только был он способен. Но Тани не было, а женщиной, близкой ему, могла быть только Никольская. Ну, и что же, и пусть груба и доступна для всех, он с ней не сплетает жизнь, а то, что есть между ними, не требует обязательств, раздумий и грусти. Именно так, по-мужски—притти, потом закурить папироску и уйти, как если б зашел по дороге в пивную... Он дождался, пока кончили с'емку. Курепов подсел к нему на диван, он перекинул голенастые ноги в рыженьких крагах и сказал, суча на роздыхе папироску:

— Кончаем, брат, с'емку. Когда еще сниматься придется! Но дело не в этом. Бывает — и чаще всего, что люди совсем без таланта бо-ольшую карьеру строят. Ты думаешь, надо только талант иметь—и дальше само собой все покатится? Вот именно нет! Умение надо иметь, прежде всего. Умение и лишнюю пружинку в голове. А без этого и талант впустую. Я это к чему? Да к тому, что вся твоя жизнь в твоих же руках, братишка, а можешь, конечно, птицу в два счета из рук выпустить... это очень легко, не ко всякому в руки она залетает. А раз залетела—надо вот так держать!

И Безсонов подумал о своей недавней удаче, именно стремительной птицей залетевшей так неожиданно в его руки...

— Весь этот разговор потому я затеял,—сказал снова Курепов,—что много я видел, как вашего брата песком уносило... А надо на двух ногах стоять крепко, Безсонов, сноровку и кулаки иметь. А главное—деньги. Ты думаешь, чем профессор Челищев Татьяну впервые сму-

тил — красотой или лекцией? Нужна его лекция ей! Отличной жизнью, уменьем отлично жить... а жить отлично можно только с деньгами. Так вот я, может быть, молодость твою жалею, смешно и противно мне видеть, когда человек наберет пуху, а в крыло пух не выгонит. И весь разговор этот к тому я затеял, что подумай, братишка, о жизни, за пятак себя не славай и мечтать брось! В наше время мечтать — жизнь в корешок загонит. А ты жизнь лучше пальцами щупай, вот как материю... — и Курепов своими короткими пальцами, иодными от табаку, щупко и жадно пошевелил перед ним. — А если нужен совет... можешь поверить мне—не ошибешься, я жизнь с трех сторон обошел.

Многое такое говорил ему в этот день Курепов, в общем бестолково и пространно о жизни, и одно лишь со страшною силой запечатлел Безсонов в себе: то, что сказал Курепов о Тане. Только потом сообразил он вполне, откуда же мог знать Курепов о Тане? Быть может, ему рассказал Свербеев, но почему же Курепов говорил о ней так, словно знал ее сам? И Таня,—огромно и воспалительно возникла в нем снова. Чужие люди говорили о ней, с его окольных путей они возвращали его на эту мучительную и волнующую дорогу, где мог бы он, вероятно, быть честным с собой до конца. Пусть придумано все, но вот в этой осени, в хляби московских улиц, в зеленоватом чаду фонарей, в этой чужой городской толпе, сумасшедше несущейся в вечер,—во всем этом мрачном равнодушии города разве не единственный и ведущий свет — чье-то нераскрытое и мучительно-близкое, и мучительно-недоступное сердце? С ней вдвоем мог бы он отдаться труду, о котором мечтал в дощатом сугробе провинции, весь хаос этого последнего месяца проплыл бы мимо, его не коснувшись, — а сейчас его распалила вся эта неверная кутерьма, разговоры о славе, десятки новых людей, его окруживших, и теперь иначе, по-новому всколыхнулась мысль о Тане... В своей нищете, в жалком провинциальном пальтишке с какими-то нелепыми кармашками, которое подарил ему на прощание Ягодкин, в разношенных рыночных башмаках, в кепке с большим козырьком, сработанной под английскую,—на что он может рассчитывать? Золотая россыпь волос тускнеет от жалких тридцатикопеечных обедов в студенческой дешевой столовке, где такие же молодые, как он, похожи на ссохшихся архивных чиновников. А будущее—и какое еще оно будет, это будущее?—За пятью годами недоедания и труда, за пятью годами учебы, серого житьишка в большом и неопрятном общежитии, где нет даже простой человеческой чистоты, где люди живут словно не в доме, а на ходу, как в казарме или на постройке. Может быть, если бы был у него свой угол, с книгами и мечтаниями, как жил он один после смерти отца,—может быть, там он сумел бы собрать себя и проверить, с легкостью расстаться со всем тем неверным шумом, который его окружил теперь, вернуться к единственно важному и подумать о всем до конца — проще, искренней, человечней... Но этого не было. И вот тогда прав всецело Курепов,

что нужно хвататься за жизнь, нужно уметь оседлать эту непокорную упрямую кобылицу, иначе она же равнодушно и совсем безучастно затопчет копытами. А с деньгами и славой — о, как уже горько щемило это доселе непонятное слово! — С деньгами и славой можно многое добыть из того, на что улыбнется самое недоступное сердце. И он поразился себе на миг, как победительно и без всяких на это прав думает теперь он об этом, как страшно далеко, точно прошли десятилетия, легли позади первые его мечтанья о жизни, и люди, лучшие люди—от Макара Макарыча и до Ягодкина — казались теперь уплывшими навсегда, как далекие весенние льдины.

День спустя упрямо и словно все для себя решив, Кирилл Безсонов пошел к тому молодому утенку, с которым познакомился он у Варвары Николаевны Доливо. В большом красном доме с дворянским гербом на фронтоне была толчея, множество молодых людей в кепках, с поднятыми воротниками и с тугими портфелями, деловито взбегали и сбегали по лестнице, в комнатах по бокам глубокого коридора шли заседания в сизейшем табачном дыму, из дыма выбирались очень деловито такие же молодые люди в кепках, поднимали воротники пальто и озабоченно спешили куда-то. В одной из комнат нараспев читали стихи, в другой комнате тоже нараспев читали стихи, но по-мужицки, с оканьем, в третьей комнате сидели деловым полукругом какие-то люди. Безсонов сунулся сюда, но человек в роговых очках сказал ему басом: — „Посторонним нельзя!“ — Наконец, в конце коридора, в маленькой комнате Безсонов увидел утенка. Утенок сидел за столом, а на столе вокруг него сидели люди в пальто и курили. Утенок узнал его, пожал, не вставая, руку — держался он здесь по-министерски, впрочем, сказал деловито: — „Записаться пришли?“ — полез в стол, достал желтую книжечку членского билета, вписал фамилию, расписался очень размашисто, подул на печать, оттиснул лиловый круг, — и Кирилл Безсонов стал членом группы романтиков-классиков. С билетом в руке он вышел в коридор, там с полыхающим сердцем раскрыл он желтую книжечку, может быть, впервые определявшую настоящую цель его жизни, — но в эту минуту дикий человек в холщевой куртке, который ввел его тогда в круг поэтов, налетел на него, сокрушительно пахнул табаком и яростно завопил:

— Зачем вы к ним записались?.. Все равно мы вас считаем своим! Поэты только у нас, Безсонов!

И, дико ершась на ходу, словно мелко треща электричеством, как каучуковый гребешок, он потащил его за собой.

XI

За неделю до сдачи зачета Безсонов окончательно понял, что пропущенного — ему не нагнать. Он железно решил не выходить никуда всю неделю, зарыться в книги и лекции, но книги были насмешливы, они мигали непонятными сочетаниями формул, и он обнаружил,

что пропустил чудовищно много. Какие-то пласты обыкновенно откладывались размеренным ходом занятий; теперь начинать было нужно страшно издалека. Слабея от этой невозможности, как бы от удушия, он все же решил одолеть себя прежнею волей. В общежитии, вместе с ним, на трех продавленных койках, жили еще три студента; точно так же, как все, они убегали часто на целые дни, искали работу, распространяли издания, разгружали вагоны—и вечерами, глубоко в ночь иногда, расшифровывали карандашные записи лекций. Безсонов мало сдружился с кем, как-то по-первоначалу занял Свербеев в нем первое место, и дальше уже неразрывно все сплелось с ним.

Готовясь к зачету, думал Безсонов не раз о человеке, которого начинал ненавидеть. Давно мысль об этом его удручавшем зачете тесно сошлась с уже ненавистным и великолепным обликом профессора Челищева. Второй раз вставал тот на его пути, вторично предстояло ему, Безсонову, протаять молчаливою тенью мимо громкого этого и уверенного в себе человека. Его имя связалось с именем Тани Агуровой, и то, что вначале показалось Безсонову лишь таинственной и волнующей нитью ее жизни,—обрастало теперь угрюмой ненавистью к этому человеку. В чем был, в сущности, тот виноват перед ним? В том, что прошел он большую школу жизни, в том, что он талантливый изобретатель, удачник, в том, наконец, что он превосходно умеет играть своим голосом и нравиться женщинам? Но разве это порок или гнусность? Это линия человека, сумевшего оседлать упрямую кобылицу, то-есть сделавшего именно то, о чем твердил столько раз механик Курепов. Если зависть—но разве прежде знал он в себе это чувство? Он хотел лишь учиться, он приехал в этот город, чтобы восторженно отдаться труду, и вдруг город позвал его полными своими, тревожными и дикими голосами. Кто виноват в этом? Уж, конечно, не профессор Челищев, и все же ненависть была к нему именно. То, что рассказывал Свербеев о нем, то, что говорил о нем механик Курепов,—все возвращались к нему всегда, когда говорили о превосходной и отлично слаженной жизни. А для него, для Безсонова,—дни непомерной учебы, сидения на своей продавленной койке и унизительное ожидание провала.

И день зачета пришел. За неделю, почти не отрываясь для сна и еды, он все-таки одолел эти дебри, ужаснувшие его вначале. Он разобрался во многом, и если не всё до конца постиг, то все же мог найти ходы в этой чаще. С чувством победителя он пришел на зачет. В аудитории было пустынно, только внизу, в первом ряду, сидело десятка два или три студентов, тоже сдававших зачет. В высоких сумрачных окнах невесело теплился день. Вскоре небрежно вызвал Челищев первых к доске. Застучали мелки, доску стали кроить кривые линии чертежей. Не отрываясь, Безсонов следил за движениями рук товарищей. Все было понятно, таинственные значки раскрывались для него в своем смысле, и торжество ловца удовлетворенно и жарко возникло в нем вновь. С довольными лицами, запотевшие, первые

студенты вернулись на места и собирали книги и записи: зачет был сдан. Безсонов заранее по фамильям прикинул, что ему выходить в четвертую очередь. И вдруг Челищев вместе с двумя другими вызвал его. Ему показалось сначала, что он только ослышался, но профессор свежим и безучастным голосом повторил его имя. Сразу смутившись, он вышел к доске. Здесь, впервые так близко, он увидел Челищева. Легкий взлет его волос, седеющих на висках, свеже-пробритые и вовсе молодые губы, несколько высокомерно изогнутый нос, эти актерские складки от крыльев носа и привычка слушать себя, звучание своего голоса. Да, от него, от его отлично сшитого пиджака, от холеных, припухлых на сгибах рук—пахло именно превосходной, устоявшейся, во всем проверенной жизнью. Подавленный им и смущенный, чувствуя свое униженье от этого, Безсонов ожидал задачи. Сразу многое из того, что с таким одолел он трудом, забыл он в эту минуту. И Челищев, глядя мимо него, словно стараясь найти самое сложное, задал ему решение расчета коленчатого паровозного вала. Огромная восхищенная радость пролилась в Безсонове. Это было именно то, что знал он лучше всего другого, почему-то несколько раз им проделанное и перерешенное. Он подошел к доске, взял в руку мелок в бумажке и быстро стал набрасывать формулы. Уверенным размахом он набросал схему, старательно вычертил кривые и пошел рассчитывать далее, уже увлекаясь, захваченный удачей, почти восторженно усложняя лабиринты этих формул и выбираясь из них к решению. Четверть часа длился этот его пожар. Наконец, в последний раз он стукнул мелком по доске и обернулся к профессору. Тот стоял позади и издалека следил за его работой. Затем он подошел неспеша, взял мелок и сказал тем же свежим и безучастным голосом:

— Расчет неправилен... у вас давление на правый подшипник действует кверху, а не книзу,—он быстро перечеркнул его расчет на доске,—вы не учли повышения нагрузки вдвое при ударах. — Он опять очень обидно и унизительно перечеркнул на доске и вдруг сказал, глядя прямо ему в глаза своими чуть выпуклыми и словно хищными глазами:

— Скажите лучше правду; Безсонов, что вы плохо подготовились к зачету. Я не терплю такого отношения к предмету... Я допускаю ошибки, они всегда возможны, но не полное отсутствие знаний. Я не могу зачесть вам зачета.

Он пошел к своему столику и сделал отметку на белом листе. Безсонов увидел в тумане серьезные лица товарищей в первом ряду: это был первый провал. Некоторые лихорадочно листали страницы, ища расчета коленчатого вала. И Челищев, так же спокойно, словно ничего не случилось только что с ним, с Безсоновым, точно чудовищно и непоправимо на него не надвинулось это ощущение провала,—вызвал следующего. Безсонов, не видя, собрал тетради и книги и вышел из аудитории в коридор. Впервые он ощутил такое ненасытимое одиночество, такую пустыню, в которой он оказался теперь,

что не знал, куда же итти. Так, не видя людей, он вышел на улицу. Был мороз, редкий снежок несло вкось, и на гололедице лошади царапали о камни подковами. Он долго шел без цели, почти без мыслей и даже без ненависти к Челищеву. Может быть, если б нашелся сейчас человек, который взял бы его за руку и повернул за собою в ту сторону, которая привела бы к очень большой справедливости и раздумью над собственной жизнью,—он жадно и безотчетно пошел бы за ним. Но никто не встретил его и никто не взял его за руку. Он дошел так до шумных улиц и, не думая далее и не размышляя, пошел к единственно близкому теперь человеку—к Свербееву. Свербеев сам открыл ему дверь; опять за ним следом прошел Безсонов по коридору со шкафами, из дверей по бокам по-берложьи выглядывали жильцы, в кухне водопадом шумели примуса.

— Ты что в такой час,—спросил Свербеев, впуская к себе,—дело какое-нибудь есть?

— Да... то-есть нет,—ответил Безсонов.—Ничего, в сущности, нет. Сегодня я провалился на зачете, Свербеев!

Он сказал это и смотрел мимо Свербеева, так невыносимо было это признание.

— Вот оно что!..—и Свербеев приподнял значительно бровь.—Челищев провалил? Ну, что же, он себе верен, какое до нас ему дело, разве он в таких условиях работает! Попробовал бы подготовиться в общежитии, да еще с одним учебником на троих. Нет справедливости, брат, нет и не будет никогда! Челищев собирается за границу, деньги копит, тысячи сколачивает, и не все ли ему равно, что ты, студент Безсонов, терзаешься. На что ты нужен ему со своими терзаниями! Он за два патента тысяч десять сразу получит, у него денег—на пять лет жизни хватило бы нам... Это гора, Кирилл!—И Свербеев как-то крылато и странно, как крылья стервятник, распялил руки.—Я бы за то, что студенток он портит, да за все его равнодушие к нам, да за все его капиталы,—я бы сокрушил эту гору и не побоялся, Кирилл!..—И, всё это выдохнув, Свербеев сразу сорвался и как бы потух.—Впрочем, это я так... тебя жалеючи, да Татьяну мне жаль, от этого у меня такое к нему. Ты Татьяну давно не видал?—спросил он еще как бы мельком.—А она о тебе справлялась,—и вдруг жалко и мучительно эти слова проникли сейчас в тоскующее сердце Безсонова. Таня! Вот с кем была бы легка для него эта его неудача, этот его провал. Заглянуть в ее строгие глаза—и больше уже не думать ни о чем и не сомневаться ни в чем.

И он страстно и восхищенно сказал:

— Послушай, Свербеев, устрой мне с ней встречу... не верю я во все эти слухи... а если бы даже и так, не мне быть судьей!..

Подумав, Свербеев ответил:

— С Челищевым, конечно, муть одна, да и быть ничего другого не может... он человек женатый, репутацию свою бережет, а если и есть романчик с хорошенькой студенткой, так это на стороне. Ладно

я устрою, Кирилл! А если ты себя человеком покажешь по-настоящему, можешь сам еще такой провальчик устроить Челищеву, как он тебе сегодня устроил. В твоих руках это, уверен я! Таня сама угла для себя ищет, а не мути. И не денег его, конечно, ей надо, не такая она... Мне бы вот его деньги!—тут Свербеев вытянул ноги и потянулся с истомой,—мне бы вот его деньги, или нам бы с тобой... мы бы кра-асивую жизнь затеяли...

И Безсонов удивился, что говорит Свербеев о том же и с тем же почти выражением, о чем неделю назад ему говорил Курепов.

— Кра-асивую жизнь, Кирилл!.. Ну, да ладно, впрочем, так или иначе, а денег на красоту мы добудем. А насчет провала не сокрушайся, чепуха все это, не стоит ни одного твоего вздоха. Может быть, через месяц мы сами провалим Челищева, да покрепче, чем он тебя... надо только в себе волю беречь, вот как нож перочинный с собою носить всегда.

Безсонов слушал все это, он смотрел на носатое сухое лицо Свербеева, и провал, который только минуты назад ощущал он, как страшное свое крушение, — провал становился туманнее, дальше и словно второстепенней в сравнении с тем, что теперь перед ним открывалось. Близко и мучительно, и обещающе—снова была впереди встреча с Таней. Свербеев достал из шкафчика два стакана, в углу на полу у него стояла бутылка с остатком водки, и Безсонов жадно обжег себя первым и благословенным глотком. Вот когда пригодилось это кстати и как бы заливало черную разверстую в нем пустоту.

— А о том, что я тебе сегодня сказал, ты крепко подумай,—сказал Свербеев и задержал его руку с рюмкой,—нельзя, чтобы такая несправедливость была в наше время—одним все, а другим об'едки и милость... Мы с тобой на заводах росли, Кирилл, руки у Челищевых коротки. Понял?

И хотя ничего и не понял Безсонов, с торопливой готовностью он кивнул головой. Час спустя, успокоенный и потеплевший, он вышел отсюда, прошел по Бронной и, почти усмехнувшись счастливо пойманной мысли, свернул в ворота двора и стал подниматься по скрипучей знакомой лестнице к Вере Никольской.

XII

В половине второго Таня Агурова, как условилась она в этот день с Челищевым, подошла к белесым круглым часам возле остановки трамвая. За ночь выпал снег очень густо, и теперь город был бел, нахохлен и полон тех туманных и зимних предчувствий, когда тишина сменяет вдруг стук колес, и серебряными синицами тенькают в снеговой тишине коньки веселых и бездумных подростков. Ножка стрелки на пять минут не дошла до половины второго, и Таня встала возле часов, взглядывая временами, как вздрагивает и спускается вниз колючая стрелка. Таня прятала в мех воротника зябнущий подборо-

док и глядела на острую белизну снегов, на далекий разбег рельс вдоль бульвара, на мохнатую кутерьму обвисших под снегом деревьев,— и то, ради чего пришла она сюда в деловой и будничный час, удивительно и непоправимо прошло перед ней за эти минуты раздумий и ожиданья.

Бывает так с человеком, что остановится он на минуту в своем городском разбеге, дожидаясь трамвая иль встречи, множество людей суетливо проходит мимо, как бы обтекая его, а он стоит среди них со своим коротким раздумьем, и тогда много мыслей возникнут и необыкновенно отчетливо, городским сновидением, проплывут перед ним. Как, в сущности, произошла ее близость с Челищевым, что потянуло к ней этого чужого, гораздо старше ее, совсем другого круга человека, и что неотразимо влекло ее к нему—со страшной и непобедимою силой? Три года назад брат выписал ее из провинции—продолжать учиться в Москве. Дмитрий Агуров кончал военную академию; он жил уединенно, с военными холостыми привычками. После лет крови и войн, через которые сам он прошел в полной мере, он ощущал теперь страстную жажду учиться, пригонять себя к знаньям, заново строить жизнь. Давно решил он помочь сестре перебраться сюда из провинции; два года назад, после гимназии, она остановилась на провинциальном распутьи, и теперь после кроткой тишины знакомых улиц, белого ветхого домика с крашеными полами, где прошло ее детство, после близости к матери,—Москва и волнующее белое здание, перед которым стоял Ломоносов и в которое вошла она полноправно, сменили впечатления детства. Дмитрий Агуров устроил ее на факультет общественных наук. Он поселил ее вместе с собой, он хотел руководить ею,—очень по-хорошему они были близки с детства.

Таня приехала в этот город с той же свойственной обоим им волей добиваться того, что поставила перед собой. Сейчас она хотела по-новому создать свою жизнь: для этого много еще было нужно учиться. Она была прежней, тою же детской, какую знал Дмитрий Агуров, только разве за эти годы лишений побольше взрослого упорства легло меж бровей и в серьезном маленьком рте. Он очень обрадовался сестре, но скоро привык к тому, что она здесь, снова с ним, был очень он занят,—и для Тани началась своя особая, вполне самостоятельная жизнь. Дни определились занятиями, обедами в столовках, вечера—в кружках, реже дома, иногда в театр по дешевому билету, разыгранному в студенческой лотерее. Еще в детстве, тринадцати лет, Таня влюбилась в преподавателя рисования, художника Черемушкина. Это был жилистый, семинарского облика человек, скорее непривлекательный; незлобиво насмехались над ним гимназистки. Может быть, именно потому он показался девочке страдающим и возвышенным, и ей захотелось притти к нему и сказать, что вот ей, Тане Агуровой, всегда были ближе всего люди, которые одиноки и не слишком счастливы—а там пусть будет что будет. Она очень серьезно решила для себя все это и отправилась к Черемушкину на квартиру. Художник

был дома, он встретил ее удивленно, выслушал все, что она говорила ему, стал смеяться, хлопать себя по бокам и шагать журавлиными своими ногами по комнате. Потом он вышел в соседнюю комнату и привел с собой некрасивую девочку с двумя косами, очень похожую на него и чуть помоложе, чем Таня. Он познакомил с ней Таню, и это оказалась его дочь. Художник хотел, чтобы они обязательно стали подругами, девочки посидели друг против друга, говорить было не о чем, и Таня собралась домой. Так кончилось это первое для нее увлечение. Во второй раз, уже девушкой, она решила во что бы то ни стало освободить пленного мадьяра, Стромека, который невыразимо тосковал по родине. Стромек жил у них в доме и по вечерам играл на гитаре и пел очень грустные песни. В песнях он больше всего вспоминал свою родину, и он был уверен, что никогда ее не увидит. Таня решила, что если рассказать, как страдает Стромек, его скорее отправят на родину, и она отправилась на прием к коменданту города. Комендант встретил ее в кабинете, пригласил сесть и выслушал все, что настойчиво и спокойно говорила эта девушка с мальчишеским и нежным лицом. Он учтиво осведомился, кто это Стромек и почему она хлопочет о нем? Таня сказала, что Стромек просто живет в их доме, что он совсем ей чужой человек, но что он непременно зачахнет, если теперь же его не отправить на родину. Комендант так же учтиво ответил, что все это его совсем не касается, и Таня ушла отсюда в отчаянии. Но все же Стромек попал в первый эшелон отправляемых: очевидно, всплыла как-то при случае эта просительница, комендант вспомнил ее взволнованное лицо—и Стромек нашел свое счастье.

Уже недавно, окончив гимназию и растерянно остановившись на распутьи, Таня решила, что сама поведет свою жизнь. Брат был на фронте, вместе с матерью она жила очень худо. Она долго страдала, видя, что ничего не умеет, и пошла к председателю исполкома. К нему ее не пустили, но она дождалась его в коридоре, остановила и сказала, глядя ему прямо в глаза своими синими прекрасными глазами, что она хочет работать, что ей нужно содержать мать и себя, она знает языки и может делать все, что ей скажут. Просьба эта, выраженная с большим и недетским достоинством, весь облик смелой маленькой девушки,—всё это было столь разительно, что, вопреки правилам, председатель провел ее за собой, и день спустя Таня поступила служить в административную часть. Вскоре брат предложил ей дальше учиться в Москве, и с той же решимостью перевела она стрелку жизни. Она решила жить целиком на стипендию, урезав себя во всем, и помогать матери работой, какая найдется. Эту работу она нашла—в одной из газет ей предложили давать заметки о студенческой жизни. Она обходила высшие школы и общежития, собирала сведения, беседовала с профессорами, и все, кто видел эту девушку в кожаной курточке, с каштановой прядкой волос, с очаровательной неправильностью мелких зубов—этого маленького и удивительного репортера, все охотно давали ей сведения, и желтый карандашик в ее руке торопливо отмерял страницы

блок-нота. В студенческом общежитии, однажды, Таня встретила Свербеева. В этом жилистом угреносом человеке, очень постаревшем за эти годы, она узнала старшего сына телеграфиста Свербеева. Они жили через дом по их улице в родном городе. У Свербеева было пять сыновей—все такие же долгоносые, угреватые, великовозрастные; старший был—Федор. Федор Свербеев тоже узнал в этой девушке маленькую, самолюбивую и остроглазую девочку Таню. И то, что Федор Свербеев был как бы сколком милых, незабываемых лет, то, что был это — Федька Свербеев в гимназическом изломанном картузе,— такая же изломанная кепка была и сейчас на нем,—Таня этой встрече обрадовалась. Обрадовался и Федор Свербеев. Во многом он обещал ей помочь—и помог. Он доставал ей нужные сведения, Таня приходила к нему иногда на квартиру, и Федор был с ней всегда по-дружески прост. Таня сказала брату, что встречается теперь со Свербеевым, тот удивился, и вместе они вспомнили многое из детских их лет.

Свербеев давал Тане все сведения о жизни их института, и именно он однажды сказал ей, что нужно обязательно устроить беседу с профессором Челищевым по поводу его изобретений. В газетах в это время о Челищеве много писали, и Свербеев взялся устроить, что Челищев примет Таню у себя на квартире и все расскажет о планах и последних своих изобретениях. Так он все и устроил, и Тане удалось получить беседу с Челищевым. Челищев ожидал, вероятно, что придет бывалый газетный сотрудник, он приготовился к тому, чтобы очень пространно рассказать о своих изобретениях, и вдруг явилась эта маленькая смелая девушка, она пришла к нему очень решительно и заявила, что она от газеты. Он провел ее к себе в кабинет, и Таня впервые увидела человека, о котором столько говорили вокруг. Совсем свежее и почти молодое лицо, седые виски, которые не старили, а скорей освежали, и эти незабываемые, необыкновенно блестящие и умные глаза, смотревшие на маленького и смутившегося репортера. Он рассказал ей о всем, он сам записал в ее блок-ноте то сложное, что было бы ей, наверно, трудно запомнить, начертил чертеж, он обошелся с ней так просто, как настоящий и большой человек, и Таня ушла отсюда смущенная, плененная им, заласканная великолепным голосом, этим умением необычайно упростить многое сложное. Ее большую заметку о нем напечатали целиком; в сущности, это было первою для нее пробой. С этого дня ей дали работу по-настоящему; с блок-нотом, с портфельчиком, всегда решительно и деловито, она приходила туда, куда не пускали газетчиков, и ее пускали и давали ей сведения. Но главное—то первое, с чего началась эта ее работа, она не забывала: очень всецело и даже временами тревожно возникал в ней Челищев. И самое странное было то, что Свербеев неусыпно подогревал в ней эти ее впечатления. Он будоражил в ней этого человека, и Челищев становился еще великолепнее и даже возвышенней того, каким запомнила она его для себя после первой их встречи.

Как раз к этому времени Челищев осуществлял опыты с новым автоматическим сцеплением вагонов. Это его изобретение должно было уничтожить целые армии сцепщиков, то-есть произвести огромную реформу в железнодорожном деле. Первые результаты были превосходны,—опять всплыл этот удачливый человек, неугомонный изобретатель. И снова, именно тогда, когда к этому был большой интерес, Свербеев вторично устроил встречу Тани с Челищевым.

— Это опять вы пришлете того юного репортера? — спросил у него Челищев весело и тотчас же согласился.

И в пятницу, в семь часов вечера, Таня, очень волнуясь, но подавив в себе это, так же решительно, как делала все в своей жизни, пошла к нему. Он жил в небольшом двухэтажном доме, в одном из переулков Арбата. Переулки были глухи по-провинциальному, в садах за заборами осыпались деревья, и совсем деревенскими голосами перекликались перед сном петухи. Челищев сам открыл дверь и впустил ее. Он улыбнулся ей, было, но Таня вдруг ощутила, что улыбка была неуверенной,—и его эта встреча словно чем-то смущала. Челищев провел Таню в свой кабинет, и там она села на его огромный диван. В кабинете было очень тихо, на полу лежали свертки чертежей, книги стояли доверху,—это был кабинет ученого. Таня достала блок-нот из портфелика, но поняла, что волнуется вовсе и никак не может раскрыть блок-нот. Челищев сидел в кресле напротив, смотрел на нее и потирал рукой подбородок. Наконец, они заговорили, он отвечал ей, щурясь, как бы думая о своем. Многое записала она машинально, жалко скакали буквы на разграфленном в клетки блок-ноте. Внезапно она подняла глаза и почти умоляюще на него посмотрела. Она не умела скрывать того, что нужно сказать, чтобы не получилась такая вот ложь и сковывающая неловкость. И взгляд ее тоже скрывать не умел, как не умела она никогда притворяться и лгать. Она поняла, что необычайно все жалко это сейчас, что нужно уйти, убежать отсюда, потому что все ее мысли об этом человеке, все то, что она пронесла в себе за многие месяцы,—все это беспомощно и ни на что не надеясь, она откроет сейчас перед ним... Вдруг Челищев очень быстро шагнул к ней и поднял блок-нот, соскользнувший с ее колен. Но он не вернулся назад, а сел с нею рядом. Она сидела все так же, глядя отчаянно перед собой. Его большая рука очень мягко и дружественно коснулась ее руки. Наклонившись, испытуя, как врач, он поглядел ей в глаза. И она ответила долгим, во всем признающимся, ничего не умеющим скрыть взглядом. Так они смотрели друг другу в глаза, снова блок-нот соскользнул с ее колен на пол, его не поднял никто. Сияющим, глубоко его потрясшим взглядом, она глядела ему в глаза, содрогаясь от всей невозможной близости к этому человеку, которому она отдала столько дней и ночей своей мечты и раздумья. Пусть все это было немыслимо, ужасно для нее, сокрушительно для ее жизни, но, вероятно, к этому она шла с упорством и волей всей своей молодости, как всегда шла с упорством к тому, что поставила перед собой на

пути. И, может быть, во всей ней, во всей наивной ее чистоте, в этом сиянии глаз, ни разу не обманувших, было столь сильное, столь пленительное именно зовом молодости, страстных неразбуженных сил, что и его захватило тоже давним и уже забываемым безрассудством, и Челищев, не отрывая взгляда от ее глаз, потянулся к ней, загоревшись, не думая ни о чем, не вспоминая, как бы мгновенно утратив свою холодную выдержку.

Так произошла эта встреча, это первое сближение с человеком, который казался всегда ей человеком другого материка. Таня ушла отсюда без сокрушения. Так она хотела, и так случилось; сердце ее ненасытно тянулось к нему. Если нужно отдать свою молодость,—что же, она отдаст ее с той же страстью и с той же решимостью, с какой думала она об этом человеке. Сейчас он лучше всех для нее, самый возвышенный и удивительный—и пусть всё это только мечта, безумие страшных сил, которые знала она в себе,—нужно уметь отдавать полностью то, что есть, и именно тогда, когда пришла к этому жизнь. С сердцем, полным суровой решимости, смятенья и обожанья, она вернулась домой в этот вечер.

XIII

В жизни Челищева, в этой большой, у всех на виду, внешне блестящей и налаженной жизни были провалы, которые скрывал он даже от себя самого. Он давно наладил и обставил свою жизнь. Как все занятые люди, он очень дорожил налаженной стройкой, изменять и устраивать заново жизнь — для этого нужны большие душевные силы, много энергии, а все это уже давно вложил он в науку, в изобретательство, в труд. К жене, женщине крупной, блистательной и неглупой, издавна чувства сложились в те общепринятые, необязательные отношения, какие обычно сопровождают жизнь не юных и устоявшихся в чувствах людей. Эта жизнь, в сущности с большим душевным провалом, мирно покрыта семейными буднями, делами, детьми. Но где-то в ужасной и отчаянной глубине затушенным углем тлеет тоска по невозвратимым мечтаниям, по свершениям давних видений, бушевавших в молодости с неукротимою силой. Тогда случается так, что в один день сходит вся жизнь с рельс, это лесное пожарище страшно своим пламенем и часто вместе со старыми корневищами сжигает и молодые побеги.

Встреча с Таней не нарушила для Челищева, конечно, хода его жизни: ничто не изменилось в ее распорядке, только пленительно и ошеломляюще вторгнулось в нее дуновение молодости, напоминание о еще неизжитых силах, и деловые будни чудесно расцветились забытой и волнующей любовной тревогой. Поступил ли он худо с этой горячей, доверчивой девочкой? Одно время он мучился этим ощущением своего дурного и непростительного поступка. Потом это сгладилось, заменилось легким мужским торжеством. Он знал впечатление,

которое он производил неизменно, знал отчасти весь блеск своего имени,—и, в конце концов, что могло быть естественней этих очаровательных и вполне об'яснимых побед, которые могли бы дополнить успехи и неудачи его трудовой и научной жизни? Но именно потому, что все это всегда было неизбежно сопряжено со множеством лишних волнений, забот и последствий и так или иначе могло изменить и нарушить ее деловой распорядок, он больше всего избегал таких возможных случайностей. Всегда с сожалением для себя и внутренним негодованием на свою жизнь, которую в этом смысле считал он испорченной до конца, он обрывал в самом начале эти возникавшие и волнующие возможности. Тогда письменный стол его кабинета принимал на себя весь избыток его сил, расточительно в глубину ночей отдаваемых труду и работе, а совместные, внешне очень эффектные, а внутренно невозможно тягостные для него выезды в театр, в гости с женой—заменяли нераскрывшиеся и прошедшие мимо возможности.

Их домашняя жизнь давно уже сложилась именно так по-профессорски: по пятницам—гости у них, в неделю раз—театр обыкновенно, безупречная красота жены, возвращение ночью—обычно молча, каждый в своих мыслях, ибо давно уже сказано все друг другу. И то, чего больше всего сторонился Челищев, что внутренно он считал для себя невозможным,—все это случилось непоправимо, даже необ'яснимо, и хуже всего потому, что это произошло у него с существом, которое могло быть его ученицей. И первое, что ощутил он в себе,—был ужас и протест перед самим собой. День спустя это чувство прошло и сменилось жалостью к ней. А еще день спустя он понял, что хочет вновь ее видеть, что это властно и победительно вошло в его жизнь, что забытые чувства забушевали в нем с удвоенной силой и что—пусть это позорно в его положении, неоправдываемо для его имени, полно для него огромных угроз,—все равно, он хочет увидеть ее, она вошла в его жизнь внезапным тем ветром, который в весеннюю пору распахивает вдруг раму окна, срывает пламя свечей, разбрасывает листки и звенит разбитыми стеклами. И уже неделю спустя попросил он Свербеева прислать к нему вновь эту девушку, которой он обещал, как будет готово, дать новые материалы об опытах с его изобретением. И Таня пришла к нему, с той же косою стрелкой решимости между бровей, в его одинокий казенный кабинет в институте, где в этот день он задержался до вечера.

В этом году к весне Челищеву предстояла научная командировка в Америку. Попутно он хотел проехать в Германию, Францию и оставить жену в Париже до своего возвращения обратно на этот материк. Он давно уже, с прошлой весны, стал накапливать деньги на поездку. Он не выезжал больше десяти лет, с начала войны, был членом многих ученых иностранных обществ, и теперь, в этой командировке, хотел не стеснять себя ни в чем, пожить широко по-европейски, крепко наглотаться за полгода воздуха Америки и Европы. Он разметил с женой их путешествие, они решили, на каком фран-

цузском курорте они отдохнут,—и, может быть, именно на это путешествие готовил он полную меру энергии. В сущности, всего своего достатка в жизни добился он сам, был рабочим на машинном заводе в Бельгии, вернулся в Россию с дипломом—и учился, изобретал, преподавал и снова учился, пока не наладил всего теперешнего своего положения. Успех изобретателя дал ему деньги, известность и возможность жить не в слишком обильном, но и не стеснительном достатке. И сейчас больше всего он хотел сохранить это русло с трудом ему давшейся жизни.

Он женился накануне войны, тосковал без жены на фронте, но любовь эта как-то быстро перешла в простую привязанность, а затем и просто в привычку, как живет большинство семейных людей—без крылатых под'емов, по налаженной и зачастую сероватой дорожке. Привычка сменила любовь, а революция, годы страшных разлучений сблизили еще больше в этой совместной привычке вить вместе жизнь. Затем, когда пришла известность, жена очень быстро привыкла к новым удобствам жизни, к его успеху, успех приносил достаток и деньги, а Челищев часто самолюбиво и по-мужски раздражался,—задумалась ли она хоть раз, какой огромный труд и усилия вложил он в дело своей науки, ужасавшей ее пыльными свертками чертежей, опаздыванъем к обеду и его неустанным трудом. Он любил еще читать лекции полукругу студенческих лохматых голов и торопливые записи в тетрадях, — как сам он трудился, хотел он, чтобы трудились другие, и студенты немного всегда опасались этого человека сложного и иного порядка. За последние месяцы ему предложили работу в одной из государственных экономических комиссий,—речь шла о широком плане машиностроения, и поездка его в Америку была связана именно с этим планом. И вот во всю эту хитро и строго налаженную его жизнь, в мерный ход его научных занятий, в заслуженный простор ревнивых мечтаний,—невероятно, стремительно и, главное, обольщающе, ворвалось огромное беспокойство, немыслимая связь с существом, вдвое моложе его, то-есть именно то обольщение, какого в его положении он больше всего избегал и боялся. И, может быть, хуже всего было то, что существо это не требовало от него ничего, что оно не давало ему для себя оправдания хотя бы своей настойчивостью или распущенностью. Нет, оно было девически целомудренно, восхитительно первым разбуженным женским чувством, оно ничего не требовало, ни в чем не укоряло, ни на что не надеялось. И именно это заставляло вдвойне относиться к ней бережно. Нужны были встречи, встречи с невероятным трудом выкраивались в занятом его дне, нужна была большая осторожность, чтобы все это не получило огласки, и для Челищева жизнь стала постепенно полна того раздражающего мучительства и беспокойства, которые так уверенно обыкновенно хоронят городскую любовь.

Встречи с Таней бывали в его деловом кабинете, она приходила с портфеликом, очень деловито, и никто, конечно, со стороны не мог

бы предположить, что это—свидание. Дважды был он у нее, в квартирке на Патриарших прудах. Брата не было дома, это было днем, между лекцией и заседанием. И вот он, профессор Челищев, которого знали в лицо множество людей, учеников и знакомых, робея, поднялся по лестнице и позвонил, вспоминая далекие дни каких-то забытых и легковесных свиданий. И прелестная всем своим диким смущением, домашнею тишиной и светящаяся счастьем—Таня впустила его... „Любовник—профессор Челищев",—сказал он себе иронически, погружаясь снова в трудовой свой и будничный день, и он сейчас же очень холодно и цинически попытался себя убедить, что нет ничего необычайного в этом,—это только легкое разнообразие жизни в его адовом кипении и труде, и ощущение своих нерастраченных сил сменило на время тревогу. Но тревога осталась, она вернулась к нему очень скоро, и профессор Челищев понял, что жизнь его сошла с привычных и безопасных путей.

XIV

В истории своих отношений с Таней Челищев очень отчетливо мог для себя отметить три полосы. Первая—растерянность, ощущение катастрофы, искреннее свое раскаяние—и все же большие, всколыхнувшиеся заново чувства; вторая—некоторое циническое свое оправдание связи, мужское самодовольство—и все же раздражение от этого невиданного беспорядка и беспокойства в своей жизни; и, наконец, третья—когда первые чувства были утишены, когда остроту новизны это утратило и когда отчетливо он уяснил для себя, что очень осторожно надо эти отношения закончить, потому что далее уже могут возникнуть такие осложнения в жизни, когда случайное это обстоятельство выйдет на первый план и даже многое собой заслонит. Этой мысли в себе вначале он ужаснулся. То-есть он, считавший себя человеком во всяком случае не в общем ряду, именно с обыкновенной мужской осторожностью хочет поскорее все это свести к случайной страстишке, к обыкновенному случаю в жизни. Не каждый порожек меняет жизнь и не о каждом порожке вспоминать и раздумывать! Романтика городская, осторожная, все в меру и в свою пору. Ну, а она, которая с такой расточительностью и торжествующим счастьем принесла себя, — для нее это тоже порожек, или поворот, меняющий всю жизнь? И Челищев понял, что этого-то он и боится. Женской искренности, уменья отдавать себя до конца и роковой и опасной привязанности. Таня привязалась к нему, она дошла в своем чувстве до необычайной той полноты, которая означает для женщины—счастье, а для мужчины зачастую — начало конца. И он решил рвать. Но как сделать так, чтобы его превосходный облик не омрачился бы ничем для нее и не снизился? Вот здесь нужна изобретательность, которую он отлично усвоил в науке и которая в жизни—совсем иное.

Для начала он постарался сократить их встречи. Может быть, если сделать настолько их редкими, чтобы она забывала о нем по-

степенно, с чем-нибудь новым столкнулась бы в жизни, погрустила бы, потосковала—и так по-хорошему, с грустью и, вероятно, с нежнейшим воспоминанием—встреча эта покрылась бы легким и романтическим облаком. Так чаще всего бывает, и тогда не знаешь, кто же виноват во всем этом и как эта разлука случилась? И встречи их сократились. Они сократились настолько, что он мог бы считать почти правильным то, что задумал, если бы с бо́льшим волнением и с бо́льшим мучительным ожиданием она не отдавала теперь в их редкие минуты сближенья свое сбереженное чувство... Еще с той первой встречи в кабинете у Челищева Таня решила, что это—ее судьба. Она нашла для себя то большое пристанище, ту необходимую пристань, которую с таким упорством и с такой надеждой искала она в своей жизни. Первоначальное смятенье перешло в неиссякаемый крылатый восторг: этот большой, недоступный для всех человек стал ей близок, именно ей, Тане Агуровой. Она приходила на лекции, бывала в редакции, приносила заметки—и всегда волнующе и пожирающе возникала перед ней эта вторая ее сокровенная жизнь. Чувство тревоги и счастья стало переходить постепенно в обожание, в привязанность, в преданность. Он хочет, чтобы они реже встречались, значит так надо. Он не щедр на внимание, скорее озабочен, чем счастлив всем этим, — что ж, она понимает все и не станет мешать его жизни. Но для нее пришло то, о чем еще подростком мечтала она, не слишком по-умному, наивно, по-провинциальному, вероятно — встреча с человеком, который ее покорит своим талантом и волей, даст ей вот это горделивое чувство сопутничества с ним. И жизнь осветилась для Тани внутренним светом, который ревниво скрывала она ото всех. Впрочем, было нечто такое теперь в отношении к ней Свербеева, от чего несколько раз неясно она задумывалась: словно знал он все и очень покровительствовал этому, и всегда начинал разговор о Челищеве, и несколько раз именно он, Свербеев, устраивал эти встречи с Челищевым — всё для тех же бесед о новых его работах.

Оттепельные дни в этом году были пустынны и бесконечны; туманы и сырь держались до самого ноября, а потом в одну ночь ковкий морозец подсушил стеклянными сухарями все эти лужи, залоснил гололедицей камни, и с дремучими северными циклонами понесся лохматый снег, поваливший на целых три дня метелью. И из снежного хаоса и ледяной кутерьмы, и метельных полотнищ— стала зима. Последняя встреча Тани с Челищевым была месяц назад у нее на квартире. Сидя возле окна, сжав холодные руки, Таня ждала его. Уже три недели протянулись со дня их последней встречи, и Таня вся замерла, горячо захлебнулась от тревоги и счастья, когда машина забормотала и стихла под окном. Минуту спустя дрогнул звонок. Она подбежала к дверям, почти не дыша, впустила его; коричневый знакомый портфель, меховая шапка, в которой казался он выше,— и дорогое, посвежевшее от мороза лицо; старше ее—чужой, равнодушный, высокомерный для всех,—и ее, ее... И эта горячая страсть, неж-

ные руки, тесно закинутые за его шею, вставшая на цыпочки, чтобы до него дотянуться, милая сумасбродная девочка—все это снова закружило, затмило и отдалило то, с чем в этот раз он приехал сюда. Он ехал сюда, чтобы покончить со всей этой для него невозможной, затянувшейся связью, чтобы все об'яснить—мягко, душевно, очень по-человечески. Он не хотел говорить, что порывает совсем; он только желал пояснить, что эта зима полна для него большой ответственной работы, что он готовится к командировке в Америку, что нужно временно совсем прекратить эти встречи, — и всё случилось так, как он совсем не хотел. А когда случается так, можно ли начинать разговор о всем этом,—и Челищев, перегорев, сидел и мучился своей слабостью, безнадежно теряемым временем в расписанном дне и своим неумением выправить изогнувшуюся линию жизни. Он уехал отсюда, терзаясь упреками, полный смущенья и сумрака. С тем же сияющим, прекрасным в своей любви лицом она проводила его — вновь, вероятно, на долгую разлуку.

В этот вечер Челищев с женой уходили в театр. В половине восьмого он отложил работу и прошел переодеться к ней в спальню. Тончайшая свежая пыль просыпанной пудры дымилась здесь. Жена стояла перед зеркалом; рослая ее и все еще прекрасная фигура, нитка жемчуга вокруг полнеющей шеи, тронутые карандашом губы,— конечно, не молодость, не та неискушенная свежесть, но в этой — прочность жизни, налаженный быт, много совместно прожитых лет, и он ужаснулся себе, как все это мог поставить под угрозу. Нет, это уже спайка жизни, ее цемент,—и если появится трещина здесь, то пошатнется вся жизнь. Завтра же нужно проснуться с холодной обдуманной волей — кончить ненужную связь. И в этот вечер в театре и далее за ужином—вдвоем с женой—он был необычайно внимателен, словно в давние годы, они пили вино и ехали ночью, тесно прижавшись друг к другу, на извозчике, она прятала в мех лицо, и молодые совсем, когда-то его заворожившие, теперь туманные слегка от вина и обещаний, глаза смотрели на него всю дорогу. И утро для Челищева возникло обычным деловым расписанием часов и холодным решением больше никогда не встретиться с Таней.

Месяц спустя после этой последней встречи с Челищевым, терзаясь от его холодного и непонятного невнимания, от того, что трижды по телефону—очень недовольно, скучающим голосом ответил он ей, что занят и увидеться с ней не может,—месяц спустя Таня Агурова ощутила то, что потрясло ее ужасом. Странные предчувствия обратились в уверенность. Ничего не понимая еще, ужасаясь одной этой мысли, беспомощная в своем одиночестве, не зная, как увидеть его, чтобы все рассказать,—полная только смятения и одиночества, она решила ему написать письмо. Она ничего не написала в письме о своих предчувствиях; она только коротко писала о том, что у нее есть большая неотложная необходимость увидеть его в последний раз, если он не хочет больше с ней видеться. Она послала это письмо и ждала ответа

мертвая от тоски и отчаяния. И он ей ответил; он писал, что хотя очень занят, совершенно предельно занят, но в половине первого дня, в понедельник, он будет на заседании в комитете по делам изобретений и освободится примерно к половине второго. Он может уделить десять минут, не больше, потому что в три с половиной у него другое заседание на Варварке. Это было холодное деловое письмо, он назначал ей встречу на улице, для того, вероятно, чтобы встреча эта не затянулась, и даже точно определил расстоянием и временем ее границы. Неверящими пустыми глазами Таня прочла письмо этого человека, который только недавно был ей так близок. И в понедельник, в половине второго, она пришла именно к тем самым часам, колючая стрелка которых, как бы сникая, скакала вниз к изогнутой насмешливой шестерке.

XV

Легкий ветер, полный запахов свежего снега, дул оттуда, из городских пространств, куда далеким изгибом уходили трамвайные рельсы. Была легкая зимняя синева с блистающим снегом и очень нежными далями пепельно-голубого оттенка, — тот замшевый зимний простор, когда еще в синеве стеклянно зажигаются фонари, воронье с крахмальными криками летит над бульваром и разорванной гроздью садится на белые дуги деревьев, и пахнет снегом и конским навозом— особенным и неповторимым запахом московской вдовьей зимы. И, стоя здесь возле часов, глядя на персиково-розовое разодранное небо над дальними крышами, Таня увидела знакомую фигуру человека, который шел к ней не спеша, очень достойно, чтобы только кто-нибудь не подумал, что он идет на свиданье. И Таня поразилась тому, как отчужденно и холодно на нее посмотрел Челищев. Они поздоровались и дальше пошли отсюда вдоль бульвара. Они молчали оба, и Таня не смела первой начать. Наконец, он сказал очень деловито:

— Я получил ваше письмо. Мне очень трудно встречаться с вами... я чрезвычайно занят за последнее время. Будем говорить.

Таня кивнула головой и ответила:

— Да.

— Вы что-нибудь хотели сказать мне важное?—спросил он снова.

Она опять кивнула головой, но он скорее это почувствовал, чем увидел, потому что шла она, опустив очень низко голову. Рядом и позади близко проходили люди,—и говорить поэтому было неудобно. Наконец, молча они перешли снежную площадь, стали подниматься вверх по другому бульвару и сели на крайнюю пустынную скамью.

— Будем говорить,—сказал он ей снова, и озабоченно поглядел на часы.

— Мне нужно было увидеть вас,—сказала Таня с трудом и не подняла головы.—Я думаю, вы сами можете понять, зачем мне нужно было вас видеть...

Вдруг он очень, необыкновенно покраснел; как-то мгновенно хлынула в лицо ему кровь, и поспешно стал доставать он платок, чтобы скрыть замешательство.

— Нет, признаюсь, я не понимаю, — сказал он быстро. — Что-нибудь случилось?

— Да...

— Что же именно? — он спросил это очень фальшиво, ему не свойственным голосом.

Тогда Таня подняла лицо, поглядела ему в глаза и сказала так просто, словно вздохнула:

— Константин Петрович, что бывает с женщиной, когда она живет с мужчиной?.. ведь вы знаете это лучше меня. Зачем же вы заставляете меня говорить вам это?

— Как... но разве это возможно? — спросил он почти беззвучно, чувствуя, что не может скрыть ужаса.

— А почему же нет? — почти уже сурово ответила Таня.—Наверное, возможно, если это так...

Он сидел на скамейке подавленный, почти смятый этим свалившимся на него совсем неожиданным, невероятным, сразу все в нем смешавшим, признанием. И выпрямившаяся было заново жизнь насмешливо и чудовищно скомкалась и измялась в эту минуту. Они молчали оба и сидели неподвижно на одинокой скамейке. По бульвару вниз неслись на коньках мальчишки, был дневной и пустынный час, и мимо бульвара торопливо сбегали и угрюмо взбирались деловые вагоны трамвая. Щурясь, сразу утратив отчетливую твердость решений, Челищев смотрел на мальчишек, на сизеющий к сумеркам город. Вот на каком случайном и непредвиденном порожке спотыкается жизнь! Некое забвение легко, невесомо плыло в эти минуты над ним, над этим отдаленным бульваром, над городской торопливою жизнью... И Челищев вдруг понял, что прежде всего он задумался о себе, о своем положении — и меньше всего о Тане. Как будто несчастье обрушилось лишь на него, а не на это страдающее рядом и молчаливое, и теперь уже ненавистное и словно виноватое перед ним во всем этом несчастии — существо. Он быстро стряхнул это оцепенение, деловито собрал себя, мгновенно обдумал все — и принудил себя говорить, убеждать, действовать. Сожаление, какое ощутил он минуту назад к себе, как бы смягчило его, и он заговорил теперь мягко, вкрадчиво и убедительно.

— Конечно, это несчастье... и я меньше всего ожидал, что это может случиться, — он сказал так, играя знакомыми низкими нотками голоса,—но нет такой беды, из которой не было бы выхода... Все это нужно ликвидировать, конечно, и как можно скорее. — И он уже вдохновился собственной убедительностью. — Вы понимаете, Таня... не в нашем же положении с вами допускать подобное!.. Жизнь идет своим порядком, налаживать ее очень трудно — у меня к вам самое большое, искреннее и хорошее чувство, но не могу я вам лгать

и говорить, что я люблю... да ведь этого я никогда и не говорил вам, не правда ли? Так все случилось..., а сейчас со всеми этими последствиями — нужно покончить и как можно скорее.

Таня глядела на снег и вдруг подняла лицо. Она посмотрела на него почти с сожалением, — так вот все, что сумел он сказать ей — обыкновенное мужское, ничем не отличное от того, что сказать мог бы каждый. Она ответила:

— Константин Петрович, напрасно вы так беспокоитесь... я ни минуты не думала угрожать вашему спокойствию и вашей жизни.

Теперь он ужаснулся, что она может так измельчить его облик.

— Нет, позвольте же говорить мне. Я старше и опытнее вас и лучше знаю жизнь. Совершенно естественно, что я прежде всего заговорил о необходимости исправить нашу ошибку... Вы на меня не сердитесь, Таня, но о жизненных вещах надо говорить по-жизненному. Для всего этого нужны деньги... вы дружески возьмете их у меня и сделаете немедленно все, что нужно...—Он говорил и потрясался сладкой убедительности, которую старался запрятать в эту его заботу о ней. Рукой он нащупал в кармане бумажник и отсчитал пять бумажек—пятьдесят рублей: новыми белыми этими бумажками получил утром он жалованье. Таня позволила ему положить деньги в сумочку и молчала, глядя перед собой. И он совсем успокоился и близко сказал ей знакомым, столь любимым недавно голосом:

— Ведь вы сделаете все, что нужно, обещаете мне?..

Она ответила — очень спокойно:

— Да, конечно, я это сделаю.

Он ожидал, что она обидится, заговорит, начнет упрекать,—но она молчала. Конечно, жаль было эту милую сумасбродную девочку, но не он, в конце концов, виноват во всех этих нравах, которые приводят к таким ужасным последствиям. Прежде все это было сложней, а сейчас проще, условнее—и, конечно, если все уж так просто, нельзя из этого делать трагедии.

— Я бы хотел, чтобы вы в свое время обо всем меня известили. Вы понимаете сами, что я не буду спокоен, — он сказал это ей, но так же молча сидела Таня на зимней скамейке и смотрела перед собой на свежий, еще не затоптанный и синеющий снег. Она ждала, что прежде всего задумается он глубоко о том, как потрясено до предела все ее существо, как сложно и мучительно должна ощущать она это огромное первостепенное событие в своей жизни, но он больше всего беспокоился, как бы только она не раздумала, не отменила б решенья, не осложнила бы вдвойне его жизнь. Молчание ее было тягостно, и он говорил теперь сам — по возможности беспечно и бодро, закурив папиросу. С деревьев шопотом посыпался тихий снег, далекие каменные перспективы города в лиловатых морозных дымках уже прорастали лимонными пустыми огнями, — был тихий смиренный тот час, когда сумерки расстилают бесшумно и незаметно синие свои и пушистые половики. И Челищев подумал уже с досадой, что это молча-

ние, в сущности, бестактно и непереносимо; к тому же она не думает вовсе о скудном его и расписанном времени. Он поглядел на часы, вздохнул,—у него нет больше времени здесь оставаться,—и они поднялись с скамейки. Они прошли вместе немного, и Таня сказала:

— Вам, вероятно, вниз... а я пройду еще в эту сторону.

Он подержал ее руку в своей.

— Ведь вы не сердитесь на меня, Таня? Право, я не хотел, чтобы все это так обернулось, — сказал он ей нежно и искренно, как мог. Она ответила:

— Мне не за что сердиться на вас, Константин Петрович, — и хотя ответ этот мог бы сухостью своей показаться обидным, Челищев был рад, что это его избавляет от дальнейших и нестерпимых об'яснений. И здесь, на бульваре, они простились. Он медленно пошел вниз, стыдясь ускорить шаг, и оглянулся через минуту. Тани не было видно уже, и тогда облегченно, точно оставив всю тяжесть на этом бульваре, он вышел на площадь, — на площади деловито громыхал на стрелке трамвай, зажигались огни, это была знакомая и безопасная жизнь, показавшаяся ему восхитительной, словно минуты назад ее хотели отнять у него. Он нанял извозчика, и весело вскоре зазвякала на шершавой лошадке сбруя, успокоительно обещая, что все образуется.

Таня дошла до конца бульвара и села вновь на скамью. Она была здесь одна в этот час. На бульваре еще не зажгли огней, он был грустен и синь, вороны сыпали вниз снежную пыль и все никак не могли примостить себя на ночлег. Вот — и все. Какое простое разрешение раздумий, впервые всколыхнувшихся в ней. Деньги положены в ее сумочку — и дальше все просто, так деловито и по-мужски он решил. Но разве он спросил у нее, задумался он о том, как в трагической невозможности она приняла для себя все это? Пусть—это ее мечта, ее фантастический вымысел, и прав на его чувства она не имеет. В этой дикой и торопливой жизни не до мечтаний, и множество людей осмеяли б нещадно дичайшую ее мечту,—но все же так, с большими ветрами в своей душе, она мечтала. И первый же Челищев, когорый должен был бы все это понять, который должен был бы услышать эти первые ветры в ней,—он спокойно и деловито положил, как всему быть. В деловых торопливых днях люди не мечтают, мечтателей смывает жизнь, и остаются те только, кто твердо знает распорядок удовольствий и дел... Разом фонари зажглись вдоль бульвара. Огни зажигались в домах. Городской вечер торопливо брел синими улицами, и всюду навстречу ему выбегали огни. С пустотой, словно за эти часы ветер выветрил из нее душу, Таня пошла отсюда. Она прошла к зеленым огням остановки, дождалась трамвая, и трамвай легко устремился вниз, вдоль бульвара. Дмитрий Агуров был уже дома. Она сказала брату, что задержалась в редакции, очень спокойно просмотрела вечернюю газету и стала готовить чай.

(Продолжение следует.)

Лейтенант Шмидт

БОРИС ПАСТЕРНАК

Часть третья и последняя

20

Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь.
Снаружи—вихря гарканье, огарков проблеск темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.

Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает, и—к выходу на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас, не шумите.
Нельзя же до полуночи!». И разом в лязг и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьет и тащит по лесу по лестницам витым.

Наверно, повод есть у ней, отворотясь к простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок платка.
Вы догадались, кто она.—Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове в пурге и мыльной пене
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепленье.
Он весь из камня острого, и—чайки на часах.

И неизвестно едущей, что эта крепость - тезка
(Очаков—крестный дедушка повстанца корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибоем отделя.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой неравной,
Дознаться, где он собственно, нет ни малейших средств.

До Ро́мен не доехать ей. Не скрыться от моро́ки.
Беглянка видит нехотя: забвенья нет в езде,
И пешую иль бешено катящую, с дороги
Ее вернут депешею к ее дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы,
И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся посноровистей об'ятья пьяной прозы,
И смерть скользнет по повести, как оттиск пятерни.

И будет день посредственный, и разговор в передней,
И обморок, и шествие по лестнице витой,
И тонущий в периодах, как камень, миг последний
И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

Как памятен ей этот переход!
Приезд в Одессу ночью новогодней.
С какою неохотой пароход
Стал подымать в ту непогоду сходни!

И утренней картины не забыть.
В ушах шумело море горькой хиной.
Снег перестал, но продолжали плыть
Обрывки туч, как кисти балдахина.

Потом вдали из кучки пирамид
Привстал маяк поганкою мухортой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт».
И публика шагнула вправо к борту.

Когда пороховые погреба
Зашли за строй бараков карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.

Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевок,
Он затонул от полного измора.

Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, становились тверже,
И вдруг, застлав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

Однако, как свежо Очаков дан у Данта!
Амбары, каланча, тачанки, облака...
Все это так, но он дорогой к коменданту
В отличье от нее имел проводника.

Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки.
«Я конфидентка Шмидта? Я его дневник?
Я крик его души из номеров Ткаченки,
Вот для него цветы и связка старых книг?

Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
Не значась в их глазах ни в браке ни в родстве?»—
Так думала она, и ветер рвал косынку
С земли, и даль неслась за крепостной бруствер.

Но это все затмил прием у генерала.
Индюшачий кадык спирал сухой коклюш.
Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла
И снег махоркой жег больные глотки луж.

Уездная глушь захолустья.
Распев петухов по утрам
И холостящий устье
Весенний флюс Днепра.

Таким дрянным городишкой
Очаков во плоти
Встает, как смерть, притихши
У шмидтовцев на пути.

Похоже, с лент матросских
Сошедши без следа,
Он стал землей в отместку
И местом для суда.

Две крепости, два погоста
Да горсточка халуп,
Свиней и галок вдосталь
И офицерский клуб.

Без преувеличенья
Ты слышишь в эту тишь,
Как хлопаются тени
С пригретых солнцем крыш.

Без всякого вниманья
В тумане различишь,
Как к ракушкам в лимане
Кубышками льнет камыш.

И звякнет ли шпорами ротмистр,
Прослякотит ли солдат,
В следах их соли подмесь:
Вся отмель точно в сельдях.

О, сунш воздух ковкий,
Земли горячий фарш!
«Караул, в винтовки!
Партия, шагом марш!»

И, вбок косясь на приезжих,
Особым скоком сорок
Сторонится побережье
На их пути в острог.

О, воздух после трюма,
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.

И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты,
И кони, и конвой.

Прошли,—и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина.
Военного собранья
Фисташковая стена.

Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий под'есаул.

Над Очаковом пронес
Ветер тучу слез и хмари
И свалился на базаре
Наковальнею в навоз.

И, на всех остервенясь,
Дождик, первенец творенья,
Горсть за горстью, горсть за горстью,
Хлынул шумным увереньем
В снег и грязь, в снег и грязь,
На зиму остервенясь.

А немного погодя,
С треском расшатавши крючья,
Шлепнулся и всею тучей
Водяной бурдюк дождя.

Этот странный талисман,
С неба сорванный истомой,
Весь—туманного письма,
Рухнул вниз не по-пустому.

Каждым всхлипом он прилип
К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона.
Хлопнуть вплоть, пропороть,
Выстрел, цвет, тепло и плоть.

Но зима не верит в близость,
В даль и смерть верит снег,
И седое небо, низясь,
Сыпет пригоршнями известь,
Это зимний катехизис
Шепчут хлопья в полусне.

И, крутясь, шипит крупа
По небу и мертвой глине,
Но мгновенный вздох теплыни
Одевает черепа.

Пусть тоща, как щепа,
Вязь цветочного шипа,—
Новолунью улыбаясь,
Как на шапке шелопая,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.

И, долбя и колупая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в унынии
Звон великого поста.

Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья
Подоконниками тонет
Зал военного суда.

Все живое беззаконье,
Вся душевная бурда
Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним, как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собранье?
Казнью звали в те года
Переправу к Березани.

. . . . . .

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяна,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтенье, несмотря на то, что рано
Или поздно сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капели вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтенье,
Чтенье, чтенье без конца и пауз.

Версты обвинительного акта.
Шашку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.

Шашку в зубы,—да минуй озноб!
Мысли о казни—топи непролазней:
С лавки с'едешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и—хлоп.

Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах—таска на гауптвахту
Плотной кучей в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!

Утки—крякать, курицы—кудахтать.
Свист нагаек, взбрызги колеи.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спахтан.
Эти лица, и в толпе—свои!
Эти бабы плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

Час спустя опять назад с гауптвахты
Той же кучей в сорок три шей
К папкам обвинительного акта
В смертный шелест сто второй статьи.

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.

Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.

Забывши об уставе,
Конвойные отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукою на кобуре.

Волнение предгрозья
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.

Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тазы и пояса,
И, протащившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.

Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!»—крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним—карать и каяться,
Другим—кончать Голгофой.

Как вы, я—часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, —мученики догмата,
Вы тоже—жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

Как непомерна разница
Меж именем и вещью!
Зачем Россия красится
Так явно и зловеще!

Едва народ по-новому
Сознал конец опеки,
Его от прав дарованных
Поволокли в аптеки.

Все было вновь отобрано.
Так вечно, пункт за пунктом,
Намереньями добрыми
Доводят нас до бунта.

В те дни,—а вы их видели,
И помните, в какие,—
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Поставленный у пропасти
Слепою властью буквы,
Я не узнаю робости
И не смутится дух мой.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

Двум из осужденных, а всех их было четверо,—
Думалось еще—из четырех двоим.
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в спящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
Быть в тот миг могло, примерно, два часа.
Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настежь, и точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
Заскрипели петли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному,
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
Путаясь костями в цепях, забились в глубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
Бросились к решетке, колясь о сноп лучей.
И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!»
Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!»
Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал потушенный рыданьем каторжан.

Глушаки

Рассказ

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Весну об'явили грачи.

Всю неделю, поблескивая на солнце вороным пером, вперевалку бродили они по утемневшим дорогам, белыми носами разбивали мерзлые колтыхи. Когда по дороге проезжал, завалясь в возок, подгулявший мужик в армяке, они, подпустив близко и присев на тонких ногах, лениво взлетали над лохматой спиной лошаденки и опять опускались на дорогу. Грачей встречали на полях галки, похожие на бедовых бабенок в серых платочках. Днем они гуляли с грачами, а вечером вместе садились на голые, звеневшие на весеннем ветру деревья.

На первой неделе поста негаданно воротилась зима: подул с холодного угла ветер, понесло пургой, неведомо куда пропали грачи, и опять по-вдовьему кликали над белою колокольнею галки.

Вернулась весна на четвертой,—хмельная, в зипуне нараспашку, прошлась по лугам, опростала из снегов кочки, отворила ручьи, синею водою налила овражки.

В день прошел на реке лед, поломало на ручьях мосты, залило водою ветродуя-Ваську, жившего на краю деревни у брода,—зашла вода в Васькину печку. И на долгое время стало по дорогам не пройти, не проехать. В эти дни валом повалила над речкой Невестницей водяная и лесовая перелетная птица.

И в эти же дни впервые собрались кочановские охотники Хотей, Тит и ветродуй-Васька в лес за Невестницу под мошника-глушака.

Из деревни они вышли под вечер, огородами, чтобы не дразнить деревенских собак. На выгоне под ногами их пробежал старый, с отмороженным гребнем и слежавшимся на сторону хвостом, ошалелый от весны петух. Носастая, освещенная закатным солнцем, ворона, сидя на голой березе на огородах и глядя вниз на черный навоз, хрипела, качаясь на ветке и давясь:

— Харррч! Харррч! Харррч!..

— Разоралась стерва!—сказал Васька, перемахивая под березою через лужу и деловито заметил:—Высоко ворона сидит,—обязательно к тихой погоде.

Пройдя овины и перелезши высокий, нанесенный за зиму сугроб, охотники выбрались на дорогу, еще покрытую ледяной коркой, и молча пошли друг за дружкой к синевшему впереди лесу. Тотчас, сорвавшись с межи, над ними запел, задрожал жаворонок и уж не отставал от них до самого лесу. Высоко в небе, над лесом, легкою паутинкой прокликали журавли. Быстро, догоняя друг дружку, пронеслась над дорогой пара витютней и жалобно-горько заныл над канавою чибис. В поле были места, где теплым дыханием дышала земля, и охотников обдавало теплом, как из раскрывшейся пазухи.

Под старою угольницею мужики по жердочкам перешли набухший ручей и, остановившись, свернули цыгарки. Синий дымившийся лес накрыл их просто и не видно, как свою родню.

По лесу они брели долго, срываясь на мерзлой лесовой дороге, иной раз по колено бредя в ледяной воде и громко шлепая по грязи лаптями. В болоте, погоревшем прошлое лето, лес густо лежал повалом, и они брели узкой стежкой, еще зимой пробитой в повале. Справа и слева непролазно лежали вывернутые с корнем ели и сосны, и одиноко стояли обгорелые снизу осины.

Место, куда они шли, звалось на деревне Грядою. Это был редкий, приземистый, тугорослый сосонник, пересекавшийся полосою черного леса. Еще недавно там водились медведи и рыси всякий год жил, рос и кормился волчий выводок, и уж в революцию последнего извели мужики лося. Там, где сосны были реже и выше,—по осевшему вешнему снегу кругами шли тропы и стежки, и от стежек разбегался звериный обледенелый след. Везде под деревьями червячками валялся на снегу свежий и перезимовавший глухариный помет.

На место они пришли под самый закат. Золотом полыхало над лесом небо, сгорало и высоко таяло в небе одинокое, с огненными краями, облако, сосны стояли, как зажженные свечи. Охотники постояли, покурили и разошлись „на подслух".

Вечер в лесу подходил тихо. Пискнула, промелькнув от пенька на пенек, и пропала под кореньями мышь. Щелкнуло где-то в лесу, и упала, долго цепляясь по сучьям, сухая сосновая ветка.

Чуфистнул два раза, сорвался и заболмотал далеко тетерев-полевик.

Первый над лесом протянул вальдшнеп, испуганно цвиркнул и, забирая крылами по золотому, повернул на болото.

В последний раз багрово вспыхнула над лесом вершина самой высокой сосны и погасла.

В эту минуту, неведомо откуда, большая черная птица быстро пролетела над лесом. Было слышно, как ухнуло по лесу, и далеко видно, как гомозилась она на вершине, усаживаясь и обрываясь. Так она

сидела, прислушиваясь к лесной тишине, и на золотившемся небе четко и сторожко виднелась поднятая над макушей ее голова с козьей бородкой. Когда в небе первая зажглась звезда, она щелкнула, заворошилась и с шумом опустилась на нижний сук.

Охотники неслышно стояли, пока стемнело, и рассыпались по небу звезды. Тогда они отошли в сторону, выбрали под елками место и, повесив на сучках ружья, отправились ломать для костра сушь. Огонь разжигал Васька. Лежа на снегу брюхом, он запалил спичку, дунул, и огонь осветил раздутые его ноздри. Поднявшись, он лаптем придавил разгоравшийся костер, и в небо, стреляя, посыпали искры.

— Славное дело!—сказал он, жмурясь, смеясь и отшатываясь от жарко взявшегося огня.

Охотники натаскали суши, наломали под себя пахнувших смолою вешек и, покряхтывая, расселись вокруг огня. Было слышно, как далеко за болотом тоненько пробрехала лисица, и на лядах жалобно гукнул заяц.

— Гуляет косой!—сказал, усаживаясь у огня, Тит.—Теперя им самая гульня.

Тит и Хотей разулись, расправили и повесили над огнем мокрые онучи. Васька, как был в лаптях,—завалился на еловые вешки и оскалил на огонь белые свои зубы.

— Гляди, копыта отвалятся!—сказал ему Тит.

— Мои привычные!—с хохотом отозвался ему Васька, постукивая лапоть о лапоть.—Мои сам чорт не сгрызет.

Костер разгорался. Стреляли из огня искры и вместе с дымом улетали в звездное небо. Колыхались над костром еловые лапы. Лисица пролаяла еще раз—теперь в другой стороне, и замолкла.

— Раньше зверя-птицы невпример было,—стариковски-строго заговорил Хотей.—По восьми глушаков за утро брали. Бывало к одному бежишь, а пять обочь играют. Тогда, брат, охота была. Свалятся на земли драться, треск пойдет по лесу. На них глядевши, животики надорвешь...

— Большая уменья надо,—заметил Тит, большой, неладный, в лохматой овчинной шапке, закрывавшей его маленькие, блестевшие под овчинными кудлами глазки.—Не всякого, брат, возьмешь. Кто по лесу, как корова, ходит, тому век не взять. Играет—хучь с пушки пали, а замолчит—ни брясь, стой! Хитрая птица... Есть такой, самый старый,—играть не играет, только слухает—не идет ли охотник. Где такой заведется,—лучше не суйся...

Жмурясь от дыма, он поправил костер, подкинул на огонь суши, сел и протянул к огню свои большие с шевелившимися пальцами ноги.

— Так-то вот,—продолжал он, ниже надвигая на лицо шапку,—ходили мы в прежнее время с барином, с Иван Лексеичем, на самое это место под глушаков. Бывало—вешек ему навалю, огонь разведем, ляжет он и все на огонь смотрит.—„Страшно, скажет, тебе, Тит,

одному в лесу ночевать?"—„Почему страшно, мы к этому привычны, нам не страшно"...—„Расскажи, скажет, Тит, мне про что-нибудь, а я не желаю спать"...—„Чего, говорю, рассказывать, спите себе спокойно, а утро придет,—глушачка забьешь!".. Под утро, бывало, заспит, стану его будить,—мычит, как теленок. Подниму его, пойдем вот так-то в лес. А глушаков в те времена было по этим местам массыя, наш брат тогда не ходил. Поставлю его:—„Слышишь?"—„Нет, ничего, говорит, не слышу, окромя как ветерок по макушам ходит".—„Ладно, говорю, поспевай за мной!"... Стану под песню сигать, а он за мною. Слышу, играет,—совсем даже явственно.—„Ну, теперь слышите?"—„Нет, говорит, не слышу, только в роде как сорока на крыше чекочет"... „Он самый и есть—говорю!" Подскочили раз так-то под сосонку,—так разлапая сосонка, вижу, глухарь на суку, вижу, на зорьке борода трясется и как начнет его забирать, весь сук ходуном ходит. Под песню показываю барину:—„Видишь?"—Крутит он головою:—„Нет, мол, не вижу"... „Эх, думаю, кочережка тебе под самый под хвост!—Как не видишь?—да он вот он, бей скорее!.."—Вижу, стал он прицеливаться,—думаю, ну, готов, раскрывай, Тит, сумку! Ударил он,—с сосны хмызник посыпался. А глушак помолчал, послухал и опять пошел.—Ну, думаю, обязательно мимо! Опять под песню кричу:—„Бей, кричу, цельсь!"—Приложился он—бац! А глушак знай свое дует, потому под песню коло него хоть из орудиев бей. Такая мене досада взяла, прихватил я ружьишко, сматюгнулся, барину кулаком,—гляжу, на концу сука вешка колышется,—эва, думаю, вона во что барин пулял!—приложился—хрясь! Он с самой этой сосонки, как мешок, нам под ноги. —„Ну, что, говорю, Лексеич, что?"—„Понять, говорит, невозможно!"... —„То-то понять, ты ведь в веху стрелял,—пожди, говорю, походишь по лесу с наше, обучишься"...

Тит замолчал, улыбнулся своему прошлому. Мужики молчали, грелись, сушили над огнем онучи. Хотей сидел неподвижно, подобрав ноги, и черными косившими лесовыми глазками неотрывно глядел в огонь. И, как всегда в глухом лесу в весеннюю ночь, жалобно заду-дукала на болоте в свою дудочку какая-то полночная птица. — Ду-ду-ду, ду-ду-ду! — дудукала птица и ниже под ее дудочку насунулась на огонь ночь, теснее обступили людей невидные в лесу деревья.

— Алдотик затрубил, — сказал Хотей. — Скоро полночь.

— Очень даже удивительно, — прислушиваясь и зевая, заметил Васька. — Летось я полное утро за ей бегал, — подбегу, подбегу, вот она, вот, — стану глядеть — ан, нету, опять за три десятины дудит. Всиё утро зря прогонял. Никто этого алдотика не могет видеть...

Мужики молчали, слушали, смотрели на огонь, на падавшие и погасавшие над огнем искры. Над ними на еловых лапах неслышно колыхались черные тени. Далеко на лугах завыл, заплакал и замолчал волк. Васька поднялся, отошел в темноту и, приложив ковшиком руки, ответил по-волчьи. За Невестницей, в болоте, на Старом Бездоне ему откликнулись волчьи тоскливые голоса.

— Тут их до чорта!—весело, словно радуясь, сказал Васька, возвращаясь к огню и садясь.—Подожди лето придет, — начнут наших овечек лупить.

Растревоженные волки гудели долго. Иногда казалось, что они приближаются, и чудился в темноте их звериный шаг. Темнее и темнее опускалась над лесом ночь, жалостнее и глуше дудукал на болоте неугомонный алдотик. Приближался тот торжественный полуночный час, когда ломается над землею ночь и на свой положенный срок затихает и молчит все, что живет, дышит и растет в лесу. Словно для того, чтобы подчеркнуть торжественность наступавшей тишины, где-то близко сорвался и упал на землю легкий сучек. Люди примолкли, слушали, подчиняясь нахлынувшей тишине.

— В самую ночь-полночь никакая не поет птица, и не матусится в лесу зверь, — сказал, подбираясь у огня, Хотей.

Мужики зашевелились, сняли просохшие закорузневшие онучи, размяли в руках и не торопясь обулись. Васька, скорчившись и накрывшись шубейкой, лег у огня, как зарезанный, и захрапел. Тит долго крутил над коленями и слюнил цыгарку.

— Была со мною история, — заговорил он, закуривая, садясь и бросая в огонь горячую головешку. — Пошел так-то один за Невестницу, разложил огонек, сижу — и тоже алдотик дудит и такая на мене, братец мой, напала тоска-страх. Подкинул я на огонь сучья, задремал, — и только задремал, — стоит надо мною человек, борода сивая:— „Куды, говорит, подевал облячья?"... Спрохватился я, стал, — нет никого, огонюшко гаснет, и алдотик этот совсем над моей головой близко.— „Ну, думаю, скоро свет, пойду"... Накинул ружьишко, подобрался и айда в лес. А ночь в лесу—темень, того и гляди глаза выхлестнешь. Бегу и бегу. И слышу, братец мой: играет!.. Бегу и бегу, а он так и дует, песня за песней. Слышу, тут близко. Вижу — осина высокая.— „Ну, думаю, обязательно на этой самой осине"... Подскочил я под осину, стою. А он надо мной так и жарит, слышно, как перья звенят, как помет сверху валится... А ночь темная, ни елды не видать. Сам себе: дай, думаю, обожду, рассветет, — будет мой! Сел я под тую осинку, прихинулся, слухаю. И не то задремал, не то так: стоит опять надо мною человек тот с бородою: — „Отдавай облячья!"... Опять я подхватился, — свет, навроде как зорька над макушами займается...— „Ну, думаю, пора". Стал я подверх смотреть: тут он есть, большущий и крылья по суку распустил. Приложился я по нем — хлысь!—как он оттудова, как копна, как забьет по снегу крылами, мне под самые ноги и вижу—брови у него красные, глаз такой едкий. — „Стой, думаю, есть!" — Только я к нему—цап! А он от мене под пенек, у мене в руках перо из хвоста, — и пошел по роженью скакать. Я, конечно, за ним по роженью, вот-вот на хвост наступлю и такая мене досада берет: — „Стой, думаю, не уйдешь, до вечера буду гоняться,—не уйдешь"... И какая, братец мой, штука,—тут-то и вышло самое это приключение.—Так я и не пойму, как мы к тому месту вывернулись, где хлу-

довская сторожка стояла.—Ты, дядя Хотей, знаешь. — Колодец там от того время остался, сруб сгнил, а яма и потеперь есть. И нужно такому делу, — на все леса одна эта яма, снегом ее за зиму запорошило, — глушак через, я за им, да как ухну,—шапка надо мной и поплыла. Хлопочу, значит, там внизу, — помогай господь! Спасибо ктой-то оставил с лета жердину, дно мерили, — поймал я тую жердину да по ней и выбрался на божий свет. Вылез, — давай одежду скидавать, разделся догола, голóй на снегу стою, выжимаю — огонь бы раскласть, да спички подмокли. И вот, веришь ли, слышу,—шух-шух по снегу, гляжу — заяц, сел так, на мене смотрит.—„Эх, сам себе думаю, много я вас, косых, перевел, было бы и тебе то, да подмокло мое ружье"... Стою так, зубами стучу, вижу—другой, третий, десятка два зайцóв собралось, скачут округ мене, бегаю́т, друг дружку на снегу топчут. Оделся я кой-как, шугнул их, а к обеду чуть домой прибрел... Вот какая история!—заключил Тит, поглядывая на неподвижно сидевшего над огнем и слушавшего его Хотея.

Договоривши, он встал, отошел от огня и, мочась, посмотрел на небо: звезды блестели ярко, синими зубцами поднимался в небо лес. Глубокая, таинственная напряженная тишина накрыла и обняла его. Он взглянул на горевший огненным глазом костер, на сидевшего у огня Хотея, на освещенные, выступавшие из темноты, стволы ближних елок и, громко хрустя лаптями по насту, отошел в сторону на поляну. Две яркие звезды, одна над другою, горели над самым лесом. В последний раз далеко и глухо продудукал алдотик и смолк. Наступал торжественный, напряженный полуночный час. Тит стоял на поляне, окруженный лесом — свой в своем — и долго слушал наступившую глубокую тишину. Долго ли коротко совершался в лесу этот полуночный торжественный час, а когда совершился, Титу послышалось, что в самой глубине лéса хряпнул и сломался тонкий сухой сучек, и тотчас высоко по макушам пробежал предутренний ветерок, звонче и веселее задудукал алдотик, и далеко на участках тонко пропел петух.

— Скоро свет,—сказал он, возвращаясь и взваливая на огонь затрещавшую сухую макушу. — Храпит, словно пеньку продал, душенька беззаботная! — проговорил он, взглянув на храпевшего Ваську и укладываясь у жарко вспыхнувшего огня, осветившего его скуластое счастливое лицо.

Перед светом охотники задремали. Они лежали, свернувшись у догоравшего кóстра, и над ними низко-низко, словно разглядывая маленьких человечков, насунулся темный лес. Первый проснулся старик Хотей. Он быстро и молодо вскочил на тонкие ноги, подкинул в потухавший костер остатки суши и разбудил своих. Пожимаясь от холода, зевая охотники, размялись над огнем и, накинув ружья, растаскав костер, пошли в лес.

Они уходили от тлевших головешек, а высоко над ними пробегал и затихал в макушах холодный предрассветный ветер.

— Зоряет,— тихо сказал Хотей, когда они вышли на поляну и остановились.

На востоке над лесом чуть занималась зоря. Большая, розоватая звезда Зорянка стояла над поднимавшейся из леса высокой черной елью. Длинное тонкое облако проступило на позеленевшем небе.

На поляне охотники разделились и, похряпывая по насту, разошлись. Тит шел один, не торопясь, останавливаясь и вслушиваясь в пробуждавшийся лес. Иногда ему слышалось, что где-то играет глухарь,— он напрягал слух так, что звенело в ушах, и, постояв, шагал дальше по хрустевшему снегу. Низко над его головой прохоркал в темноте вальдшнеп. — „Утро играет!"—подумал Тит и пошел быстрее, осторожно ступая лаптями. Внезапно, наполнив лес трубными звуками, загалдели и загомозились на болоте проснувшиеся журавли.

Тит шел привычно, чутьем угадывая в темноте пугь. Остановившись под высокой разлапой сосной, он услышал далеко впереди едва уловимый, похожий на стук падающих капель, выделенный им из множества других, лесовой тихий звук. Он пошел осторожнее останавливаясь и замирая.

Два беляка-зайца, смешно подкидывая длинными ногами, один за другим пробежали от него в десяти шагах. Спускаясь к болоту и продравшись сквозь чащу молодого и цепкого ельника, он отчетливо услыхал от себя вправо громкое глухариное щелканье, скрежет и песню и, словно подброшенный, кинулся в снег. Определив направление, он бежал напрямки лесом, сигая под песню через колодье и замирая. Случалось, глухарь замолкал, слушал, и тогда Тит стоял неподвижно, дрожа подвернувшейся неловко коленкой. Однажды, свистя воздухом и глухо квохча, пролетела над ним тетерка, и глухарь замолчал надолго; слушал, мерз и неподвижно стоял в снегу Тит.

Место, по которому бежал Тит,— было сухое, поросшее редкими соснами болото. Игравшую птицу Тит увидел внезапно. Глухарь сидел на длинном голом суку, четко обозначаясь на просветлевшем небе. Было видно, как во время песни дрожит высоко поднятая глухарья голова, и подергивается надутый веером хвост. Тит, делая теперь один большой шаг и приседая, по открытому месту подбегал к сосне. Глухарь играл над его головою. Тит под песню оправился, откинул на затылок шапку и стал смотреть. Глухарь над ним был так близко, что в полутьме раннего утра отчетливо виднелась его шея, клюв и два торчавших сломанных в крыле пера,— был слышен каждый звук и шуршание перьев. Тит, наслаждаясь, стоял, слушал, смотрел. Вальдшнеп пролетел над болотом, цвиркнул, и глухарь примолк на минуту. Потом заиграл жарче, трепеща опущенными крыльями и содрогаясь. Тит под песню взвел курок и поднял свою одностволочку. Над мушкой он близко видел надувавшийся черный зоб и дрожавшие концы крыльев. Выстрел прозвучал слабо и чуждо. И, когда над лесом еще катилось и замирало эхо, на снегу под голой сосною билась могучими крыльями и предсмертно хрипела черная птица, а над нею

стоял и смеялся человек. Тетерка, квохча и разрезая воздух, низко пронеслась над сосною...

Когда охотники сошлись, — над лесом поднималось, играя и смеясь, солнце. Они опять пошли вместе, один за другим, шагая по вчерашним, обмерзшим за ночь следам. Из лесу они вышли, когда над деревней—над черневшими впереди крышами — столбами поднимались в небо дымы. Над рекою ниточкой просвистели и опустились утки. Над черным кочкарником, совсем невидный, поднимался и падал — играл баранчик. И опять, сорвавшись с межи, запел, столбом стал подниматься над дорогою жаворонок, весь золотой на солнце.

Рябина

БОРИС СОЛОВЬЕВ

Нет, не жду я песни соловьиной,
Я другими думами томим —
Горькая, продрогшая рябина
Под окном качается моим.

И она смолкает понемногу
И стряхает всю красу свою
На сырую скользкую дорогу,
В каждую кривую колею.

Здесь прошли в последний раз колеса,
Обрастая глиной голубой,
Здесь в последний раз мелькнули косы,
Нежно заплетенные тобой.

Ты сказала—наспех—«до свиданья»...
Даже не успев подать руки.
А потом растаяли в тумане
Люди, грохот, рельсы, огоньки...

Если песня, словно сумрак синий,
Изморозью веет дождевой—
Это только горькая рябина
Мне кивнула рыжей головой!

Бессонница

Э. БАГРИЦКИЙ

Если не по звездам — по сердцебиенью
Полночь узнаешь, идущую мимо...
Сосны за окнами в черном опереньи,
Собаки за окнами — клочьями дыма.
Все, что осталось!
Хватит! Довольно!
Кровь моя, что ли, не ходит в теле,
Уши мои, что ли, не слышат вольно,
Пальцы мои, что ли, окостенели...
Видно и слышно: над прорвою медвежьей
Звезды вырастают, в кулак размером.
Буря от Волги, от низких побережий
Черные деревья гонит карьером...
Вот уже по стеклам двинуло дыханье
Ветра и стужи и каторжной погоды...
Вот закачались, зачихали в тумане
Черные травы, как черные воды...
И по этим водам, по злому вою —
Крыльями крыльца раздвигая сосны,
Сруб начинает двигаться в прибое
Круглом и долгом, как гром колесный...
Словно корабельные пылают знаки
Стекла, налитые горячей желчью,
Следом, упираясь, тащатся собаки,
Лязгая цепями, скуля по-волчьи...
Лопнул частокол, разлетаясь пеной...
Двор позади... И на просеку разом
Сруб вылетает. Бревенчатые стены
Ночь озирают горячим глазом.
Прямо по болотам, гоняя уток,
Прямо по лесам, глухарей пугая,
Дом пролетает, разбивая круто
Камни и кочки и пни подгибая...
Это черноморская ночь в уборе
Вологодских звезд — золотых баранок;
Это расступается Черное море
Черных сосен и черного тумана...
Это летит по оврагам и скатам

Крыша с откинутой назад трубою,
Так что дым кнутом языкатым
Хлещет по стволам и по хвойному прибою...
Это стремглав, наудачу, в прорубь,
Это деревянные вздутые ребра,—
В гору вылетая, гремя под гору,
Дом пролетает тропой недоброй...
Хватит! Довольно! Стой!
На разгоне
Трудно удержаться. Еще по краю
Низкого забора ветвей погоня,
Искры от напора еще играют,
Ветер от разбега еще не сгинул,
Звезды еще рвутся в порыве гонок...
Хватит! Довольно! Стой!
На спину
Падает откинутый толчком ребенок...
Только за оконницей проходят росы,
Сосны кивают синим опереньем.
Вот они, сбитые из бревен и теса,
Дом мой и стол мой: мое вдохновенье.
Прочно установлена косая хвоя,
Врыт частокол и собака стала.
Милая! Где же мы?
Дома, под Москвою;
Десять минут ходьбы от вокзала.

Баллада о маяке

Д. БРОДСКИЙ

Последние транспорты в ночь отвалили
(Раздолье норд-оста и водные мили!).
Чем дальше от берега—небо черней...
Под палубой—вздохи усталых коней...
Над палубой—ругань, шинели, папахи,
Карболкой и потом кубанки пропахли...
Над палубой ругань... А город ушел
Налево, шумя, выгибается мол,
И, белый, у входа, над пропастью мрачной
Встает и качается корпус маячный...
Но слепы в нем окна... Средь волн ледяных
Ни лоцманских глаз, ни огней указных.
Прибой набегает, маяк огибая,
А дальше—норд-ост и дорога любая...
Тогда-то защелкал затвор—и шальной
Ударил огонь над кормой ледяной...
Никто не услышал в просторе железном
Последнюю злобу охваченных бездной,
Лишь ветер удар подхватил и понес
По оползням дач на «Фонтанский» утес,
Да сторож на башне слыхал, как с испугу
Стекольные брызги посыпались в угол.

. . . . . .

Я видел заделанный шрам на стекле,
Рассказывал сторож, и после во мгле,
Спускаясь назад, втихомолку, окольно
Я поднял и спрятал осколок стекольный.
Вот он на столе! Созерцатель стихий,
Он шепчет упорно вот эти стихи!
Гудит и подходит строфа за строфою,
Как песнь Черноморья, размером прибоя,
И, плавно пылая огнем указным,
Отшельник-маяк проплывает над ним.

Повесть о любви

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

I

Большую, казалось, несокрушимую любовь несла Варенька Павлу Кондратьичу, маленькому железнодорожному служащему. Эта любовь, как ароматная влага, благоухала сквозь самый сосуд, нельзя было закупорить, скрыть от окружающих. Каждая жилка звенела, каждая клетка тела кричала о своей радости — потому что любовь эта была первая, овеянная чистыми отроковичьими грезами...

Стучат машинки в мастерской мадам Луизы. Нежную, ласковую мелодию привычно льют девушки. Мелькает перед глазами цветная ткань...

Но чудится: не машинки, не песни — это вальс оркестра в комсомольском клубе. И Варенька неслышно скользит по паркету в большой многолюдной зале. Голова ее на его плече, гибкая талия под его сильной рукой; разливается теплота от нее. А перед глазами — горячие глаза, зовущие губы. Прикрыть бы веки и так кружиться в сладком опьянении, чувствуя крепость мускулов и палящее дыхание, слушая полушопот знакомого голоса...

Когда шли из клуба, уже брезжило розовое утро. На сквере Павел Кондратьич порывисто целовал ее, и она слабо отстранялась — хотелось, чтобы целовал еще и еще...

Над парадной, на черной вывеске золотом, еще по-старому значится:

„Мадам Луиза. Моды и платья".

Но дома зовут по-настоящему: Елизавета Петровна.

Каждое утро к железным воротам торопливо и озабоченно подходят одна за другой женщины: в косынках, скромных шляпках, в костюмах. На ходу поклонятся, обменяются отрывочными фразами — и сейчас же во двор за угол большого особняка.

А вечером оттуда выходят шумной гурьбой с утомленными лицами, и, уже не спеша, группами и в одиночку, разбредаются в разные стороны города.

Так — в стужу, в слякоть, в зной одиннадцать месяцев в году.

С полдня к парадной начинают под'езжать извозчики и автомобили, в них эффектные дамы в моднейших шляпках и ботинках. Дубовая дверь предупредительно распахивается и бережно прячет на полчаса—на час от крикливой, вечно праздничной улицы.

Елизавета Петровна встает в восемь. Это—привычка, выработанная необходимостью. Выпростав из-под одеяла руки, она потянется, остаток сна прогонит позевотой и быстро поднимается с кровати.

В мастерской еще тихо, одна только дежурная девочка. В столовой прислуга приготавливает кофе.

Максим Степаныч в утреннем легком костюме, освеженный одеколоном, напудренный, с прямым английским пробором, почтительно наклоняется к руке жены:

— Доброе утро, Лизочка!

После кофе, у Елизаветы Петровны начинается рабочий день. Она выходит в мастерскую. Под стрекот и жужжание машинок обходит столы, здоровается с мастерицами, внимательно осматривает работу. Потом отдает распоряжение заведующей—выжатой, с припеченною кожей, с седыми буклями, Анне Ивановне, и уходит к себе в комнаты принимать заказчиц.

В мастерской—гомон, песни и стальной щебет.

Анна Ивановна скоренькой, сухонькой походкой ходит от стола к столу, повсюду шныряет взглядом, настораживает ухо. А взгляд цепкий, и уши в любую щель пролезут.

Утром, едва вошли мастерицы, она многозначительно:

— Поздравить, Варенька?

— С чем?

— С новым знакомством!

Вытянув в сладенькой ухмылке тонкие губы, она ждет, из уклончивого ответа и предательской краски на лице пытается выжать что-нибудь новое.

— Счастливая ты: первый поклонник и такой обстоятельный, несмотря что молодой. Везет тебе!

В примерочной у хозяйки новая заказчица. — Анне Ивановне непременно нужно прислонить к двери ухо. После чего она вполголоса сообщает:

— Бывшая княжна, муж — начальник дороги, коммунист. Переписчицей у него была. Вот, и поди ты!..

Жизнь скакала разнузданным, взгорячившимся конем, ломала, затаптывала, кровью поливала окружающее. На взрыхленной почве вместо старых трав появились новые поросли. Вместо крепкого, устойчивого, к чему привык взгляд, поднялось новое и пенным гребнем захлестнуло спокойный, вековой уклад.

Но Анна Ивановна осталась прежней. Да и в мастерской все будто так же, как много лет назад. За теми же столами сидят такие же девушки, шьют из таких же дорогих материй платья таким же шикарным, не жалеющим денег, женщинам. Шьют и поют, часто все те же, что и раньше, песни: о любви, об измене милого, о тоске своей девичьей. В озлоблении так же тычут и щиплют девочек-учениц, завидуют хозяйке и жалуются на свою долю.

В мастерской—четыре длинных рабочих стола, четыре неумолчно стрекочут машинки и без числа манекенов—безголовых человеческих фигур на длинной точеной ноге. Они с тонкими и об'емистыми талиями, с узкими и широкими плечами,—все черные, бесстрастные, ничего не видят, ничего не знают.

Нет им дела до тоски и радости девичьей.

Нина, беспечное розовое создание с шелковыми завитушками, сидит за крайним столом,—шутками, смехом всегда веселит девушек и злит заведующую. Она вырезала из бумаги голову козла и незаметно приколола Анне Ивановне сзади на юбку.

— Маня! — кричит Нина через два стола подруге.— А правда, будто у твоего кавалера борода похожа на козлиную?

— Похожа! по вечерам страшно с ним гулять.

Девушки, взглянув на юбку заведующей, звонко смеются. Анна Ивановна оборачивается, обводит суровым взглядом столы, но там все над работой. Она молча опять принимается за свое дело.

— Анна Ивановна, я хочу вас спросить! — обращается к ней наивным голосом Нина.

— Ну?

— Вы не знаете: если во сне увидишь козла—будто всю неделю неприятности будут?

— Глупости,—резко обрывает заведующая.

По мастерской прокатывается волна хохота.

— Идиотки! Что ржете? Ничего смешного нет! — заведующая с сердцем отвертывается, начинает порывисто рыться в ящиках с катушками и пуговицами. Если бы власть—всех прибрала бы к рукам. Не пикнули. Но—не те времена теперь, ничего не поделаешь...

Нину по вечерам, в маленькой опрятной комнатке ожидает муж — фабричный конторщик; женаты только полгода. Она ластится к нему, целует и заливчато смеется. За чаем они делятся впечатлениями дня, по праздникам ходят в кинематограф,— и оба довольны.

Дви-три раза в месяц Нина приблизительно так говорит мужу:

— Степанчик, ты меня сегодня не жди, приду очень поздно, а то, может быть, и ночевать останусь: у нас спешка, сверхурочно будем работать.

Но если бы муж в этот вечер заглянул в мастерскую, то не нашел бы там Нины и никого не нашел — сверхурочной работы нет.

В конце месяца Нина при муже высчитывает:

— Четыре с половиной червонца жалованья да за сверхурочную три. Как ты находишь: ведь этот месяц заработок у меня вышел приличный?

Муж ласково улыбается, треплет по плечу.

— Ты у меня молодец! За это я тебя и люблю!

— Эти три мне на ботинки, — отвечая на его ласку, говорит Нина и прячет их отдельно...

За соседним столом Люба, худая, с лицом подростка, утонула в волнах атласных розовых лент, — заказчице приданое. У Любы две длинные, тяжелые косы—на зависть остальным девушкам, а под косами, на спине — горб.

Приподняв маленькую головку, посаженную наспех, без шеи, прямо в узкие, вздернутые плечи, Люба с привычной грустью запевает о несчастливой девичьей любви.

И смолкли: смех, разговоры. Взгляды и руки над работой. Переливается нежными и яркими цветами материя. Со всех четырех столов внезапно срываются звонко-упругие голоса и подхватывают, сминают одинокий, мечтающий голос Любы, вторят заветное, выстраданное, несущее отравные мечты.

Сладкая грусть волной захлестнула мастерскую. Даже Анна Ивановна отдалась настроению: песня щекочет и томит под сердцем.

Поют-мечтают все шестнадцать, молодых, с тоской жаждущих иной жизни,—не знают какой. Просто—счастья. И одна, пережившая свою весну, долгие годы безнадежно мечтавшая, Надежда Павловна вместе с девушками грустит, все еще ждет — может быть, и переменится ее жизнь.

Солнце играет в цветном шелку, в модных воланах и складках. Весна зовет на улицу, на сквер, к распустившимся тополям...

II

У Максима Степаныча Костерина окно выходит во двор, в маленький палисадник; туда же выходят и окна мастерской. Когда оттуда слышатся песни, он начинает волноваться и тоже грустить. Но грусть у него другая. Он — художник, сравнительно еще молод, а чувствует, что ничего уже не сделает. Еще недавно мечтал о большом творчестве, о славе. Но кто-то, помимо его желания, чрезмерно ослабил в нем какой-то винтик,—и вся машина расстроилась, не наладить ее никогда.

Максим Степаныч быстро поднимается и начинает одеваться. Часа два гуляет по Кузнецкому и по Петровке, заглядывая под шляпки встречных женщин. Когда бесцельное хождение наскучивает, возвращается домой и устало вытягивается на диване. Серьезно думать не хочется, не тянет и к работе. На мольберте у него третий год стоит неоконченная картина.

Изредка, в отсутствие жены, Костерин выходит в мастерскую: поговорить, посмеяться. Он красив, хорошо одет, и девушки при его

появлении смущенно вспыхивают, бросают на него тревожно-взволнованные и радостные взгляды. Но оставаться долго нельзя: Анна Ивановна подозрительно следит за каждым его движением, поминутно окрикивая мастериц. Кинув злобный взгляд в сторону заведующей, он снова идет к себе скучать или читать надоевшую книгу. Вслед ему несется беспокойный, с внутренней дрожью девический смех. От него в висках стучит у художника.

Двенадцать лет назад, горевший тщеславными мечтами и творческими образами, Максим Степаныч случайно встретил мадам Луизу. Она—богатая модная портниха и стареющая женщина, искала молодого мужа. Ему, начинающему художнику, нужно было закончить образование.

Вышло просто и скоро.

За двенадцать лет совместной жизни они еще ни разу не пожалели о сделанном выборе...

В примерочной молодая женщина в сером костюме и шляпе с высоким эспри внимательно рассматривала модный заграничный журнал. На столе лежали длинные лайковые перчатки и на них — белая лилия с тонким стеблем. В нежных, слегка опустившихся лепестках уже началось едва уловимое умирание. Молодая женщина, не оборачиваясь, протягивала руку к цветку, подносила его к лицу и медленно втягивала запах. Брови ее тогда поднимались, и ноздри с тонкими, розовато-прозрачными стенками суживались.

— Удивительно, как это может нравиться? Высокий воротник, широкий пояс: положительно безвкусица! — заказчица дернула плечами и недовольно перекинула страницу.

Мадам Луиза снисходительно улыбнулась.

— Это последний крик Парижа. По-моему, очень оригинально... Если хотите — вот можно на этом остановиться. Будет, конечно, элегантнее, но не так модно.

Дама рассеянно перевертывала страницы; Елизавета Петровна утомленно следила за ее взглядом. Она знала: будет выбран фасон с высоким воротником и широким поясом, потому что это модно...

Больше двадцати лет изо дня в день ведет она подобные разговоры. За это время перед ней прошли тысячи женщин: умных и глупых, легкомысленных франтих и серьезных, солидных особ. Великолепно изучила их характеры, вкусы, капризы, и знает, насколько сильна над женщиной власть моды. Если законодатель мод, Париж, крикнет:

— Шить платье с боковым разрезом выше колена и с напуском на талии!

То восемьдесят франтих из ста рабски подхватят этот крик. Не будут считаться ни с ростом, ни с длиной ног, ни с размером своего живота,— обязательно сошьют платье с разрезом выше колена и напуском на талии.

Спустя полчаса, начинается примерка. Заказчица, грациозно перегнувшись и через плечо рассматривая себя в зеркало, говорит:

— Мы скоро за границу уезжаем: мужа переводят во Внешторг. Как вы думаете — в моих нарядах я не буду казаться там провинциалкой?

— Пожалуйста, прошу прямо — только длину прикину.— Мадам Луиза осторожно выпрямляет ее согнутую спину и грузно опускается на одно колено, придерживаясь за стол. — Ваши туалеты модны и шикарны: не затеряетесь,— отвечает она на вопрос. В то же время, смотря на изящную фигуру и красивое с безмятежным лобиком лицо модницы, с завистью думает:

„Заграница. Шикарные туалеты. Поклонники. Наверно, счастлива. А она, Елизавета Петровна, уже наполовину седая, ползает сейчас вокруг нее и вынуждает себя во всем с ней соглашаться. С утра до вечера она со своими заказчицами, раздевает и одевает их, уговаривает. А в мастерской — семнадцать всегда чем-нибудь да недовольных мастериц, и за стеной муж, с которым никогда не видела настоящей радости; который живет с нею только потому, что она кормит его".

— Во Францию или в Германию?— старается она поддержать разговор.

— В Италию. А оттуда, конечно, побываю везде. Все надо посмотреть.

— В Италии я тоже была. Там учился муж. Чудесно!.. Теперь едва ли удастся...

Елизавете Петровне хочется выкрикнуть сразу нахлынувшее: „У меня отняли дом и почти всю обстановку! Мне скоро пятьдесят лет, а я по-настоящему еще не жила! Я ползаю на коленях у твоих ног и презираю тебя! И всех, как ты, презираю!.."

Но сделать этого нельзя. Она устало поднимается, кладет на стол сантиметр и деловым тоном сухо говорит:

— Первая примерка через пять дней. — Записывает в большую тетрадь. — Пожалуйста, не забудьте: через пять дней в три часа. — Нажала кнопку. На лице, против желания, снова любезная улыбка.—Знаете, очень устаю. С утра до вечера за работой... Всего лучшего!...

Заказчица мягко застучала каблучками по ковровой дорожке. В передней, у распахнутой двери, скользнула безразличным взглядом по худенькой фигурке дежурной девочки. На пороге вдруг вспомнила, вытащила из лаковой сумки монету и с легкой гримасой, не то недовольства, не то брезгливости, сунула ее в руку ученицы.

— Вот тебе на конфекты!..

Машина, гулко крикнув в пространство, мягко, немного покачиваясь, поплыла по широкой улице.

III

В комнатке, низкой и прокопченой, шипит керосинка, на столе самовар. Варя хлопочет по хозяйству, а мысль там, за стенами. Вздрагивают внутренним, радостным уголки губ.

Пришла с работы мать. Кисти рук белые, дряблые, годами вываренные в кипятке и щелоке, спина согнутая, точно и здесь она над лоханью.

— Устала очень. Ты дома сегодня будешь?

Варе стыдно за свою радость и жалко оставить мать одну. Но там, на сквере, будет ждать он, Павел Кондратьич. Пойдут: может быть, в кинематограф или еще куда. С ним, вдвоем... целый вечер.

Как сказать, чтобы поверила и не обиделась?

Мать вытянула на койке намаянное тело, думает материнское:

„Пристроить бы поскорей, да если бы хороший попался. Какова-то сложится жизнь“...

— Варенька, помнишь, как мы с тобой за отцом по трактирам ходили? Тяжелый был человек, не тем будь помянут.

Варенька вспоминает шумный трактир и пьяного отца — рабочего печника, в пьяной компании. Они с матерью стоят, с плачем упрашивают итти домой. Зовут до тех пор, пока он не рассвирепеет. А дома начинается избиение матери. Она, Варюшка, с воплем кидается к нему в ноги, целует его сапоги, сквозь рыдания молит:

— Папашечка! Миленький! Не тронь мамку! Ой! Ты убьешь ее!..

Отец отбрасывал дочь ногой, иногда давал шлепок.

— Уйди, стерва! А то и тебя!

На другой день он плакал и просил прощения. Потом оба с матерью, они ехали в подгородный монастырь брать для отца зарок не пить два-три месяца. После этого срока снова гульба и снова избиение.

Варя отгоняет неприятное.

— Ну, что теперь об этом вспоминать. Давно прошло и не вернется.

— Да, не вернется,— вздыхает мать.— Я ведь не виню его, у него тоже тяжелая была жизнь. Целый век ездили на нем...

У Вари свое — в мыслях, в сердце. Стрелка на часах торопится.

„Будет ли он дожидаться?

Лучше бы завтра или послезавтра.

Нет. Лучше сегодня, сейчас“...

Мучаясь, краснея, наклонилась к матери, прижалась к сухой, до времени состарившейся шеке.

— Мамусенька. Ты не сердись: я только еще раз, последний... Нужно к подруге сходить.— Чувствует: стыд шевелит корни волос, дрожью разливается по пальцам.— Потом долго-долго никуда не пойду.

— Вечно ты со своими подругами,— ласково упрекнула мать.— Ладно, иди. Одна посижу.

Варенька радостно схватила голубой шарф, сумочку.

— Я скоро! Ты все-таки ложись!..

Он ждал.

— Варвара Семеновна, мы с вами надолго сегодня! За город куда-нибудь, в лес. Здесь душно и пыльно. Не правда ли?

В сжатьи руки у самого локтя, в наклоне головы, почти к самой щеке ее, она почувствовала: „Вы согласны?“ И ответила — не то губами, не то всем существом:

— Да...

Вот здесь же, в этом парке, гуляла недавно с подругами. Все знакомо: и аллеи, и широкие клумбы с цветами, и пруды. А там, дальше, за ними — лес...

Почему же теперь все как-то по-иному?

Белые ботинки Варины ступают в ряд с мужскими, желтыми блестящими. Мелькает кепка в его левой руке, а правая сплелась с ее рукой, жмет и жжет. В руке этой — сильное, надежное, можно довериться, опереться в минуты женской слабости.

Сердце разливает томящий звон, насыщает им каждую разомлевшую жилку. Раствориться бы в нем.

Но глубже, под сердцем, кто-то бьет тревогу — будто на высохшей ветке колышется одинокий листок,—залепечет невнятно в тонкой струе ветра и опять застынет.

Это так... от переполнившей радости...

На пруду, от весел — белые гребни и брызги; в них тоже звон: солнечный, весенний, пахучий.

А может быть, это в стеклянном небе, вон там над полем, невидимый жаворонок?

Впереди — открытая, с розоватым ранним загаром грудь и знакомое лицо. Теперь его можно лучше разглядеть, узнать и понять...

— Варя!..

Она с задорным смехом откликается, передразнивает:

— Павел Кондратьич!..

Он опустил весла и тянется к ней, хватает за плечи в тонкой батистовой кофточке, хочет наклониться к ним. Она с испугом отстраняется.

— Ой! Не надо! Не надо! Утонем!

Колышется вода от раскачавшейся лодки, по ней во все стороны серебряные круги. В голове девушки тоже круги, от них — радость и страх.

Лодка опять режет остекляневшую воду. Над прудом снова всплеск весел и текучесть влажного, нагретого воздуха...

Возле опушки, на зеленой полянке, в тени берез сидит Варя, весенняя, солнечная, с сердцем открытым, завороженным. Голова его на ее коленях. Весело шушукаются наверху клейкие, еще не опаленные полдневными жарами, такие целомудренные, пахучие листья. По озими

переливаются широкими улыбками зеленые волны. А над зеленями— стеклянный звон невидимой птицы.

Рука Варенькина сама собой коснулась его черных волос, сама собой стала перебирать их. Плыло поющее, истомное.

Закружило и смяло...

IV

Павел Кондратьич Мигунов живет в общежитии железнодорожников. Комната в верхнем этаже, низкая, маленькая, и стоят в ней две широкие казенные номерные кровати с худыми пружинными матрацами. У Мигунова своя простыня, подушка, суконное одеяло и на стене, прикрытые газетой — костюм и праздничная кепка.

На кровати Яшки комсомольца, его сожителя — только одно одеяло рыжее, во многих местах прожженое, с черными загрязненными углами — он ими чистит ботинки.

В общежитии несколько коридоров и не один десяток комнат. Всегда пахнет керосином, жареным луком и табачным дымом. По вечерам шум и песни молодежи.

Мигунов встает раньше. Вскочив с постели, он принимается за гимнастику, потом оботрется мокрым полотенцем и начинает неторопливо одеваться.

Яшка еще спит, скорчившись под одеялом, зарыв белую, почти отроческую голову в пальто, которое служит ему вместо подушки.

— Яков! — кричит Павел Кондратьич. — Пора вставать. Иди за кипятком.

С кровати ни звука.

— Слышишь, что ли? Я два раза не в очередь ходил!

Выждав некоторое время, он беззлобно, по-товарищески ругается:

— Чертило сонный! Что, я каждое утро буду за тебя ходить!

Сдергивает с товарища одеяло.

За чаем рассказывают друг другу со смехом и шутками о вчерашнем вечере, о встречах, о новостях. Потом Мигунов, поматывая портфелем, солидной, деловой походкой отправляется на службу — он помощник счетовода в багажной конторе.

У Яшки нет портфеля — не нужен ему. Днем в этом же отделе он переписывает ярлыки, а вечером бегает на рабфак. На службу идет по-мальчишески: лениво, часто останавливаясь и ротозейничая на встречных прохожих и окна магазинов. Иногда даже хочется запустить камнем в воробьев, стайками прыгающих по мостовой, или неожиданным криком пугнуть задремавшего извозчика.

В свободное время в комнате собираются товарищи.

Яшка крутится, пристает то к одному, то к другому. Два-три раза сбегает за кипятком и хозяйски угощает:

— Пейте, ребята! Промывайте брюхо! Воды сколько хочешь принесу, насчет чаю и сахару — не взыщите! Мы употребляем только после получки жалованья.

— Сахар мне вреден — изжога после него,— серьезно отвечает худой, высокий Петька Скворцов, наливая кружку кипятку и отламывая кусок черного хлеба.

Маленькая, ясноглазая рабфаковка Катя, его жена, с шутливым укором поясняет:

— Я сошлась с ним — думала богатый, много зарабатывает. А у него в кармане торичеллиева пустота. Придется другого мужа искать.

Две девушки и товарищ Круль, постоянно угрюмый и сосредоточенный, по ночам изучающий Маркса и Ленина, сцепились в споре о тактике германского пролетариата. Павел Кондратьич, заглушая шум спорящих, крикнул:

— Братва! Нашел двадцать копеек в старой тужурке. Ну, ай-да! Кто за хлебом?

Народу набирается больше. Сидят на двух единственных стульях, сидят на кроватях, на подоконниках. Яшка выдвинул на средину облезлый чемодан, сел на него и скомандовал:

— Тише!

Внимание! — Поднял руку и начал отбивать такт:

На штыки под набат и пожар
Мы земной опрокинули шар!...

— Товарищ Власова! Альтом!.. До-ре-ми-и!..

— Яшка! Заткнись! Никто не хочет.

Товарищ Власова, немного полная, с короткими курчавыми волосами, вспыхивала в звонком смехе и задорно, по-женски играла глазами с Мигуновым.

— Товарищ Павел, не просчитайтесь.

— Ничего. Я знаю двойную итальянскую.

— Тут особая бухгалтерия. В итоге не цифры, а человек.

— Ты хочешь сказать — женщина?

Власова щелчком пальца отшвырнула докуренную папироску и, нагнувшись, раздраженно прошептала:

— А ты знаешь, что значит оскорбить в женщине женщину?— Помни это! — быстро поднялась и отошла к другим товарищам.

В дверь легкий стук, на пороге — Варя. Остановилась, смущенная, разыскивая взглядом Павла Кондратьича. Тот быстро поднялся навстречу.

— Вот это хорошо! Ну, входи... входите, не стесняйтесь! Это все мои друзья. Знакомьтесь сами... Яков! Насчет чаю там сообрази!..

Власова взглянула на него с усмешкой:

— Та самая?.. Ничего особенного!..

Павел Кондратьич вспыхнул, будто по щеке ударили. Гневно передернул губами. А Власова уже звенела задорным смехом, рассказывала худому и длинному студенту Крабову о последнем вечере в клубе...

После ухода гостей и Якова, оставшись наедине, Варя некоторое время рассматривала на стенах открытки и революционные иллюстрации, прочитала вслух над Яшкиной кроватью лозунг и, повернувшись к Мигунову, неожиданно спросила:

— Кто эта девушка, которая с тобой разговаривала? Мне понравилась. Кажется, интересный человек.

— Вузовка, на ФОН'е учится.—Он с улыбкой взглянул Вареньке в глаза и потянулся к ней.—Ты для меня интереснее...

Время остановилось... Сидели на кровати с ногами, прижавшись к стене. Вареньку заливало радостное чувство,—поднималось из самой глуби сердца и спокойно нарастающей волной медленно разливалось по всему телу. Не хотелось говорить и думать, только сидеть бы вот так рядом с ним и ощущать эту радостную, обезволивающую теплоту.

Она провела горячей, сухой, трепетной ладонью по его волосам, по щеке и выдохнула переполнившую ее радость:

— Хорошо!.

Потом Варенька, ребячась, бегала по комнате, со смехом кружилась и танцовала, вышучивала неожиданную серьезность Павла Кондратьича, и вдруг сама стала тоже серьезной. Подошла вплотную, положила к нему на плечи руки и взволнованно вымолвила:

— Этот день никогда не забуду. Такую я чувствую в себе радость!—Она помолчала.—Знаешь, родной мой,—мне бы хотелось сделать для тебя что-нибудь большое-большое. Пусть будет мне больно, пусть буду мучиться,—я сейчас хочу этого. Хочу сделать для тебя. Ну, проси,—что сделать?..

— Варюшенька! Зачем? Никакой жертвы мне не нужно. Я и без нее тебя люблю.

— Нет—нет! Я хочу этого. Ну, скажи—одно только слово!..

... Бывали целые дни, когда Вареньку переполняло непонятное торжественное чувство, не подыскать ему названия и меры. В нем не было тревожного томления тела, которое иногда неожиданно вспыхивает по утрам в постели. Когда торопливее бьется сердце, звенит в ушах, и, жаркие, трепетные, странно ноют коленки ног.

Это чувство несло спокойную радость, ощущение полноты жизни. В мастерской, дома, на улице—всюду было хорошо. Все люди замечательны. Все на свете устроено чудесно.

В иные часы неизъяснимо вспыхивало материнское, и всю затопляло. Чудилось, стоит она на огромной площади, величавая, все познавшая. Изнывающие от тяжести материнского молока, сосцы ее безмерны; горячие руки, жаждущие дать ласку,—всеохватны; уста переполнены неиссякаемым запасом нежных слов; сердце стонет, изнемогает от полноты великой всечеловечной любви. Хочется, чтобы подходили—тысячи, миллионы людей, и всех она наградит своей материнской лаской и ни от кого не потребует ни благодарного слова, ни взгляда, потому что эта любовь в ней—неистощимый родник.

С людей, с их отношений и поступков, с непонятных ранее явлений сдернулась завеса, и все предстало по-иному.

В эти часы Варенька лучилась внутренним радостным светом. Изменялась даже походка: делалась спокойно-торжественной, медлительной. Голос напряженно звенел. Всех обласкивала своим взглядом.

Как хороша жизнь!..

V

Перед вечером Нина получила письмо. Торопливо пробежав его, она улыбнулась и спрятала за корсаж. После этого стала возбужденнее, начала больше и шумнее смеяться. Перед окончанием работы молча сунула письмо Варе. Там было написано:

„Здравствуйте, милая Нина Александровна. Мне нужно вас видеть. Жду сегодня к восьми часам. Непременно приезжайте.

Целую. Тетя Ксения".

Варенька недоумевающе посмотрела на подругу, та, вместо ответа, перегнувшись через стол, шепнула:

— Идем сейчас к ней, она интересная женщина, и кто-нибудь там будет: хорошо проведем вечер.

Варя не ответила.

Вышли вместе. У Нины настроение сразу почему-то изменилось, стала жаловаться:

— Муж порядочно получает, я тоже зарабатываю, а все живем в недостатке. Одежды приличной не можем справить. Разве это жизнь? Ни радости, ни удовольствия.

Варя с недовольством упрекнула:

— Стыдись! У тебя муж есть, вы любите друг друга,—ведь это, в конце концов, главное.

— Но пойми ты! — выкрикнула Нина. — Я хочу новую шляпку, хочу хорошее платье, ботинки! Разве я не имею права этого хотеть? Я молода, красива! Хочу жить и радоваться! Как же тут быть?

Варя вместо ответа остановилась:

— Знаешь что. Иди одна, мне не хочется, да и мама ждет. Не пойду.

Нина схватила за руку:

— Ну, Варенька, милая! Мне одной скучно. Недолго пробудем. Оттуда прямо на трамвае. На полчасика только!..

Тетя Ксения встретила в передней ласково, по-родному. Варю сразу очаровала.

— Какая вы славная и красивая! А по взгляду—совсем еще цыпленок. Вы простите меня: я люблю говорить по душам.

Сама она была тоже еще не старая, только немного располневшая.

Красивые, обволакивающие лаской глаза ее возбуждали доверие и сердечность.

— Жаль,—вы немного опоздали, если бы минут на десять пораньше: у меня сидели двое мужчин. Интересные! Весело бы провели время... Подождите, я сейчас, только распоряжусь насчет кофе.

Из соседней комнаты она позвала:

— Ниночка! Идите ко мне на минутку! Хочу вам кое-что сказать!

Оставшись одна, Варя стала осматривать комнату. Мягкая мебель, ковер, круглый столик под плюшевой скатертью — все было мило, уютно, располагало к отдыху и спокойному настроению.

Она взяла со стола альбом. Показалось странным: в нем были одни только женские портреты. Вошедшая с Ниной хозяйка протянула к альбому руку и мягко, с улыбкой отобрала.

— Знаете, большинство это подруги мои и младшей сестры,— она положила альбом в письменный столик и повернула ключ.— Когда-то училась в институте в Петербурге; отец у меня генерал был. А теперь, видите, как приходится жить. Зарабатываю себе пропитание массажем и маникюром. Ничего не поделаешь.

Нина задумчиво рассматривала картину. Вошла старуха с кофе и маленькими домашними сухариками в хрустальной вазе.

— Прошу, пожалуйста, Варенька!—извините, я так вас буду звать,—тетя Ксения придвинула ей чашку.

Через минуту она говорила, будто оправдываясь:

— Жить сейчас очень трудно. Кто умеет жизнь брать с бою, тот и живет, а остальные прозябают. Каждый день нужда под окошком стучится. Надо уметь лавировать. Если уж нужно продать себя, так чтобы за хорошую цену. Чтобы в кармане чувствовалось,—она засмеялась.—Как вы на этот счет смотрите?

— Я с вами согласна. Очень трудно жить,—подтвердила Варенька.

— Вот-вот. Вам-то еще ничего: у вас жизнь впереди, а я уже много сил поизмотала. Но и то иногда бывает желание проветрить душу. Ведь один раз живем! Нет-нет да и захочется на одной ноге повернуться, да так, чтобы в глазах заходило, чтобы загудело в самом нутре...

В соседней комнате зазвонил телефон. Хозяйка поспешно пошла туда и тотчас же вернулась.

— Ниночка, идите поговорите. Вас спрашивают.

Нина быстро выскочила за дверь. Ксения Андреевна заговорила простым и деловым тоном:

— Вот что, Варенька, давайте с вами договоримся. Вы, конечно, как и все, хотите получше одеться, а жалования, разумеется, не хватает. Этой беде я могу помочь. А иногда и не ради денег, а просто захочется душу отвести,—вы сейчас же ко мне или по телефону... Понимаете?

Варя еще не совсем понимала, только смутная догадка неуверенно шевелилась в мозгу. За дверью слышался смех и звонкий голос Нины.

Ксения Андреевна, не меняя тона, говорила:

— Делается это просто: вы дадите мне вашу фотографическую карточку. У меня кое-кто бывает. Не бойтесь, все из приличных, с положением. Никакого скандала. Вы понимаете—я дорожу своей репутацией. Пришлю вам записочку и укажу адрес, или по телефону созвонитесь. Никто никогда не узнает. Где же нашей сестре брать на наряды?..

Варя слушала, оторопевшая. Было это так неожиданно и казалось диким. Быстро поднялась и, не взглянув на хозяйку, не видя окружающего, пошла к двери. Хотелось кричать, хотелось плакать, но она молчала.

— Варенька, вы не сердитесь! Я добра вам желаю! Я знаю, потом вы это все продумаете и будете по-другому смотреть.

Варенька не отвечала. Она торопливо нашаривала ручку выходной двери. Из комнаты выбежала Нина.

— Варюша, ты куда же?

— Мне домой... Голова...—Варя выскочила на площадку.

Ксения Андреевна, высунув в щель голову, любезно напомнила:

— Не забудьте — дом номер двадцать семь, квартира четыре! После шести всегда дома...

VI

Надежде Павловне нет еще и тридцати пяти, а личная жизнь уже похерена.

Муж—штукатур, Иван Ануфрич. Сошлись без любви, без дружбы и живут без радости. От известки и пятидесяти пяти лет голова и борода у него белые. Руки от работы износились, коленки острые, дрожат. От нужды ли, от безрадостья или от другого чего — только с языка у него никогда не сходит матерное слово. Кроет им вдоль и поперек с утра до ночи. Надежде Павловне надоело отвечать, да и пятерня у него свинцовая, много раз ей испробованная, много оставившая по себе памяти.

Осенней, слякотной ночью шла Надежда Павловна из мастерской, усталая, проголодавшаяся. Ветер настойчиво забирался под тощую одежонку, ошаривал тело ледяными пальцами, сжимал и крючил его в знобящей дрожи.

Торопливо хлюпала дырявыми калошами к дому.

В темном, узком коридоре под лестницей чуть не споткнулась: белел какой-то сверток. Нагнулась и вздрогнула, ударило в голову, оттуда—тоненько-тоненько писк, будто котячий. Схватила находку и опрометью в квартиру.

В груди у нее еще саднела старая заноза, уязвившая много лет назад. Был когда-то свой ребенок, прижитый в девушках, она отдала его в приют, и там он умер. Тоска по нем еще мучила тяжелыми снами.

Иван Ануфрич поднял с кровати известковую бороду.

— Что это? Откуда?

— Внизу, в коридоре... Ах ты, какое дело!

— Да что это такое? Говори!

— Видишь, подкидышек. Чуть не раздавила.

Надежда Павловна поспешно развернула тряпки. На грязных пеленках пошевеливалось розовое тельце, слышался слабый крик.

Иван Ануфрич злобно с матерной приставкой выругался:

— Сволочи! Суки!.. Нагуляют, а потом и подбрасывают!.. Ты что же с ним будешь делать?

— Оставлю у себя. Как-нибудь выкормлю.

— Самим жрать нечего, а она подкидышей брать. Не велю!

— А я возьму.

— И тебя вместе с ним выброшу из комнаты!— зарычал, весь затрясшись, муж.

— Я сама уйду! Это, может быть, счастье мое!— выкрикнула Надежда Павловна и, склонясь к малютке, зарыдала...

Было это три года назад. Теперь Олёнка часто теребит кудлатую бороду Ивана Ануфрича, он, довольный, улыбается и, разговаривая с нею, так же, по-детски, картавит и сюсюкает. Перед чужими нередко хвалится:

— Вот смотрите, у нас дочка-то какая! В мать, что ли, али в отца? Девка—краля будет! Приданое надо готовить... Олёнка! Слышишь? Приданое надо!.. Ах, ты, пачкунья!

Надежда Павловна обычно встает в пять. Долго хлопочет по домашности: нужно белье постирать, мужу одежонку починить, себе что-либо сделать, поставить самовар. Потом будит Ивана Ануфрича. Он уходит в семь. После него поднимается Олёнка. Ту надо одеть, накормить, наказать соседям, чтобы присмотрели.

В восемь с четвертью стучит в соседнюю дверь:

— Соня! Готова, что ли? Пора итти!

Через улицу, наискосок, кричат в форточку к Варе, и в мастерскую идут уже втроем, безлюдными переулками, еще тихими улицами,—торопливо и серьезно.

По вечерам Надежда Павловна опять садится за шитье. Работает до двенадцати, до часу—без этой приработки не сведешь концы с концами. Только и отрады в одной Олёнке; не наглядится на нее, не надышится.

Муж кричит, матерится, а Надежда Павловна ни слова в ответ. Подзовет девочку, крепко обнимет и долго целует, мочит слезами детское личико.

За стеной—Соня со своими горем и радостью.

Окна маленького флигелька выходят к помойке. По другую сторону забора, на соседнем, таком же крошечном, дворике стоит старая ветла. И когда Соня открывает окно, то ей кажется, не помойкой пахнет, а старой зазеленевшей ветлой.

За столом сидят четверо. На столе картошка и селедка. Гришка с Танькой не знают меры в еде, не желают знать, что почем куплено. Постоянно скулят, просят. Один—полуидиот, другая—малолетний глупыш. Сунет им по куску Соня, даст дядя, их отец,—и на столе пусто.

Попыхивает желтым огоньком лампа, в раскрытое окно вместе с весенними запахами плывут мягкие, отдаленные шумы улицы. Соня принимается за неоконченную работу. Здесь не то, что в мастерской—шьет простенькие ситцевые кофточки и юбки. Платят за них выколоченные в поту медяки.

А дядя, поскрипывая, поохивая, натянет на больные ноги широкие сапоги—и вон из дому, до утра стеречь казенное добро.

Шьет Соня и поет. Пока не слипнутся глаза — песней грезит о счастьи.

Придет ли оно?

. . . . . .

И пришло.

Напротив, за забором, в двух маленьких окошках поселился молодой телеграфист. По вечерам стал на гитаре наигрывать, покручивать черненькие усики и стрелять в Соню улыбочками. А в них—огонь и отрава.

Соня однажды тоже улыбнулась в ответ,—такой он странный, потешный,—телеграфист ей рукой приветствие. Потом через забор в окно записочку:

„Бонжур, мадмуазель-товарищ. Вы поразили мое сердце. Сегодня в девять жду на сквере".

Долго перечитывала две короткие строчки на маленьком листке. Хотелось пойти, и было страшно. Скулили, вечно не сытые, Гришка с Танькой. Заковылял через двор жидкими ногами дядя. В мозгу горело пьянящее: „Бонжур, мадмуазель... Вы поразили мое сердце!"

Восемь три четверти. Быстро подвила нагретой шпилькой завитки волос возле ушей, сменила кофточку и неожиданно передумала:

„Не пойду. Кто его знает?.. Может быть, нехороший человек"...

Через две минуты она спешила к скверу...

И с этого вечера сердце Сони загорелось, как лесная сушь: не залить, не остановить. Дни и ночи стала думать о соседе. Скрасилась, порозовела жизнь, и думы сделались полнее,—крепкие, ясные. Казалось, и Гришка с Танькой не так надоедливо хнычут. Веселее бегает проворная игла.

Надежда Павловна, как-то, с внезапным вопросом:

— Сонечка, что с тобой?—А сама старается пристальным взглядом прощупать до самого дна.

— А что?—Будто не поняла Соня, но вспыхнула, зарделись даже уши. Ткнулась ей в колени и стыдливо зашептала.—Не надо, милая Надежда Павловна. Не надо. Мне так, ничего.

Сидели они вечером вдвоем на крыльце. Надежда Павловна матерински погладила ее волосы, нагнулась, поцеловала голову и мягко сердечно успокоила:

— Это ничего, Сонечка, не бойся. Только бы человек не плохой был.

Девушка подняла лицо.

— Он порядочный, славный. На хорошем месте служит, и жалованье приличное получает.

Спустя несколько дней она пришла к Надежде Павловне, бросилась целовать и радостно сообщила:

— Предложение сделал. По-настоящему хочет...

Стала Соня готовиться к свадьбе. Много беспокойства, хлопот, но радости больше. Счастье струится с каждой цветной тряпочки, от каждого стежка. Шьет и думает. Петь перестала, все думает: „Новая жизнь. Ах, как-то она сложится?!."

Дядя, карауля у фабричных ворот, тоже перекладывает в усталом мозгу:

„Вот, зятя в дом возьму, полегче будет. Может, и отдохнуть удастся. Измотался. Главное — ноги отказываются служить".

Утром, идя со службы, с кем-нибудь разговорится:

— Расходы больно велики: племянницу замуж собираю. То да сё, — не видать, как деньги плывут, а заработки наши не ахти какие.

Гриша с Танькой на дворе перед детворой бахвалятся:

— Соня наша скоро замуж выходит. На свадьбе будем вино пить и колбасу есть. Василий Иванычем звать.

Соня, как выберет вечером свободную минуту, так в калитку и по темной лестнице в мезонин к телеграфисту.

В комнате у него опрятно: на окнах чистенькие занавески, на кровати голубое одеяло, на стене гитара и на грифе гитары—красный бант. Тужурка у Василия Иваныча форменная, с желтым кантом и в талию. И весь он, как на картинке: напомажен, начищен, на левом мизинце кольцо.

— Мы с тобой в двух комнатах будем жить. Мебель свою заведем, диван, цветы — чтобы антик-муар, по-благородному.

Василий Иваныч снял со стены гитару, поправил на ней бант и, аккомпанируя, запел:

Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой...

VII

На полу — лоскутки, сметка. Черными, безголовыми людьми стоят манекены. На длинных столах — цветными, пенными волнами нежные ткани, над ними — проворные руки, склоненные головы. В торопливом стрекоте захлебываются машинки. В женских голосах грусть и тоска по „нем", вечно живущем в ненасытных мечтах, вечно

тревожащем сердце. Сладкий, утоляющий и раздражающий яд в одних и тех же песнях,—зовут и зачаровывают, выпивают и вновь родят грусть.

Легче от них.

В стороне от всех, за своим столиком—Анна Ивановна. Взгляд у нее цепкий, наметанный. Все она видит и слышит, все знает. Вытянула шею к подошедшей новой юбочнице и вполголоса:

— Соня-то наша как ростится. Рада, предложение сделал. Надует только. Все они прохвосты!..

На полу собирает булавки дежурная девочка-ученица. Анна Ивановна кричит на нее:

— Что ты пол-то полируешь? Заставили дуру—и рада целый день ползать! Иди, приготовь утюг!

На кухне кухарка Анисья ворчит, учит девочек:

— Надоела всем. Выжили бы ее, горечь огуречную. Вы соли щепотку—и к ней под стул, под сиденье привяжите — уйдет, халера азиатская.

В передней — резкий, продолжительный звонок. Анна Ивановна— вслед за дежурной девочкой к двери. Возвращаясь оттуда, торжественно сообщает:

— Новая заказчица, жена директора треста, с юга. Раньше собственные заводы были...

— Молодая она? Интересная? — любопытствуют девушки.

— На крестинах не была. А на счет интересности, так наряди осиновый пень в ясный день, и тот будет интересен... Кошка драная!

Мадам Луиза готовилась к этому приезду, требовалось несколько туалетов.

В большой приемной комнате с зеркалами и цветами две дамы бегло просматривали журналы.

Хозяйка торопливо отдавала приказание заведующей:

— Пожалуйста, немедленно приготовьте, Варенька, Нина и Катя. Я сейчас приду.

Жена директора, высокая и сухая с умело сглаженными и затертыми морщинками на увядшей коже, после ухода хозяйки по-французски сказала:

— Мне говорили, что это лучшая портниха... Ах, как чувствуется у нас недостаток культурных людей!.. Ты как ее находишь, Мари?

Подруга оглядела себя в зеркало и привычно улыбнулась заученной, шедшей к ней улыбкой, проверяя ее уже тускнеющее обаяние.

— Я предпочитаю француженку. Помнишь мадам Люсьен в Париже?..—Она еще раз мило улыбнулась и, оставшись довольна собой, отошла от зеркала.

Дверная портьера откинулась, вошла хозяйка.

— Будьте любезны! Прошу,—сделала она жест к двери.

Среди тяжелого бархата портьеры показалась элегантная женщина. На несколько секунд она остановилась, как бы в некотором смущении, потом, поклонившись в сторону дам, медленно, широким кругом пошла по комнате.

Вслед за ней в дверях появилась другая, за той—третья. Тот же взгляд в сторону заказчиц, такой же легкий, грациозный наклон головы и медленное шествие одна за другой по пышному малиновому ковру.

Первой шла немного полная блондинка Нина. На ней был богатый туалет из темно-кофейного крепона, бока чуть-чуть схвачены широкими бантами. Воротник и манжеты—из белого органди с оборочками в несколько рядов; вместо галстука из этой же материи спускались до самого подола четыре узкие ленты.

Нина чувствовала на себе восхищенные взгляды заказчиц, ощущала изящество каждой складки, и это заставляло все ее красивое, здоровое тело напряженно жить и радоваться.

За ней шла Катя в платье гладкого покроя из голубого марокена. Узкие рукава вплоть до локтей были вышиты крупными узорами белым шелком; такая же вышивка шла спереди и сзади, напоминая парчу. Кроме того, по воротнику, по манжетам и по бокам тянулись в два ряда черные шелковые полосы, великолепно оттеняя каждое движение.

Шествие заключала Варенька. Костюм ее состоял из фуляровой пестро-кремовой блузки, шерстяной темной юбки-плиссе и длинного жакета-полупальто из темного бостона, отделанного серой замшей. Галстук длинный, ниже талии, завязанный свободно—из той же материи. На голове маленькая шляпка в цвет основного тона костюма с узкой перевязкой и двумя султанчиками из кремовой ленты.

К ее худенькой, гибкой фигуре это очень шло. С радостным волнением неслышно плыла она по малиновому ковру навстречу своему отражению в высоком зеркале.

Заказчицы скользили взглядами по живым манекенам.

— Пожалуй, ничего... Ты как находишь, Мари?

Мари вскидывала на нос лорнетку, рассматривала отделку, вышивку, ленты.

— У меня был салонный туалет, очень напоминающий этот—работы Люсьен... О, какой туалет!...

— Это последние парижские модели. В Москве вы их еще не встретите,—говорила убеждающе мадам Луиза.—Я полагаю, к вам очень пойдут.

Нина, изящно изогнувшись перед зеркалом и с завистью рассматривая на себе чужой наряд, со злобой думает:

„Почему эта старая некрасивая баба может носить такие платья, а она, Нина, нет, должна ходить в простых, дешевеньких?..— Хоть один бы раз выйти в нем в театр или в гости, чтобы посмотрели на нее десятки людей".

— Послушайте, как вас? Пожалуйста, повернитесь спиной!—говорит жена директора.

Нина поворачивается и, со злобой кусая губы, мысленно шепчет: „Старая дура!.. Выдра!..“

— Можете итти! Прошу, идите!

Нина опять идет по комнате, неслышно ступая по ковру. Опять идут за нею и две остальные. И у Кати и у Вареньки такие же зудящие мысли:

„Если бы это их собственные! Если бы поносить!“..

VIII

Максим Степаныч тщательно сделал английский пробор, — прямой, со лба до затылка, — надел белый костюм, взял в руки шляпу и отправился на Кузнецкий от скуки пофланировать.

Елизавета Петровна, утомленная, сидит в кресле. Вяло текут недовольные мысли! Все делается как-то не так и в работе и в жизни. Позвала заведующую. Слушает, отвечает и думает о другом, совсем ненужном.

Кончив деловой разговор, Анна Ивановна, быстро осмотревшись, полушопотом таинственно сообщает:

— Присматривайте хорошенько за Максим Степанычем и Катей.

Елизавета Петровна вскинула голову, дрогнули руки и ноги. Чужим голосом прохрипела:

— Ты видела? Знаешь что-нибудь?

— Пока еще нет. Но чутье меня никогда не обманывает. Промежду ними что-то кроется.

Елизавета Петровна лишилась аппетита, лишилась сна. Неотступно стала следить за мужем и молоденькой, красивой мастерицей. Не подавала виду, но каждое движение, каждый взгляд его брались под подозрение. Часто, проснувшись среди ночи, она прислушивалась к его дыханию, к его храпу. Ждала—вот-вот выдаст в сонном бормотании свою тайну.

Но Максим Степаныч, казалось, ни в чем не был грешен: спал крепко и безмятежно, без бреда, а обычные свои прогулки делал по одному и тому же маршруту—об этом Елизавету Петровну осведомляли приставленные ею надзиратели. Ревность ее начала потухать: „Ошиблась Анна Ивановна. Напрасное подозрение. Заставила зря волноваться, столько пережить мучительного“.

Но Анна Ивановна не хотела сдаваться.

— Я докажу. Непременно вам докажу. Никогда не ошибаюсь. У меня глаз наметанный.

На этот раз, как и всегда, Максим Степаныч внимательно и неторопливо сделал перед зеркалом свой туалет, закурил папиросу и спокойно направился к выходу. Было это в праздник. В передней он наказал прислуге:

— Если ко мне будет кто звонить, то скажите, что через час вернусь. Если зайдет журналист Федоров—передайте записку—лежит у меня на столе. Я иду на выставку... Там он прочитает.

Лишь захлопнулась дверь, как в комнату вбежала заведующая:

— Скорее поезжайте следом: отправился на свиданье. Куда-то за город.

Изумленная неожиданностью, Елизавета Петровна возразила:

— Анна Ивановна, ты ошибаешься. Он поехал на выставку и меня звал. Еще записку оставил приятелю...

— Очки вам втирает! Вот что!—выкрикнула заведующая, теряя свой обычный почтительный тон.—Я доподлинно знаю—свиданье сегодня у них назначено! В пять часов!

Мадам Луиза не стала слушать повторений, кинулась за шляпкой и сумкой...

Накрыла она мужа с любовницей спустя полчаса в загородном ресторане в отдельном кабинете...

Официант, получив червонец, распахнул дверь.

Сидели на диване. Максим Степаныч целовал шею и голые плечи.

Елизавета Петровна, переступив порог, истерически захохотала. В судороге двигался подбородок, дрожали, оттянутые серьгами, мочки ушей. Потом глаза налились кровью. Она по-кошачьи взвизгнула и кинулась через комнату, в стремлении рвать и топтать.

Катя в ужасе обежала стол.

— Вы не смеете драться! Максим! Ты должен остановить!

Максим Степаныч, вцепившись в спинку дивана, молчал.

Елизавета Петровна остановилась.

— Ха-а! Максим! Забавно!..

— Я вам не уступлю! Он мой!—выкрикнула оправившаяся Катя, тоненькая и гибкая, принявшая напряженную воинственную позу.

Мадам Луиза с звериным рычанием метнулась в ее сторону, опрокидывая мебель. На шум вбежали двое официантов и быстро раз'единили.

Елизавета Петровна, красная и потная, раздувая ноздри, тяжело дышала, пухлые пальцы ее, блестевшие кольцами, все еще сжимались, в полураскрытом рту по-собачьи блестел оскал зубов.

У Кати, бледной, сдавившей тонкие посиневшие губы, незастегнутая кофточка была разорвана и наполовину с'ехала с плеч, но она не замечала этого.

Женщины некоторое время не отрывали одна от другой ненавидящих взглядов, и Костерин, бледный, подавленный, не двигаясь с места, молча на них смотрел.

Катя, отстранив официанта, вышла из-за опрокинутого стола, осторожно перешагнула желтыми туфельками через разбитую посуду и, взглянув на художника, с презрением выдавила:

— Трус!..

Потом с неожиданной злобой плюнула ему в лицо и, поправляя разорванную блузку, быстро пошла из кабинета...

В мастерскую она больше не вернулась.

Максим Степаныч после этого случая на целый месяц был лишен прогулок и обычных расходных сумм,—сидел у себя в комнате и старательно выписывал красками с фотографической карточки портрет Анны Ивановны...

IX

В примерочной—заказчица, молодая и красивая. Белье у ней дорогое, батистовое, с прошивками и кружевами. Мадам Луиза примеривает и накалывает только что скроенное шелковое платье. Варя помогает. Ученица Дуняшка держит бархатную подушечку с булавками.

А за стеной Максим Степаныч с приятелем, поношенным, обрюзгшим журналистом Федоровым, сидит за бутылкой пива. Одну выпьют—спрячут, достанут другую. Обоим скучно. Оба недовольны—жизнь катится не по тем рельсам.

— Жить не хочется и умирать не хочется, хоть бы волк с'ел,—говорит глухо, с тупой злостью журналист.

Максим Степаныч прислушивается. За стеной—смех и незнакомый голос. Он внезапно вспыхивает.

— Цы-и! Тише!—простирает руку к журналисту.—Я тебе сейчас покажу номерок. Пальчики оближешь.

Костерин снимает со стены портрет Леонардо да Винчи и отгибает лоскуток обоев; под ним обнаруживается заткнутое бумажкой маленькое отверстие. Он приникает к нему глазом и долго не отрывается, отталкивая рукой и ногой наседающего приятеля.

Заказчица без корсажа перед зеркалом. Мадам Луиза быстро и умело накалывает ей рукав. Другая рука и половина груди—голые.

— Нынче думаю в Крым поехать. Весну пропустила: муж в командировке был, теперь придется к виноградному сезону; покупаюсь и на солнце пожарюсь,—говорит заказчица.

— Да, теперь, слава богу, есть возможность уехать куда-нибудь, а то те годы ужасно было,—отвечает мадам Луиза.

— Да, плохо,—соглашается молодая дама.

У Вари мелькает:

„В Крыму виноград и персики; будто апельсины тоже растут. Наверно, хорошо там. Посмотреть бы"...

Варя на коленях у ног заказчицы: мадам Луизе трудно нагибаться, накалывать внизу.

У заказчицы лаковые ботинки с острым носком и ажурные чулки-паутинка, а от белья пахнет дорогими духами. Кружится у Вари голова. Может быть, от другого чего? От далекого Крыма, где растут виноград и персики?..

Поношенный, обрюзгший журналист оттянул художника от стены и сам влип в нее глазом. Бритый, посиневший подбородок его отвис, из угла губ ползет слюна, и тощий, по-собачьи согнутый хребет вздрагивает.

Максим Степаныч щиплет, отпихивает:

— Уходи, чорт! Дай мне!.. Пусти!..

В примерочной мадам Луиза отойдет, поправит пенснэ, слегка опустит брови.

— Великолепно будет! Превосходно! Это очень идет к цвету ваших волос, и фигура от этих маленьких складок идеальна.

Заказчица оглядывает себя в огромное трюмо, охорашивается. Она довольна, мило улыбается. К напудренной груди приник, изогнувшись тонкой змейкой, нежно-матовый жемчуг, в ушах, как кровавые капельки,—два рубина.

В зеркале на минуту выросла другая фигура—еще стройнее, еще изящнее, в скромном, совсем скромном платье. Варя мельком взглянула на себя, и у ней вспыхнуло „Если бы!".. И один, только один непроизвольный жест, в котором вылилось все женственное. В котором очарование, сплошная улыбка, внутрь себя — женская, самодовольная,—и опять скромно на пол, на колени. Опять мнет и расправляет шелк чужой юбки...

Дуняшка засмотрелась и наступила на край материи. Мадам Луиза в это время протягивала к ней руку с булавкой. Брови ее на секунду сдвинулись, сверкнув тяжелою складкой над переносицей, и вместо подушечки она гневно ткнула булавкой в плечо ученицы. Девочка скривилась от боли, дернулась, но не крикнула, снова оправилась, стала недвижной, только из глаз выдавились и застряли под ресницами две слезинки.

— Ты что?—мягко улыбнулась заказчица, скользнув по ней взглядом.

— Должно быть, задремала,—ответила ей тоже с улыбкой мадам Луиза и, повернувшись к девочке, добавила уже почти ласково:—Ты смотри, как следует.

Когда девочка снова протянула подушечку с булавками, хозяйка с гримасой злобы, мелькнувшей в складках губ, щипнула ее за руку...

Максим Степаныч, вешая Леонардо да Винчи на место, знающе говорил:

— Я часто наблюдаю, и редко встречается хорошая фигура. С рожи как будто бы и ничего, смазливая, а глядишь—талия не в меру длинна, и коротки ноги, или бедра ни к чорту не годятся. В общем же, большинство женщин до безобразия коротконоги, иногда даже досадно.—Он вставил в янтарный мундштук сигаретку, пустил ароматный дым и вытянулся в сладком воспоминании:—Была у меня одна натура, полька—идеальная фигура: руки, ноги, торс—настоящая античная скульптура. Больше полугода работал с ней.

— Пользовался?

— Ясно... Женился, и жена выгнала. Из студии за волосы вытащила... Голое тело больше не пишу...

— Дела!.. Ну, что-ж, по сему случаю давай выпьем!

Максим Степаныч достал новую бутылку...

X

Пришло оно к Варе как-будто невзначай и залило тревогой ожидания и настороженности. Спрашивала себя: „Неужели так и начинается... просто без всякого ощущения?“

И не было ответа.

Сидела за работой, молчаливая, сосредоточенная, не хотелось ни петь, ни говорить.

Иногда мелькало:

„Это случайно... Ничего нет“...

Становилось легче, но в то же время чувствовалась внутренняя пустота. Ласкалась к Павлу Кондратьичу задумчиво, нежно и внезапно рассыпалась в безудержном смехе.

Но случалось, придя из мастерской, кидалась на постель и долго беспричинно плакала.

Мать пугалась.

— Варенька, что с тобой? Обидел кто-нибудь или что случилось?

— Ничего. Так. Голова разболелась,—она старалась улыбнуться.— Вот уж и лучше стало. Ты не беспокойся, пройдет.

Душным летним вечером пришла она домой, усталая, и вдруг почувствовала в себе что-то, до сих пор неведомое. С тревогой напрягла внимание, — сразу краска залила лицо, застучало в висках, задрожали руки. Опустилась на постель, перед глазами все — каруселью.

Через минуту пришла в себя, прижала рукой притихшее сердце, провела ладонью по влажному, похолодевшему лбу,— и неожиданно все прорвалось: нахлынула волна неудержимой радости, все затопило горячим и благодарным. Варя, пошатываясь, подошла к окну, долго смотрела на вечернее небо и прислушивалась к заглушенным уличным шумам, сквозь них пытаясь уловить единажды робким лучом в ней сверкнувшее. Подойдя к спящей матери, нежно поцеловала ее. На лице все светилась ясная, тихая улыбка своему внутреннему, никому еще неведомому.

Несколько дней молчаливо носила она в себе эту радость, боясь выдать кому-либо намеком или взглядом—омрачил бы ее счастье.

Долго не решалась пойти в знакомый переулок. Влекло и останавливало. Хотелось взять за руки, с покорной, радостной нежностью взглянуть в глаза и сразу всю себя распахнуть настежь. Или проще— не смотря в лицо, молча, с благодарностью положить ему на грудь голову. Он и так угадает—по радостному трепету ее тела, по взвол-

нованному дыханию. Ответит ей счастливо, может быть, тоже без слов—интимным движением рук или замкнутых, горячих уст.

А если?.. Если?..

Было страшно.

С горящим сердцем и затуманенной головой поднималась по вытоптанным изученным ступенькам. Павел Кондратьич был один, куда-то собирался. Начала она робко, волнуясь:

— Я хочу сказать тебе... У меня...—и не докончила, смутилась, села к столу и опустила на руки голову.

Павел Кондратьич подошел вплотную, посмотрел в завлажнившиеся глаза, на загоревшиеся щеки.

— Ты что?

— Я на-днях почувствовала...—Варя поднялась, положила ему на плечи руки.—Родной мой, как я счастлива!

Он слегка отстранился.

— Что ты хочешь сказать?

— Под сердцем у меня...—подняла на него влажные, радостные глаза, истомно потянулась и вдруг опять застыдилась, спрятала лицо на его груди.

Павел Кондратьич снова отстранился, вытер платком то место, где прикасалось лицо подруги, и жестко сказал:

— Пустое ты говоришь. Ничего этого нет. Глупости!

— Право же, милый, не ошибаюсь!

— А я говорю—глупости это! Ничего этого нет! Понимаешь? И... не надо!.. Ну, иди домой. Милая, иди, мне нужно на собранье...

Он поцеловал ее и отвернулся, стал мазать гуталином ботинки.

Все больше, все сильнее нарастало у Вареньки чувство к тому кровному, кто таился под сердцем. Оставшись дома одна, она ложилась на постель и замирала, прислушивалась—не почувствуется ли биение другой, невидимой, близкой ей жизни. Маленькие груди стали напрягаться, начинало разливаться по ним томление. Иногда, забывшись в легкой дремоте, она вдруг ощущала прикосновение влажных, горячих детских губенок. Они чмокали, нашаривали упругий сосок и, захватив его, жамкали, тянули; было от этого нестерпимо сладко и радостно. Она гладила воображаемую головку и находила для него, крошечного несмышленышка, самые нежные имена, вкладывала в них все свое материнское чувство.

Дома по вечерам шила ситцевые кофточки, дешевые юбки и радостно мечтала:

„Вот из этого хорошо рубашечку... Из таких кусочков можно одеяльце сшить...“

Не одну восторженную слезу обронила на пестрые лоскутки, бережно складывая их в комод.

Однажды в праздник Варя пришла к Надежде Павловне. Была осунувшаяся, с опухшими глазами. Опустилась на кровать и сразу плечи ее судорожно задергались; ткнулась в подушку.

Хозяйка села рядом, ласково погладила по волосам и осторожно, словно боясь разбудить, прикоснулась губами к виску.

Девушка быстро вскинула голову, поднесла к глазам платок.

— Ничего. Пустяки. Все пройдет. Не обращай на меня внимания.

Надежда Павловна стала приготавливать чай, а Варя смотрела в угол комнаты,—пристально, немигающим взглядом, промолвила глухо, будто в пустоту:

— Тяжело мне. Измучилась за эти дни.—Замолчала, плотно сжав губы. Шипел примус. В окно черной стеной глядел вечер.—С Павлом рассорилась: не хочет ребенка,—добавила через силу, едва слышно. И совсем погасла, опустилась...

... Целыми днями лежала Варя одна, обескровленная, опустошенная. По вечерам заходили Соня и Надежда Павловна. Варя освобождала из-под одеяла бледную, меловую руку и пробовала улыбнуться.

— Теперь уже не чувствую такой боли. Легче стало.

— А жалко?

— Не знаю...— отвечала, не поднимая взгляда, тихо, раздумчиво.—Еще недавно было хорошо, радостно. Будто в большой праздник шла по улице, и все люди были нарядные, веселые. Мне тоже хотелось улыбаться. А теперь... Не знаю, что теперь будет. Вместе с „ним" вышла из меня и радость. Не знаю, как буду жить. Пусто теперь во мне...—Она отвернулась.

Когда к постели подходила мать, Варя брала ее руку и молча прижималась к ней увядшей щекой; подолгу не выпускала. Было нестерпимо жаль: обидела она ее, разбила надежды, отняла единственную и последнюю радость.

— Мама! Прости! Он любит меня... Он женится на мне...—Варе стыдно поднять взгляд.

Мать сидела скорбная, молчаливая. За эти дни она совсем постарела, глаза ввалились и потускнели, сухой подбородок дергался.

„Вот она и жертва. Тогда хотелось принести ее—он не пожелал. Теперь она не хотела, а он потребовал. Ну, что ж, может быть, поймет, оценит..."

— Мама! Поправлюсь я, и тогда мы по-другому будем жить.

Мать гладит ее по щеке, по волосам, отвечает будто на свою мысль:

— Да, да. Это хорошо... Поправишься, и заживем мы с тобой по-другому.

Тепло, приятно от материнской ласки; боль растаяла. И все это— будто приснилось...

К Павлу Кондратьичу Варя пошла еще не совсем оправившаяся. Когда поднималась по лестнице, стучало в висках, и дрожали коленки. Вошла и сразу опустилась на кровать.

— Варя! Да ты еще больная! Тебе нельзя было ходить. Зачем ты?—встретил он ее с испугом.

— Это так: лестница у вас крутая... Я уже совсем оправилась. Сядь рядом со мной.

— Что с тобой? Какая ты странная!—Павел Кондратьич поцеловал ее и улыбнулся.—Ну, как себя чувствуешь?

— Мне теперь лучше.—Варя улыбнулась.—Знаешь, я за эти дни много всего передумала. Тяжело было. Мучительно. Ну, а теперь хорошо.—Облегченно вздохнула.—Совсем хорошо...

Немного спустя Павел Кондратьич поднялся и стал переодеваться.

— Ты разве уходишь? Не хочешь со мной посидеть?

— Прости, Варюша. Понимаешь, так сегодня неудачно сложилось. Собранье женотдела, и у меня там доклад.

— Ну, что ж, если нельзя—иди. Мне так хотелось с тобой побыть...—Варя опустила голову; рука худая, бледная, на коленке дрожала.—Милый, ты не сердись. Мне тяжело. Сядь со мной на минутку. Я хочу посмотреть тебе в глаза... Поцеловать тебя хочу.

— Какая ты!.. Право же, мне некогда, я тороплюсь, и так опоздал...—Он подошел к ней и насильно улыбнулся:—Ну?..

Дверь широко распахнулась. На пороге—студентка Власова.

— Помешала?

Варя отшатнулась от Мигунова и вспыхнула,—по сердцу остро полоснула обида.

Власова—со звонким непринужденным смехом:

— Здравствуйте, болящая! Слышала о вас. Ну, как—поправляетесь?

В этих словах, в смехе слышалось женское торжество. Не ответила на них, отвернулась и стала рассматривать журнал. Власова опять рассмеялась.

— Извините, если чем обидела! У нас простое воспитание, с барынями не приходится иметь дела... Ну, Павел, скоро, что ли?

Варе хотелось повернуться и крикнуть этой нанавистной, развязной девчонке что-нибудь оскорбительное, но боялась расплакаться. Только стиснула зубы и осталась недвижной. Почувствовала, кто-то тронул ее за плечо.

— Идем! Я ухожу. Немного провожу тебя! — Павел Кондратьич виновато улыбнулся.

Она молча оделась и первой вышла из комнаты. На лестнице он взял ее под руку.

— Честное слово, Варюшенька, никак нельзя! Собранье очень серьезное. Власова тоже выступает—содокладчицей...

У Вари не было даже обиды—захлестнуло тяжелое чувство безразличия, ощущалось утомление, хотелось поскорее домой, в одиночество, лечь в постель и забыться.

XI

„Придет... не придет?..“

Стрелка на больших, круглых часах над входом движется невероятно медленно.

„Придет! Должен притти!..“

Кто-то невидимый приник к сердцу и тянет из него.

Гудят трубы, поют кларнеты... Лезгинка, вальс. Сверкают молодые улыбки, скрещиваются в радостной, томной игре взгляды. Глухо и тяжко стонет дубовый паркет. В коридорах, в проходах, в соседних комнатах ручьятся звонкие голоса, брызжут молодым, беспечным смехом. Истома от жарких, возбужденных тел. Вьются гирлянды русых, черных головок, расцветших лиц, горящих глаз.

— Коминтерн на Востоке сыграет огромную...

— Помните, товарищ,—парламентская рабочая фракция...

— ...в физкультуре залог нашего...

Скользят по паркету в своем мягком, неустающем шарканьи ноги. Сверху—ослепляющее холодное электрическое солнце.

— ...Я больше всего вальс...

— А я мазурку. В ней много огня.

Варя—у раскрытого окна, одинокая.

„Придет... не придет?..“

Стрелка на круглых стенных часах невероятно отяжелела...

— Варвара Семеновна!

Вздрогнула, кивнула. Хотела отвернуться, но знакомый студент Крабов, товарищ Мигунова, протягивает руку. Не пускает.

— Почему вы от меня бегаете? Идемте танцовать!

Освободила руку, крепче прижалась к стене.

— Не могу. Мне сегодня нездоровится. Извините.

Жалуется и нежно грустит флейта, рыдающие звуки от тромбона. В коридоре мелькнул и потонул в цветном водовороте тот, кого она ждала,—с другой, незнакомой. Показалось, обронил виноватую улыбку.

— Крабов! Идемте! Вальс я танцую. Мне захотелось его потанцовать!

Варя долго кружится с Крабовым, чувствует на себе его неотрывный взгляд, на талии — горячую его руку. И смеется громко, беспечно. Только глаза иногда застилает влажным.

Потом ходит с ним по залу, по коридорам, скользит взглядом по движущимся парам, говорит, слушает и смеется. Пожалуй, Крабов даже интересен...

На заре идут к ее дому. Ей почему-то грустно. Вероятно, от усталости—много танцовала. Да и жалко мать: наверное, скучает без нее.

„Ах, не все ли равно?! Тот, конечно, тоже провожает свою даму. Ну, и пусть!..“

— Крабов! Говорите, еще говорите! Домой мне не хочется. Мы будем гулять до утра. Идемте на сквер... Хотите, я к вам в гости риду? Ваша комната, кажется, через три двери от Мигунова?..

Крабов сочувственно, понимающе жмет ее руку, повыше локтя,— обнаженную, податливую руку...

А может быть, она ошиблась: не было Павла Кондратьича в комсомольском клубе?..

Дома, в постели, Варя часами лежала без сна, плыла в тоскливых, тревожных думах. В маленькую комнатку падал отблеск уличного фонаря, иногда вздрагивал или медленно ползал по стене, спугивал тени. В беспокойном сне тяжело всхрапывала мать, шмыгали по полу мыши. Каждый звук, каждый шорох отзывался болью.

Когда гасло сознание, а сон не успевал еще захватить, — в эти опьяняющие минуты вспыхивали образы, зыбкие и неуловимые, — милые образы. Пронизывала восторженность. Уста безмолвно высказывали невысказываемое:

„Милый! Родной мой! Вся я полна тобою до краев! Я теперь больше и лучше, и все это через тебя, через мое радостное чувство, которое ты мне принес. Если бы ты немного любил меня! Хоть чуть-чуть!..

Нет! я довольна и тем, что ты принимаешь мои поцелуи, мою ласку... Бери! Больше бери их от меня! Я захлебываюсь своей любовью!..“

Иногда вдруг испуганно просыпалась, настораживалась вся, замирала, чувствуя порывистые толчки крови в висках и дрожь в пальцах. Чудилось: откуда-то доносились слабенькие младенческие крики. Тогда начинала со стоном метаться по кровати, мять подушку, рвать простыню. Хотелось протянуть руки и с воплем броситься во тьму на жалобный детский призыв. Но знала, крики эти—ее больное воображение. Быстро угасала, зарывалась в постель и долго одиноко плакала обильными слезами.

Случалось, мать улавливала необычные приглушенные звуки и сейчас же подходила к дочери.

— Варюша! Что с тобой? Нехорошо тебе?

Дочь притворялась спящей. Мать нагибалась к ней, нашаривала мокрое от слез лицо, понимала материнским сердцем горе и, нежно поцеловав, осторожно отходила. Утром она сообщала ей:

— Ты сегодня во сне плакала. Должно быть, нехорошее что приснилось?

— Да, приснилось. — Варя не смотрела на мать. — Испугалась и сама не знаю чего. Пустяки...

Вечером на столе лежало письмо. Не раздеваясь, взволнованно разорвала конверт, поспешно пробежала, зарделась и снова начала, уже медленно, подолгу останавливаясь на каждом слове.

Целый вечер гуляла она, счастливая, опираясь на сильную мужскую руку, смотрела в знакомые задумчивые глаза и укоряла себя:

„Какая я скверная, дрянная, постоянно хнычу. А он такой хороший". Тянулась к нему и неслышно шептала:

— Милый!.. Милый!..

XII

В общежитии Яшка комсомолец пыхтит над работой — ремонтирует брюки. Нитки белые, заплата пестрая, — но он не смущен. Выкроив перочинным ножом лоскут материи—старательно присаживает его на надлежащее место.

В дверях—Варя, веселая от яркого солнца, от бодрящего осеннего ветерка. Яшка испуганно повертывается к двери, быстро накидывает на белые коленки тужурку и с неудовольствием кричит вошедшей:

— Ты что же прешь, не постучавшись? Мало ли в каком виде я могу быть!—Видя ее смущение, улыбается.—Ну, ладно, проходи. Только в следующий раз всегда стучи. Ты ведь у нас гостья, чужой человек. Надо, чтобы все, как следует...

Варя садится напротив.

— Павла Кондратьича нет?

— Нет. К Федьке Гореву ушел—в долг рублевку просить. Скоро придет.

Варя вглядывается в работу и приходит в ужас.

— Яша, разве так можно? давайте я пришью!

Яшка поднимает голову и широко улыбается.

— А ведь это дело! Верно, ты, пожалуй, лучше пришьешь. На, вали! А теперь отвернись, не смотри,—он, сунув ей брюки, вскакивает на кровать и до плеч натягивает одеяло.

Девушка смотрит на заплату и хохочет.

— Стежки-то, точно заяц скакал. Вот красота бы вышла!.. Где у вас ножницы?

— Там, на подоконнике ножик лежит.. Как будет готово, так подай сюда, я здесь надену.

Варенька принимается за работу. Яшка лежит, молча курит и задумчиво пускает в потолок струйку за струйкой.

— Знаешь, Варя, я хочу жениться,—неожиданно сообщает он.

— Жениться? А вам сколько?

— Что значит, сколько? Дело не в годах! Я считаю себя вполне взрослым, к тому же, чувствую потребность!.. Я мужчина!.. — Помолчав, он добавляет. — Фактически я уже женат, оформить только. Знаешь Розу Гольман в нашем коридоре? Ну, вот—она...

В комнату шумно врывается Власова.

— Павел дома?.. А! Здравствуйте, Варя! Вас за работу усадили.

— Она сама. А мне, что ж, это на руку,—отзывается со смехом Яшка.—Она так мне зачинит, что брюки лучше новых будут.

Власова, вполголоса напевая, прошлась по комнате, повернулась и направилась к выходу.

— Яков! Когда придет Павел, пошли его ко мне, он нужен... До свиданья!..

Варя быстро поднялась, посмотрела вслед сразу вспыхнувшим ненавистным взглядом и, стиснув зубы, молча отошла к окну. За окном был узкий полутемный двор, окруженный высокими соседними зданиями, напоминал он глубокий каменный колодезь.

— Как ты находишь Власову?—повернулся Яков к окну.

— Что Власову?

— По-моему она, знаешь, замечательный человек. Умница. Я думаю, допрет до профессора... Я читал про одну сибирскую партизанку, начальником отряда была, белым сама головы рубила,—вот и эта такая же. Всем нашим ребятам мозги скрутила... Ну, скоро брюки готовы?

Варя смотрела в глубину каменного колодца, молчала.

— Что ж, теперь женщина может вполне выявить свою личность. Права одинаковые с мужчиной и в социальном и в семейном отношении...—ответил он на свою мысль и стал мечтательно насвистывать.

На асфальтовом дне колодца две женщины натягивали веревку для сушки белья. Напрягались, что-то кричали. И обе казались маленькими, бессильными.

Сзади раздался знакомый голос:

— Ты здесь? Вот хорошо! Что же тебя Яков чаем не угощает?

За чаем Варя заметила, что Павел Кондратьич чем-то обеспокоен, с нотками особой нежности у него прорывалась и сухость. Когда остались одни, он сразу стал серьезен, перевел разговор на тему, которую вскользь высказывал в первые дни знакомства.

— Мы вступили в полосу новых взаимоотношений, женщина теперь не то, что раньше—получила полную возможность выявить свою личность и в социальном и в семейном отношениях; может сама, как ей вздумается, строить свою жизнь.

Варя слушала и не понимала, к чему клонят эти речи. Только чувствовалось, что за ними идет что-то новое, тяжелое для нее.

Павел Кондратьич потом сказал:

— Знаешь, Варюша, мы как будто бы уж изживаем свое чувство. По крайней мере у меня оно потеряло свою остроту. Так вот я и думаю: может быть, для нас будет лучше, если мы с тобой разойдемся, ну, хотя бы на время, пока снова не почувствуем прежнего влечения друг к другу. Что ты на это скажешь?

Мертвой петлей захлестнуло то страшное, что шло за этими словами. Она все-таки что-то ответила, а он еще говорил, еще. Глухие рыдания внутри мешали слушать. Голос у него был ласковый, и доводы казались убедительными, но все это чуждо сердцу и не воспринималось.

У ее дома Павел Кондратьич крепко, по-дружески, пожал руку и в благородном порыве по-братски поцеловал в сухие, бесчувственные губы. Когда повернулся уходить, Варя безотчетным, судорожным движением схватила его за одежду. Он остановился.

— Ну, еще раз—до свиданья!—с жалостливой, виноватой улыбкой снова потянулся к потухшему, бескровному лицу.

Горячая волна неожиданно пробежала по телу девушки и все его налила до стальной упругости. Напряженно забилось в груди, загорелось в мозгу. Варя выпрямилась и решительным жестом отстранила протянутые руки. Пошла в глубь двора молча, неторопливо, крепкой, новой походкой.

— Варюша! Подожди!

Варя не отвечала. В темноте дробно и четко выстукивали по камням ее каблуки.

XIII

В маленькой комнатке Надежды Павловны Олёнка рассаживает тряпочные куклы, разговаривает с ними:

— Вот так. Только у меня смирно сидите, не ругайтесь.—Повернулась к Варе.—Тетя Варя! Давай с тобой играть: я буду мама, а ты моя дочка!

Иван Ануфрич довольно гыкает в белую бороду:

— Гы-ы! Это ловко будет. Если она тебя не станет слушаться, ты ее, Олёнка, ремнем, да покрепче, чтобы дольше помнила, не баловалась.

Варя садится на пол рядом с девочкой.

— Хорошо. Я буду твоя дочка, а ты моя мама. Давай теперь играть.

Олёнка начинает прыгать, хлопать в ладоши, кричит Надежде Павловне:

— Мама! Мама! Смотри, тетя Варя со мной играет в мать и дочку!..

Немного спустя, Варя взволнованно поднимается и, не прощаясь, ни на кого не глядя, поспешно уходит из комнаты. Олёнка недоуменно смотрит ей в след. Иван Ануфрич сердито ворчит:

— Вот взбалмошная девка! Что ей—оса под хвост ужалила? Вот эти бабы! И пойми их!

Надежда Павловна не отвечает. Только она одна понимает Варю...

Днями Варя была напряженная, точно стянутая до отказа пружина. Каждый шаг крепок и упрям, каждое слово веско и продумано. Ни улыбки, ни вздоха.

А ночами прорывалось.

„Я хочу! Я имею право хотеть! Это мое женское и материнское право! Никто его у меня не отнимет!..“

И вдруг сжималась вся, чувствовала: от стыда дрожит каждая жилка.

„Зачем, зачем она послушалась?..“

Как и тогда, опять внезапно ощущала прикосновение влажных детских губенок. Чудилось: в ночной темени кто-то тут, рядом—тоненько-тоненько плачет, рвет ее сердце.

Варя, стиснув зубы, мечется по постели. Руки сами собой судорожно мнут подушки и одеяло. Закричать бы во весь голос—может быть, легче будет.

Какая тоска!..

Рядом с ним, розовым комочком, часто стоит и другой с грустным, немного виноватым взглядом.

„Знаешь, Варюша, мы как будто бы уж изживаем свое чувство?“..

Может быть, верно—и она изжила его? Ни ненависти, ни любви. Только боль обиды, да другая—глубже и невыносимее—жестокая материнская боль и тоска...

...Как и всегда, трещат, захлебываются машинки в мастерской мадам Луизы. На столах играет всеми цветами шелковая, бархатная и шерстяная материя.

И песни все те же, обычные, знакомые. В них тихая радость или грусть-тоска о любви, о милом.

Мил уехал и оставил
Мне малютку на руках...

Анна Ивановна змеей шипит, бросает на девушек злобные взгляды.

— На хвост ей, ведьме, наступили,—говорит шопотом кухарка Анисья.—За обедом вы ей обнюханный кусок положите—пусть подавится, халера азиатская!

Анна Ивановна повертывается в сторону Вари и с ядовитым смешком спрашивает:

— Варюша! Я слышала, на-днях вы в автомобиле катались с полным гражданином... по Тверской?...

— Это ложь!—выкрикивает негодующе Варя.—Я ни с кем не каталась!

— Что же вы, милая, сердитесь? Я ведь просто так, не в укор вам. Значит, неправду сказали. А если бы и катались, то что же в этом такого? С приличным человеком можно.

Ученица Дуняшка ползает по полу, собирает булавки. Услыхала об автомобиле и подумала: „Хорошо бы покататься. Вырасту побольше—познакомлюсь с шофером...“

Слякотным осенним вечером возвращалась Соня из мастерской и простудилась. Дырявые калоши, жакетка, ветром подбитая, а в слабых легких отдавалось кашлем родительское наследство,—на третий день и слегла. Дядя хмурился, недовольно покеркивал:

„Свалилась беда не во-время. Где бы надо работать—на носу свадьба, а тут человек из кону выбывает".

Печальные ходят и Гришка с Танькой. Подойдут к Сониной кровати, прижмутся и смотрят угрюмо, а у Гришки в глазах какой-то вопрос.

— Ты, Гришенька, сказать хочешь что-нибудь?

Гришка шмыгнул носом, потеребил слюнявыми пальцами одеяло и, глядя в сторону, спросил:

— Как же теперь твоя свадьба, если ты долго не встанешь?

Соня улыбнулась.

— Встану, Гришенька. Поправлюсь скоро. Тогда и свадьба будет.

Гришка просветлел.

— Мне колбасы вареной и сладкого пирога хочется. Да посмотреть, как будут плясать.

Соня мечтательно высказывала Варе:

— Вася говорит: как выздоровею, так и поженимся. Комнату новыми розовыми обоями оклеим. Ах, как мне хочется, Варенька, в свою комнату переехать! Уж и убрала бы я ее! Вася меня очень любит. Заживем мы с ним хорошо. Не дождусь я никак этого дня.

Варя задумывалась о своем. Стыдно было высказать даже подруге. Крепче сжимала ее руку.

— Да, это хорошо будет. Своя семья. Только ты, Соня, не делай того... как это делают другие.

— Нет—нет! Я люблю, и Вася любит. Мы оба любим...—лицо Сони покрывалось румянцем.

Вскоре ее свезли в больницу.

Бесшумно ходили между кроватей сестры, наклонялись над ней фельдшерицы и врачи, а она лежала бесстрастная, ко всему безучастная. День ото дня слабела, таяла, сама того не замечая. Спросит ее дядя или кто-либо из подруг:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

Она поднимет посветлевшие глаза и кротко ответит:

— Теперь лучше стало. Полегчало. Наверно, скоро поправлюсь.

Приходил Василий Иваныч, телеграфист. Подолгу сидел, непонимающий, потерянный, тупым, жалостливым взглядом глядел на невесту и говорил, утешая не то себя, не то Соню:

— Теперь лучше. Совсем поправляться стала. Вон, уж румянец появился... Теперь мы заживем по-настоящему, по-семейному...

О смерти Сони сообщила ему Надежда Павловна. Вбежала в комнату и, задыхаясь, выкрикнула:

— Соня-то, Соня-то, знаете—приказала долго жить!

Василий Иваныч хозяйкиным утюгом тщательно наглаживал у праздничных брюк переднюю складку. Он поднял голову, с недоумением посмотрел на вошедшую.

— Соня?.. Долго жить?.. Как же это?.. Жалко, жалко!..—Бережно повесил брюки на спинку кровати.

XIV

Облокотясь о стол, смотрела Варя в окно на соседний серый забор и на серое, как забор, осеннее дождевое небо. Сбоку, на койке стонала мать. Вываренные за долгие годы в щелоке и в мыле жилистые руки ее были безжизненны. И лицо просолено, завялено,— годами и жизнью, слезами, скорбями, работой тяжкой, безрадостной. Не смотрела на дочь: все переговорено, все итоги подведены, все скорбное, материнское выложено.

Скрипнула дверь, в щели—широкая фигура пьяной соседки Дарьи, прачки.

— Матрена! Дома, что ли?.. А-а! Варюшка!.. Варвара Семеновна! Ну, здравствуй!—сунула такую же вываренную, дряблую руку и шлепнулась на табуретку.

Матрена открыла глаза, дернула острым, посиневшим подбородком.

— Что, Дарьюшка, опять? С какой это радости?

Дарья повела мутными глазами.

— У меня кажинный день радость. Живу не горюю, с чертями и с богом воюю! Скоро красный орден пожалуют!

— Грешишь ты, богохульствуешь, Дарья! Пора бы уже бросить,—устало вымолвила Матрена.

Варя посмотрела на соседку. Все такая же, что и раньше: горячая, с резкими движениями.

Дарья почувствовала этот взгляд, повернула голову, и вдруг ее точно ужалило. Ощетинилась злючей кошкой, злобно зафыркала:

— Ну, что, барыня-сударыня? Видишь—издыхает мать-то! Из'ездили! А то ли уж не конь была! Сволочи! Кровопийцы!

— Будет тебе, Дарья! Никто не виноват. Время пришло. Износилась,—с кашлем выдавила Матрена.

— И кляча на улице под кнутом издыхает—тоже, мол, время?.. Вот я пью. Пропила свою молодость, а теперь старость пропиваю. С радости, что ли, или с горя? А чорт их знает! Пью и с радости и с горя! С чего придется! Жизнь моя такая!—Дарья положила на постель голову и затихла.

Матрена лежала, задумчиво уставив глаза в потолок. Варя, опустив голову, сидела у стола. Широкие плечи Дарьи начали дергаться; с тихим стоном плакала она на постели у своей умирающей подруги.

Матрена протянула руку, ласково погладила.

— Полно тебе. Не надо.

Дарья вскинула голову, повернулась к столу.

— Варюшка! Где твой первый-то, сукин сын, обманщик?—Она, шатнувшись, пересела ближе, посмотрела в тусклые, утомленные глаза девушки и снова закипела.—Проклятые! Палачи! Только калечат бабью жизнь! Разве они понимают горе наше? Радость нашу?

Варя посмотрела на нее, рассеянно спросила:

— Ты про кого, Дарья Степановна?

Дарья не отвечала, она выливала свое, годами наболевшее:

— Жизнь ты наша распроклятая! Какое им дело до того, что девке иной час в пору руки на себя наложить? Заглянул ли к ним кто в душу? Да на кой чорт сдалась им бабья душа? Им одно только подавай! Будьте вы прокляты! Все ваше мужское отродье! Подавитесь вы телом нашим! Захлебнитесь, ненасытные, кровью девичьей!..

Дарья покраснела от гнева. Глаза ее в глубоких синих щелях горели, белые вываренные пальцы судорожно сжимались, мяли на острых коленках грязную ситцевую юбку.

Выплеснув накипевшее, смолкла. Сидела хмурая с потухшим взглядом. Матрена лежала в дреме, но из глубоких глазниц сквозь тонкую кожу прикрытых век глаза, казалось, смотрели, и не обычно, не по-живому, а как-то особенно, спокойно и мудро, отрешившись от всего земного.

Варя согнала у ней со лба муху, прикрыла лицо кисейной косынкой и сказала вполголоса:

— Я боюсь, не встанет она. Плоха.

— Да, скоро умрет,—равнодушно подтвердила Дарья.

Варе сделалось жалко: себя, мать, эту небольшую комнатку, с которой так много связано воспоминаний. Хотелось плакать, но не было слез. Она села на край постели и стала гладить мать по седым, жидким волосам. Наклонилась и поцеловала щеку. Мать открыла глаза.

— Ты пошла бы лучше погуляла, а мы с Дарьюшкой потолкуем, потом я сосну немного.

— Нет, мне не хочется. Сегодня никуда не пойду.

Варя вынула из комода недошитую ситцевую блузку и начала примеривать на манекене. Но руки не работали. Отодвинула в сторону, и сидела, устало, равнодушно прислушиваясь к разговору.

Когда Дарья ушла, мать осторожно, ласково спросила:

— Как же ты теперь, Варюша?

Девушка поняла, о чем спрашивает мать. Но что ответишь? Она и сама не знала „как". Подумала и грустно улыбнулась.

— Как-нибудь... По-старому.

Чтобы скрыть волнение, принялась ненужно прибирать в комнате, перекладывать с места на место вещи.

— Ты зачем это?—спросила Матрена, следя за дочерью.

Та села к окну и уставилась взглядом во двор. Напротив на крыльце играли ребятишки, из соседнего дома из клуба доносилась музыка.

Варя поднялась.

— Мама! Я пойду погуляю немного, голова что-то заболела.

По улице шла бесцельно, неторопливо. Где-то в глубине, неясно задевая сознание, крутилась какая-то мысль и не всплывала.

Куда-то нужно было пойти. Но куда? Казалось, мысль эта много раз являлась в снах, мучила и наливала радостью. Была она значительна и почти до конца додуманна. Но сейчас никак ее не уловить.

На улице обычный пестрый и шумный поток. Все чуждо и не трогает. А мысль скользит, беспокоит.

В яркой полосе света у магазина—группа людей. И неожиданный детский вскрик:

— Мамочка! Мамочка! Гляди!..

Варя вздрогнула—от крика и от внезапно прояснившейся мысли.

Да, это она жгла ее болью и радостью,—страшная мысль.

По телу горячей волной сладкое томление, пьяный угар в голове.

...„ У меня отняли его—с болью, с кровью, теперь я опять хочу иметь! Кто мне запретит?..“

И уже чувствует наплывающую нежность к застенчивому, одинокому Крабову, о котором так много думала последние дни. Он ей возвратит ее материнскую радость. И потому он уже мил, она любит его благодарной любовью.

Что будет дальше—не хочется думать. Может быть, после „этого“ уйдет от него, чтобы никогда больше не встречаться.

Жжет томление, мучит стыд, в горящем мозгу крутятся слова:

„Товарищ Крабов, мне хотелось подучиться немного. Не можете ли вы давать мне уроки?..“

В углах губ всплывает довольная улыбка. И опять стыд и томление. Но шаг уже тверже и увереннее,—идет она строгая и целомудренная, будто несет себя на радостную жертву.

Знакомая парадная, над которой золотом по черному:

„Мадам Луиза. Моды и платья“.

Но Варя—мимо.

А там, за стеной, в своей комнате, Анна Ивановна.

Она сейчас совсем не та, что ходила недавно по мастерской. Такой ее никто не знает. Эта—старенькая, дряблая, беззлобная, сидит и перебирает в маленькой шкатулке старые вещи. Часто она делает это, когда никто не видит.

Вот узенький конвертик, и в нем пучечек мягких, белых, словно льняных, волос. По морщинистым, сразу просветлевшим щекам Анны Ивановны ползут слезы, но она не замечает. Вспомнила голубоглазого, с белыми волосиками малютку, унесшего ее радость, ее душу. Давно это было. С болью оторвала от сердца, и темною ночью на безлюдный пустырь... Сколько потом было мучительных дней и ночей!..

Плачет Анна Ивановна слезами далекой, невозвратимой молодости, слезами матери о потерянном и невознаградимом.

Но Варя не слышит, не знает. И никто не знает.

Варя взволнованно поднимается по знакомым вытоптанным ступенькам. Горит тело, горит мозг. Взгляд, против воли, тянется к другой двери, в конце коридора, но она сжимает губы, выпрямляется и, откинув голову, решительно стучит в ближнюю—к студенту Крабову...

Из цикла „Люди“

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

1

Всегда спокоен, вежлив, ровен.
Красив. При случае—речист.
Весь до ногтей эмалирован,
Как человек и коммунист.

Под ряд читает все газеты.
Он спорит про любовь, про быт.
Он знает крепко то и это
И даже, как Бухарин спит.

Он очарует милой речью.
Предложит пачку папирос...
Но каждому при первой встрече
Он задает один вопрос.

Легко, умно, без принужденья,
Он спросит, вежливость любя,
В каком высоком учрежденьи
Какая должность у тебя?

2

Когда подходит этот серый,
Весь наливаюсь я тоской.
Он с милой чуткостью холеры
Висит над шахматной доской.

Он бьет в азарте по коленям,
Он руки трет, он мучит грудь
И, весь наполнен удивленьем,
Что тоже смыслит что-нибудь.

Он даст совет! Умно! Умело!
Побыть позвольте у руля!
И он торжественно и смело
Под пешку ставит короля.

Он что-то знает, я слыхал.
Но он расплывчат по природе.
Он не профан. Он не нахал.
Он не дурак...
но что-то в роде.

3

Густая тишина нежна,
Тоска схватила сердце лапой...

Завесил шторой глаз окна,
Зеленым абажуром—лампу
И бросил тело на диван,
Чтоб в тонкой нежности уюта,
Назло идеям и словам,
Отдать мечте свои минуты.

Так надоели лозгуны!
Они для губ. Душе—иное.
Слова для массы
не нужны
Наедине с самим собою!

Вдаль отодвинуты лета,
Как жесткая необходимость.
В квартире сердца развлита
Гуманность, нежность, томность, дымность...

4

...Портьера длинного окна,
Тепло и нега полусвета,
Усталость век и тишина
Искали своего поэта.

Он что-то прочитал когда-то
И, полный мудрости такой,
Одну и ту же врет цитату
Во здравье
И за упокой.

Он парень стойкий, умный, зоркий,
Как фельдшер милой Чухломы,
Лечивший всех святой касторкой
От насморка
И от чумы.

Но парень вызубрил немало.
Нам незачем вдаваться в грусть.
Ведь он, ей-ей, у «Капитала»
Обложку знает наизусть!

Весенние стихи

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

Я сердцем прост, я сердцем чист.
Взращенный севером суровым,
Я полюбил ветровый свист,
Я полюбил простор ветровый.
Когда косматая зима
Гремит морозами и вьюгой,
Я от любви схожу с ума
Пред непокорною подругой.
Приятно петь и славить мне
Душой лирической поэта
И осень в желтом жупане
И в жарком сарафане лето.
Но всех милей и слаще друг
Среди друзей такого круга
Весна—подруга из подруг,
Зеленокудрая подруга.
Когда она еще нема,
Пред ней склоняются морозы,
И сумасшедшая зима
Льет непростительные слезы.
Но вот она чуть-чуть вздохнет
И приоткроет рот пунцовый,
Как бурные потоки вод
Ее приветствовать готовы.
Весь мир от благости весны
Вдруг осиянно встрепенется,
И солнце звонко с вышины
Высокой радостью прольется...
И, кто ж, весна,—и кто не рад
Твоей хмельной, горячей нови,
И человек, и зверь, и гад
Тебя поет и славословит!
Я видел, как в полях в ночи,
Предутреннему солнцу внемля,
Слетались пьяные грачи
На полыхающую землю.
И, слыша их веселый грай,
Всем сердцем понял лишь одно я,
Как хорошо в родимый край
Вернуться раннею весною.
И в этот миг хотелось мне
Иметь бы крылья за плечами,
Чтоб так же к солнцу и весне
Лететь за пьяными грачами.

Роза Ветров

Рассказ

КОНСТ. БОЛЬШАКОВ

...Не верь своему сердцу, ни старинным и приметам, если прокладываешь путь свой по волнам Эвксинского понта. Ибо коварен нрав его, и каждое острие розы ветров указует отныне только печальную неизвестность....

Тет-Бу-де-Мариньи.
„Портулан Черного и Азовского морей".

I

В пятом часу утра городские метельщики, подметая площадь Юг-Бунарского базара, натолкнулись на труп зарезанного мужчины.

В те дни такая находка мало кого могла удивить из обитателей болгарской столицы. Поэтому и метельщики раздумывали над ней не больше, чем над ящиком с базарными отбросами.

Наклонившийся обшарить карманы возился недолго. Поднялся и разочарованно отошел в сторону.

Ни денег, ни даже документов, по которым можно бы было установить личность убитого, в карманах его платья не оказалось. Дальше было совсем просто.

Нагруженной до половины мусором колымаги разгружать не стали. Вялые, затоптанные пучки ботвы и малокровные, вывалянные в грязи листы капусты окрасились густой, обильно пролившейся из ран кровью. Лицо зарезанного прикрыли его же пиджаком, и молодой парень, недовольно пробурчав что-то по поводу лишней ездки и напрасной работы, тронул задремавшую лошадь.

Тем же утром, но уже в одиннадцатом часу, какой-то рослый, оборванно и неопределенно одетый мужчина позвонил у дверей столичного жандармского управления.

Очевидно, такому его шагу предшествовали долгие и серьезные колебания. Ибо дежуривший на противоположной стороне в позе рас-

сеянного франта наблюдатель отметил тогда на всякий случай в памяти: у под'езда задержался; прежде, чем коснулся звонка, долго стоял в нерешительности, готов был повернуть обратно.

В приемной он вел себя тоже несколько странно.

Только на миг вскинулся глазами к лицу подошедшего чиновника. Сейчас же потупил их и, комкая в руках измятую фуражку, заговорил невнятно и глухо.

Чиновник удивленно посмотрел на него.

— К начальнику управления? Туда не пускают каждого, кому только вздумается. Существует порядок. Вперед сообщите мне: кто, по какому делу, зачем.

— Тимофей Субботин. Помощник с парусно-моторной „Роза Ветров". А по какому делу — могу сказать только лично, — отрывисто проговорил неизвестный и еще ниже опустил голову.

— „Роза Ветров", — как будто вспоминая что-то, повторил чиновник. — Хорошо. Подождите здесь.

Назвавший себя Субботиным молча кивнул головой.

Спустя минуту, он порывался уже выскользнуть из приемной.

Пришедший позднее и усевшийся напротив какой-то франтоватого вида посетитель окинул его косым, беглым взглядом.

Под этим взглядом Субботин сгорбился, с'ежился, беспокойно заерзал на стуле. Шумно переводя дыхание и теребя ворот рубашки, еще глубже вобрал голову в плечи.

Появившийся снова чиновник коротко бросил:

— Идемте.

И он вздрогнул, вскочил с своего места, зачем-то надел и сейчас же сорвал с головы фуражку.

— Вас, вас. Ну, идите же.

Неуверенными, заплетающимися шагами пошел вслед за чиновником.

Переступая порог кабинета, чувствовал только неистово колотившееся сердце, и язык не ворочался во рту.

II

„Роза Ветров", парусно-моторная шхуна, принадлежит капитану Вуншу.

Капитан Вунш уже пятый год плавает на ней под турецким флагом по Черному морю.

В портах Черного моря, впрочем, как и всякого другого, есть много фрахтов, которыми не должны интересоваться таможенные власти. Капитан Вунш специализировался именно на таких.

Поэтому „Роза Ветров" не имеет своих постоянных рейсов, поэтому и команда ее почти никогда не знает, куда и зачем идут они, и если хозяин сказал, что в Варну, верно только одно: в открытом море они повернут к Батуму.

С Субботиным капитан Вунш встретился в Константинополе. Он очень старательно угощал его скверным греческим коньяком, добродушно поддакивал, когда тот по неукротимой злобности своего характера ругал все и всех на свете, и раза два или три, будто нечаянно, переложил из кармана в карман толстую пачку долларов.

Этим собственно и решилась судьба Субботина.

Капитану Вуншу был нужен помощник на „Розу Ветров". Этот помощник сидел рядом, ни к чему на свете, кроме долларов, не стремился и ничего другого, кроме них, не желал. И капитан Вунш, не вынимая изо рта замусоленного огрызка сигары, улыбнулся и сказал:

— Рюсский?

С сердцем выбросил ему в ответ Субботин:

— Русский... Кронштадтский мещанин... С царского флоту минный кондуктор... А у Врангеля—прапорщик по адмиралтейству... Вот.. Жрать нечего: русский...

Русских он ненавидел всегда: одних за то, что они живут в России, где, собственно, следовало бы жить и ему; других как раз за то, что они именно там не живут и жить не могут, мешая тем самым его существованию здесь, в Константинополе.

Сейчас, когда из рук Вунша перешли к нему только пять плотных зеленых бумажек, и автоматическое Вуншево перо втыкалось у него в руках в бумагу и разбрызгивало чернила, он ненавидел их, главным образом, потому, что сам был русский. Только с русским можно подписать контракт на какие-то триста долларов, когда любой рейс самым естественным образом может закончиться тюрьмой.

А доллары—единственное, что еще ценил и чем волновался на этом свете Субботин. Лиры, левы, драхмы и динары, хрусткие и засалившиеся, радужные и темные, всегда сулили во сне неприятности. Узкие прямоугольники, зеленые, как босфорская зелень, или оранжевые, как палуба на рассвете, даже во сне не были дурною приметой. Проступавшие на них шерстинки растрепанного волокна казались жилками, ветвившимися под кожей роскошного и равнодушного тела.

Просыпаясь после такого сна, всегда ежился от охватывавших одновременно тоски и беспокойства, и рот бывал полон слюны от неудовлетворенных желаний.

На борту „Розы Ветров" было достаточно поводов не чувствовать себя спокойным. Короткие, словно обрубленные, пальцы Вунша, листавшие после каждого удачного рейса у себя в рубке пухлые пачки кредиток, будили в Субботине раздражение и злость. Но сделать так, чтобы не было этого, чтобы остались на борту вуншевские кредитки, и стряхнулся за борт он сам, короткошей-хозяин, было невозможно. Субботин был один, а у Вунша был Эрлих.

Моторист, говоривший в день не больше десятка слов, был непременным ассистентом всех финансовых операций, какие только совершались на борту „Розы", и заинтересован в них был, повидимому, не меньше самого Вунша. Поэтому оставалось только одно: давить в

себе раздражение и злость и молчаливо высиживать тоскливые и одинокие вахты.

Так было и в тот вечер.

Затихшее перед закатом море подернулось палевой дымкой. На западе купалось в жидком золоте низкое солнце. От бортов расходились по воде радужные круги газолина. Глухо вздыхал на холостом ходу мотор, и полуспущенный гафель чуть полоскало ветром.

Капитан Вунш сообщил поправочный курс и пошел, было, к себе в рубку, но с полдороги вернулся.

— Как што видаль гаспадин Субботин, сообщайт мине. Поняль?

Субботин ответил:—„Есть", а про себя с досадой подумал: „Опять загребет хорошие деньги, стерва".

Над морем стояла сонная тишина. В промежутках между вздохами мотора поскрипывали с ленцой мачты, и хлюпал гафель. На таком ходу можно, и заснув, не потерять курса.

Проснулся от крика. Вунш тряс его за плечо и, брызгаясь слюной, кричал:

— Так ви смотрель за свой телом. Барказ по норд-весту.

— Где?—сонно отозвался Субботин.—Ничего не видать.

— Где? Где?—передразнил его Вунш и, оттолкнув, сам взялся за колесо штурвала.

Дернулась ручка машинного телеграфа. Зафыркал и застучал включенный мотор. Под кормой забурлила и зашумела вода.

Через час рыбачий баркас доставил к борту „Розы" нового пассажира.

Чернявый молодой человек проворно вскарабкался по веревочному трапу.

Непринужденно и весело улыбнулся.

— Все в порядке? Капитан Вунш? „Роза Ветров"?

Тот тоже с улыбкой пожал ему руку. Отрывисто бросил Субботину:

— Держайт по курсу.

И повел чернявого в рубку.

Субботин послал им вслед короткий и злобный взгляд.

Набравшая скорость „Роза Ветров" сотрясалась на ходу всем корпусом. Мелкая водяная пыль летела с носа.

С рундука у штурвала Субботину было видно, как мотнулась занавеска на окне капитанской каюты, как заметались на ней две человеческих тени. Субботин захлестнул „на мертвую" штурвал и на цыпочках потянулся к окну.

Чернявый из туго набитого бумажника доставал и отсчитывал Вуншу доллары.

„Ну, это в последний", — радостной мыслью пронеслось в голове.

С вахты сменился он перед рассветом, и сон не успокоил, не сгладил тревожных и раздраженных мыслей. Во сне Вунш топал ногами и, яростно ругаясь, выбрасывал за дверь своей рубки скомкан-

ные и засаленные бумажки, и это были динары и левы, словом, самая паршивая балканская валюта, и такой сон не предвещал ничего хорошего. Раздражало еще и другое.

Чернявый вышел из хозяйской рубки, когда еще не кончилась его вахта, прошел на корму, свесившись за борт, смотрел на серебрившуюся луной пену. Два раза, когда он проходил мимо, Субботин мог видеть уверенные, беспечно и весело смеявшиеся глаза. Тогда же он решил, что так ему улыбаться больше не следует, и он так улыбаться больше не будет.

Теперь, утром, когда туманной полосой уже намечался в лазоревой дали берег, и „Роза Ветров", зарываясь носом, купалась в солнце и брызгах, он прятал от Вунша и Эрлиха глаза. Глаза могли выдать.

Навстречу им из порта уже вышел таможенный катер, и Субботин с тревожно бьющимся сердцем ждал того момента, когда можно будет сказать поднявшемуся на борт жандарму:

— На шхуне, господин офицер, есть один красный. Вчера в открытом море на борт приняли. Большие деньги на этом зарабатывает.

И показать глазами на Вунша.

Тогда жандармы бросятся обыскивать „Розу", вытащат откуда-нибудь из трюма трясущегося и бледного чернявого, свалят его за борт в свой катер, потом, они, конечно, заберут и Вунша. И если тогда из всех этих толстых пачек вожделенной валюты, которые лежат в хозяйской рубке в столе, ему, Субботину, и не достанется ни одного билета, все равно потом на берегу у него с жандармами будет разговор по этому поводу.

Но вышло совсем не так.

Побагровевший от гнева и испуга, кричал Вунш и поддакивал ему молчаливый Эрлих.

— Гаспадин официр, эта рюсский свинья сам красный. Он нас хотел в Одесса в тюрьма. Ми шестный германский поданый, ми не можем терпеть такой, ми будем жаловаться консуль.

Произведенный обыск никого и ничего, кроме команды и помеченного в журнале груза, на судне не обнаружил, и офицер-жандарм с размаху и звонко ударил Субботина в ухо.

Потом таможенный катер отвалил от „Розы" и, перегнувшись за борт, кланялся и махал фуражкой Вунш. А на катере на носу сидел Субботин, и рядом лежал узелок с его имуществом.

Выпустили только вечером.

Багряный убегающий от моря закат позолотил тяжелые свинцовые волны. Перезванивались, выбивая склянки, столпившиеся в гавани суда. С моря несло тоской, бесила улыбка чернявого, и сегодняшний сон не обещал ничего хорошего.

Мутясь раздраженьем и голодом, бесцельно бродил по улицам. Опыт долгих дней безработицы и голодовок учил, что грустно позванивавшие в кармане гроши нужно беречь до последней крайности. У

вокзала, в полукруге палаток со с'естным, остановился. Запах шипевшей на сковородках снеди если не сказал, то намекнул, что эта крайность близка.

Кругом веселым, долго не падавшим на землю, шумом шумела площадь, и до невозможности раздражали суетливые и спешащие люди, под'езжавшие и подходившие к вокзалу.

И вдруг... Да, да—это его доллары, дразня неосуществленным желанием, будто выброшенные на ветер каким-то злым шутником, неосязаемые, как во сне, мелькнули перед глазами.

Показалось даже, что чернявый улыбнулся ему самодовольно и торжествующе, когда взбегал на ступеньки вокзала.

III

Часы тикали так, будто каждый стук отрывался и падал в бездну.

Волокна табачного дыма растянулись и стали вдруг неподвижны.

Лист бумаги на столе зашевелился и затрепетал, будто его сдувало ветром.

— Говоришь: выронил, когда наклонился над бортом, и его затошнило. Говоришь: отдал бы и там, если б сразу поверили тогда на судне. За этим только и поехал? Врешь.

Тяжелый, словно из свинца, взгляд давил его. Глаза, подернутые мутной паутинкой осеннего льда, смотрели, не отрываясь, казалось, сверлили мозг, и от этого взгляда мутило.

— Врешь,—твердо повторил еще раз, и рука в черном бархатном обшлаге протянулась вдоль стола.—Револьвер? Положи сюда.

Не в силах уклониться, оторваться взглядом от этих тяжелых, в паутинке дурманящей мути глаз, Субботин покорно выложил на стол револьвер.

—Деньги?

Тогда даже самому показался чужим, незнакомым и страшным голос.

Он кричал и клялся, что никаких денег не было. В бумажнике были только одни документы. Он обшарил все карманы. Только револьвер и бумажник, и разная ничего не стоящая мелочь. Но ведь он принес документы. Он не выбросил, не уничтожил их там на месте. Он доставил их.

Но, клянясь и уверяя, он чувствовал, до дрожи, пробившейся в коленях, чувствовал, что и сам не может поверить этому.

Однако—так: денег, действительно, не было. И этому невозможно, немыслимо верить, когда только они, зеленые, как босфорская зелень, доллары влекли и тащили вплоть до самого Юг-Бунара. Этому нельзя верить, когда на борту „Розы“ их было в бумажнике больше, чем в столе Вунша. Но только теперь... О, нет, он клянется всем на свете, что кроме документов в бумажнике ничего не было. Но документы— они ведь стоят, много стоят...

— Документы? Документы, действительно, ценные. За них можно дать...

Застывшие, как осенние лужи, глаза вдруг качнулись, но не поплыли, остались на лице тяжелой давящей массой. Топорщившийся стрелкой ус сломала улыбка. Блеснул и погас серебряный, литого серебра, погон. Пальцы забарабанили по столу.

— За них можно дать много... Смотря, конечно, в какой валюте Долларами?.. Ну, долларами можно дать пятьсот, шестьсот, ну, даже семьсот дать можно...

Широко открытые, впервые не мечущиеся под его взглядом, глаза заставили остановиться. Осмотрел с головы до ног и засмеялся. Беззвучно. Потом коротко закончил:

— Только тебе не получить ни гроша. Понял?

Взял с пепельницы недокуренную папиросу. Затянулся. Чуть прищурились мутившие душу глаза:

— Перестарался, идиот, — проговорил, усмехаясь и растягивая слова.—Зря зарезал. Теперь тебе придется пойти вместо него. Куда и как, они тут все расписали.—Пухлый с выхоленным ногтем палец коснулся бумаг, добытых из карманов чернявого. — Все, что увидишь и услышишь, сообщишь нам. Но только ухо держи востро: они тоже не дураки, пришить в миг могут. И помнить,—тут он опять затянулся. — Мы из своих глаз тоже не выпустим: если что не так, то вот...

Указательный палец отрывистым коротким жестом скользнул вокруг шеи, и на черном бархате воротника осталась пыльная узкая полоска.

IV

Прятались в сумерки дома, и росли тени, когда Субботин вышел на окраину города.

Слабый, вечерний ветерок, как подстреленная птица, много раз пробовал и не мог оторваться от земли, падал, кувыркался в пыли.

Субботин шел и старался не помнить, не думать о том, зачем и куда он идет.

— Чорта ли. Не на пушку брать, как жандарма. Здесь не сорвется, если с разумом.

Но екало сердце, и все тянуло оглянуться, всмотреться, не идет ли кто сзади, не смотрят ли сбоку. Но нельзя этого.

Не смотри, браток, по сторонам.
Наматывай прямо...

Около завалившейся, почти вросшей в землю лачуги сидел на завалинке сгорбленный, понурый человек.

Быстро глазами сосчитал, какой дом. Шестой от конца. По правой стороне. Подошел и негромко окликнул:

— Чем примешь, дед?

И слово в слово, как это было написано у чернявого, ответил дед:

— Ждал вечерять, братушка. Ступай следом.

Поднялся и зашагал.

Свернули в узкий проулок. Потянуло сыростью и прохладой. Проулок круто спускался вниз. Старик шел впереди, Субботин за ним, и каждый раз, как замедлял свои шаги тот, ломался, короче становился шаг у Субботина.

— Ну?

Не от страха, должно быть, от прохладной свежести, которой обдал приподнявшийся с земли ветерок, вздрогнул Субботин. Так по крайней мере показалось ему самому. Однако дальше не сделал ни шагу. Кривым изломом окончился проулок. Перед глазами последним вечерним светом тускло светился пустынный простор. Это—впереди. Под ногами же—песчаная осыпь глубокого оврага, и за спиной, в уличке и тенистых палисадниках,—тьма.

— Не, дед. Так не будет.

Готовясь принять нападение, подобрался, каблуками твердо уперся в землю.

Но раньше, чем отстегнул от пояса под рубахой нож, две тяжелых и цепких руки откуда-то сзади опустились на плечи. Сжали их. Вывернули, ломая локти.

Быстрые, вымывающие из-под ног почву, полились слова. Этого не было написано у чернявого, и Субботин молчал.

Опрокидывая на земь, ударили под колени.

— Да говори ж ты. Все равно не уйти.

Рука сжимает горло, но еще не душит, еще дает, давясь и булькая, глотать воздух.

Зубами попытался вцепиться во что-то, что было около самого рта, забился, заколотил ногами, а горло сжимали все крепче и крепче, все тяжелей и безнадежней придавливали к земле.

И когда только сухое, как треск разрываемой материи, хрипенье моталось еще на губах, в выпученных, вылезших из орбит глазах отразилось ночное яркое небо, и они в темневшее, в уже застылое сознание, в смерть перенесли только ту же золотую путаницу звезд, под которой плыла „Роза Ветров".

Два стихотворения

НИК. ЗАРУДИН

I. Петухи

Брезжит стон петуший... Все застыло.
Звездный мрак, глухая бездна тьмы.
Лишь вдали, как-будто из могилы,
Еле-еле древним: «жи-ло-бы-ло»
Дребезжит из грустной тишины.

Ни огня, ни проблеска, ни лая —
Спят пути далеких звездных стран.
...«Там жила девица молодая,
Там синица дымно-золотая
Пролетала в холод и туман...

В окияне вспыхнула синица».—
Петухов чуть слышен старый скав.
Избы спят. Им крепко, крепко спится
В этот ранний, сумеречный час.

* * *

Брезжит стон петуший... Дорогое,
Невозвратное, далекое — прости!
Только б жить, встречать опять родное
Это счастье милое, простое,
Этот стон в предутреннем пути!

Вот и нас давно уж нет на свете.
Без следа исчезли мы с земли.
Все же кто-то вспомнит этот ветер
И вздохнет при кротком, звездном свете
Тем же счастьем, что мы пронесли.

Пусть вздохнет от сладостного счастья
В этот тихий, серый, ранний час,
Пусть вздохнет от светлого причастья
Той улыбки, что жила и в нас!

II. Мой цветок

Шли мы степью, в страшном мире...
Силой талою раскрыт,
Он—подснежник—синий лирик
Нам мерцал из-под копыт.

Он усыпал косогоры...
Бились мы. В степи сырой
От цветов синело... Порох
Пахнул грушею сухой.

Та весна сошла в иные
К тихим водам и буграм...
Годы милые, степные,
Я слагаю песню вам!

Где былое веет сонно,
Где я с вами проходил, —
Вот — полынью потаенно
Смотрят кости из могил.

Сладко порохом бездымным
Потянуло... Он из строк
Весь лиловый и старинный
Поднял блеклый огонек.

И во мгле боев — приветом,
Словно взгляд издалека,
Брезжит тихим, бедным светом
От мохнатого цветка.

Это — кровью алой смыта,
Это — синий свет тая,
Из-под конского копыта
Светит молодость моя!

Песня горемыки

МИХАИЛ СКУРАТОВ

Джеку Алтаузену

Я Москве не по нутру, к ней попал не в милость,
Не такая мне напасть, горемыке, снилась.

Занесло меня сюда сдуру ветрогоном,
Лучше б я казаковал у Днепра, у Дона.

То ли увальнем слыву, то ли стал байбаком,
Но такая впору жизнь дурням да собакам.

Растерял я на пути залихватский голос.—
Ни бобыль, ни сирота, ни женат, ни холост.

Так и молодость пройдет рысью иноходца...
Догоняй не догоняй—юность не вернется.

Стану я озорником, ухну забиякой,
Стану сердце забавлять песней, да не всякой.

У меня такая песнь—по душе буянам.
Коль послушаешь ее—станешь сразу пьяным.

Захочу—захохочу, захочу—заплачу,—
На Руси я, лежебок, затерял удачу.

Запою, гармонь крутя, тихо закачаюсь,
Почему я, лешев сын, не живу, а маюсь.

То ли был я, то ли нет мудрым звероловом?
День-деньской охочусь я за канальей-словом.

Буду сыт я до утра, коли есть добыча,
Голодая, коли нет...—дедовский обычай.

Ты, Москва моя, Москва,—сторожиха улиц,
Сам не знаю, для чего на тебя любуюсь.

Ты за то ль грызешь меня, горечи не чуя,
Что тебя, кусачую, больше всех люблю я?

Нет ни кровли у меня, ни угла с постелью,—
Под заборами брожу—рад не рад безделью.

Я Москве припомню спесь,—не к лицу мне враки,—
Покажу ей, ведьме, я, где зимуют раки!

«На-ка, злюка,—ей скажу,—на-ка, полюбуйся».
Зашатается Москва, закряхтит бабуся.

Все равно мне пропадать—на море иль суше,
Если жизнь изменит мне, буду бить баклуши.

Так о чем мне горевать,—погрустил и ладно.
И на том спасибо мне, что кончаю складно!

Лирика

СЕМЕН КИРСАНОВ

Первые экзамены,
августа голубой,
Детские глаза мои,
первая любовь.
Встречи были кратки,
мне было 8 лет,
Я сохранил в тетрадке
локон-амулет.

Тогда — в перчатках нитяных
в огромный, пышный зал —
Я вместо «именительный»—
«любительный»—сказал.
И в клетку, как синицу,
в четверть в этот год—
большую единицу
поставил педагог.

Позорные каникулы,
и все из-за тебя!
Я уходил пониклый
с деревни на степя.
Печалилась зегзица,
кричала пустельга
о горе гимназиста
из-за пустяка.

Окончена гимназия,
идут года вперед,
но стережет ненастье
меня у всех ворот.
Была минута лютая,
со смеху трясся зал—
я вместо «революция»—
«люблю тебя»—сказал...

И мне открылся заново
железный звон солом,

и видели Кирсанова
в поле, за селом.
О-о, струя колодца
студёнее меча,
а жёсткие колосья
шумят, как саранча.

И окатилась пеною
годов былых волна,
душе осталось пение
и петь душа вольна.
Хочу: студёной чашею
с водою голубой—
опять испить тишайшую
последнюю любовь,

чтоб люди мне оставили
к исходу ранних лет—
призрак милой талии
и локон-амулет!

Из детских лет

В. ВЕРЕСАЕВ

(Окончание [1])

Странно, когда теперь вспоминаешь молодость:—как тогда глубоко и больно вжигались в душу все переживания! Очень мне не нравился один гимназист, на два класса моложе меня, Щербаков Александр. Знаком я с ним не был. Но неистово ненавидел в нем всё: как он ходил,—очень, мне казалось, гордо; как смотрел на меня,—ужасно высокомерно. Был лупоглазый какой-то и вообще противный. Главное, никак нельзя было понять,—чем ему передо мной гордиться? По классам он был меня моложе, ростом не выше (даже чуть-чуть ниже), учился средне, на сшибалке совсем плохо сшибался. И был не князь, не граф: отец его держал железную лавку внизу Остроженской улицы,—просто, значит, был сын купца. Подумаешь! Что у них свой дом на Ново-Дворянской? Так и у нас на Верхне-Дворянской свой дом, еще даже лучше ихнего.

Все, что он делал, он делал, казалось мне, нарочно и мне назло. Стоило мне случайно увидеть его в гимназии или на улице,—и весь мой остальной день был отравлен воспоминанием о нем. На его глазах я из кожи лез, чтоб отличиться; больше бы не мог стараться, если бы смотрела сама Маша Плещеева. На сшибалке, например, когда он подходил и смотрел, молодецки сшибаю одного за другим, продвигаюсь вперед, украдкой взгляну на него,—а он уж равнодушно идет прочь, ничуть не прельщенный моими подвигами.

Раз у нас оказался пустой урок, а их класс был рядом с нашим. От нечего делать я смотрел в дырочку дверного замка. Вижу, вызвал учитель Щербакова. Он путает, краснеет,—урока не знает! Я злорадно следил за ним, как он сел, бледный, взволнованный, а учитель с зловещей улыбкой поставил ему в журнал,—уж конечно, не больше двойки. После уроков, в раздевалке, я столкнулся с Щербаковым лицом к лицу и весьма иронически поглядел на него. А он,—окинул меня тем же высокомерно-равнодушным взглядом и прошел мимо.

[1]) См. «Новый Мир», № 4 с. г.

Весь вечер я с сосущею болью думал о нем и мечтал: так вознесусь, что и он, наконец, взглянет на меня с почтением. Во главе победоносных войск, на белом коне, в'езжаю в Тулу. Граф Стамбульский, светлейший князь Смидович-Всегерманский! Взял Константинополь, завоевал всю Германию! Совсем еще молодой, а на плечах—генеральские эполеты с золотыми висюльками, на шее большой белый крест Георгия первой степени, правая рука на черной перевязи. Гремит музыка, склоняются знамена, „ура!!" И в толпе смотрит Щербаков. Я презрительно окидываю его взглядом и проезжаю мимо.

Мы как будто получали воспитание демократическое, папа и мама не терпели барства, нам очень часто приходилось слышать фразу: „подумаешь, какой барин!" К горничной нам позволялось обращаться только за самым необходимым. Но, должно быть, общий уж дух был тогда такой,—барство глубоко держалось в крови.

Папа несколько раз пытался завести, чтобы мы сами убирали свои постели и вообще свои комнаты. Но ничего не выходило. Во-первых, все утром спешили в гимназию, еле даже успевали чаю напиться. Но главное,—совершенно было невозможно сломить упорного внутреннего сопротивления, какое мы этому оказывали. „Сам себе стелет постель!" Идет по улице гимназист четвертого класса,—четвертого уже класса!—и если бы знали прохожие: „он сам себе сегодня стелил постель!" А уж ночную посуду самому за собою вынести—это был бы такой позор, которого никак нельзя было бы перетерпеть. Даже если бы в это время никого не было во всем доме,—перед самим собою было бы стыдно и позорно!

Иногда, когда выяснялись непомерно большие траты по дому, у нас начинала во всем проводиться экономия. К утреннему и вечернему чаю нам выдавали только по четвертушке пятикопеечной французской булки, а там, если голоден, ешь черный хлеб. Черный хлеб был румяный, вкусный филипповский хлеб (в Туле у нас было отделение московской филипповской булочной). Но все-таки после белого было невкусно, а главное,—если бы знали: „этот гимназист ест за чаем только маленькую четвертушечку белого хлеба, а остальное, как дворник, доедает черным хлебом!" Или: „идет в сапогах, которые сам себе начистил". Щербаков Александр, например,—если бы знал!

За дом от нас, пересекая нашу Верхне-Дворянскую, шла снизу Старо-Дворянская улица. На ней, кварталом выше нас, стоял на углу Мотякинской старенький серый домик с узкими окнами наверху и маленькими, квадратными окнами на уровне земли. Здесь жила наша бабушка, мамина мать, Анисья Ивановна Юницкая, с незамужнею своею дочерью, маминой сестрою, Анной Павловной,—тетей-Анной.

Домик бабушки стоял на границе культурной части города. Около домика кончалась на Старо-Дворянской мостовая, кончалось освещение. Дальше улица была немощеная, заросшая гусиной гречей, пересекалась большим оврагом, где под доской, переброшенной для пешеходов, в черной тинистой воде извивались жирные пиявки. А за оврагом было поле. Осенью в этих местах была непролазная грязь, а ночью в жуткой темноте не светилось ни одного огонька... Ох, страшна эта уличная темнота! Ничего в детстве я не знал страшнее. Особенно там, за бабушкиным домом, где в черной темноте овраг с пиявками, а в углублении каждой калитки, наверно, прячется жулик.

Домик бабушки был очень ветхий, и все надворные постройки—такие же: тес серый, почти черный, от старости покоробился лодочкою В глубине заросшего двора—очень глубокий колодезь и покосившийся флигелек, за двором—сад,—сплошь фруктовый и ягодный. Ягоды у бабушки были очень большие, яркие и жирные,—и клубника, и малина, и смородина, и крыжовник. Яблони и груши—старые, развесистые.

Бабушка—сухая старушка, серьезное лицо с поджатыми губами светится хорошим старческим светом. Она ужасно всегда боялась кого-нибудь стеснить собою, доставить лишнюю работу или беспокойство. Раз она тяжело заболела крупозным воспалением легких, была почти при смерти. Разослали телеграммы сыновьям: один хозяйничал в своем рязанском именьице, другой служил акцизным в Ефремове, младший, пехотный офицер, стоял с полком в Польше. А бабушка взяла, да в два дня и выздоровела. Взволнованная, сконфуженная, она выходила навстречу каждому из приезжавших сыновей и говорила виновато:

— Ты прости меня... Я поправилась!

Это серьезнейшим образом. Долго потом все с любовным смехом вспоминали, как бабушка выходила к сыновьям и извинялась, что не умерла.

Была очень добрая. Жила, во всем себя ограничивая, и помогала направо и налево. В подвальном этаже дома и в надворном флигеле жила беднота, платила плохо, а часто и совсем не платила, иногда годами. Ну, что тут поделаешь! Не выгонять же их на улицу! На именины бабушки в большом количестве являлись плохо одетые старушки с льстивыми глазами, отставные мелкие чиновники с красными носами. Пили апельсиновую водку, ели пирог с капустой и рассказывали о разных своих злоключениях. Несколько лет под ряд являлся здоровенный детина в форме сербского добровольца, с рукою на черной перевязи. Меня удивляло, что иногда за едою он вдруг очень свободно начинал работать раненою своею рукою.

Прислуга у бабушки жила не такая, которая знала свое дело, а которая была очень несчастная. Кухаркой служила бывшая наша молодая няня, Катя. Она была даровитая девушка, выучилась у нас говорить по-немецки, читать и писать. Вышла замуж за нашего кучера Петра. Он вскоре спился и был крючником на Волге. Иногда вдруг

являлся, жил на хлебах у жены, пьянствовал, бил ее зверски и, обрюхатив, исчезал. Всегда она была беременная, больная, задыхающаяся, с кучей ребят. Работала усердно, но сил было мало. Смешно было подумать, чтоб бабушка могла ей отказать: куда же она денется?

Дворником был дурачок Петенька. Лет под сорок, редкая черная бороденка, очень крутой и высокий лоб уродливо навис над лицом. Говорил косноязычно и в нос, понимать было трудно. Самую черную работу он еще мог делать,—рубить дрова, копать землю в саду, но уж поручить ему печку протопить было опасно,—наделает пожару. И опять: как такому отказать? Куда он денется?

Однажды Петр, Катин муж, пьяный, долго и жестоко колотил Катю, потом тут же в кухне, сидя, заснул, положив голову на стол. Петенька решил избавить Катю от этого зверя. Взял полено, подкрался и с размаху ударил Петра по голове. Петр вскочил, бросился на Петеньку, Петенька испугался и убежал, а Петр с залитым кровью лицом опять заснул.

Бабушка потом говорила Петеньке:

— Как же это ты так, Петенька? Ты—маленький, он—большой и сильный, а ты его вдруг поленом. Ведь он бы тебя убить мог.

И Петенька рассказывал всем своим бормочущим, гнусавым голосом:

— Бабушка мне сказала: он большой, а ты его маленьким поленом убить хотел. Побольше нужно было взять!

У бабушки доброта была гармоничная и умиляла. У жившей с нею тети-Анны доброта эта переходила всякие пределы и больше раздражала.

Вот—праведница, которая, умирая, наверное, молилась об одном: чтобы ей в аду было присуждено место не слишком горячее. И Христос сказал бы ей на страшном суде: ты губила душу свою и тем спасла ее!

Худая, с птичьим личиком, но с не-птичьими медленно-степенными движениями. Она была учительница музыки, у нее учились музыке сестры и все наши знакомые барышни. За уроками лицо ее было строго, серьезно и торжественно. Но учительница она была очень плохая. Всем ее ученицам, сколько-нибудь способным, приходилось потом переучиваться; чуть ли не на второй или третий год ученики ее уже начинали отхватывать Бетховена и Шопена. У нее самой рояль был плохенький, рыжего цвета, и звучал, как слабо натянутый барабан. Я никогда не слышал, чтоб она сама что-нибудь играла,—только кадрили и польки, когда мы танцовали.

Всегда она была в хлопотах. Всегда у нее было какое-нибудь ужасно бедное семейство, которое нужно было накормить, ужасно несчастный человек, которого нужно было пристроить. Она обходила знакомых, собирала деньги, выпрашивала место. Собранные деньги

главою несчастного семейства пропивались; несчастный человек, получивший место, оказывался прохвостом или пропойцей. И уже давно никто не верил рекомендациям тети-Анны.

Несчастие другого человека не давало ей покою, не давало жить. Вернее даже не так, а вот как: свою жажду помощи ее тянуло утолить с тою же неодолимою настойчивостью, с какою пьяницу тянет к вину. Знает, что денег не пожертвуют:

— Дайте мне взаймы двадцать рублей. Через три дня я получу в женском епархиальном училище за уроки музыки,—отдам.

— Ну, смотрите,—только на три дня даю! Если не отдадите, поставите меня в безвыходное положение.

— Ну, конечно же, отдам!

И не отдавала. Не потому, что не хотела, а не донесла. Встретилось новое горе,—и отдала туда. Резкие письма с упреками и прямыми оскорблениями, грозные требования, тяжелые об'яснения с клятвами сейчас же отдать при первой возможности, озлобленно-виноватые глаза, боязнь встретиться на улице... А завтра опять то же самое. Вся она была в долгах, все у нее было заложено, ростовщикам платила ужасные проценты. Раз зашел у нас разговор, кто бы что сделал, если бы выиграл двести тысяч (частые везде у нас разговоры-приятно помечтать о богатстве, когда выигрышный билет делает богатство возможным). Тетя-Анна с загоревшимися глазами заявила, что она открыла бы тогда... кассу ссуд! Все изумились, а тетя-Анна горячо стала доказывать, что это было бы самым большим благодеянием для бедняков,—давать под залог деньги из десяти-двенадцати процентов в год. Сколько же процентов она, бедная, платила сама!

При жизни бабушки ей все-таки приходилось несколько сдерживаться. Но когда бабушка умерла, и домик перешел в ее владение, тетя-Анна совсем запуталась. Домик сейчас же был заложен, потом перезаложен. Деньги немедленно уплыли. А заработок ее все уменьшался. Появились новые учительницы музыки, более молодые и талантливые, уроков все становилось меньше.

Тетя-Анна решила открыть учебное заведение для мальчиков и девочек. Родные и друзья ссудили ее на это деньгами. Открыла, В учительницы были набраны не возможно лучшие, а самые несчастные, давно сидевшие без места. В ученики столько было напринято даровых, что и богатая школа не выдержала бы. Конечно, через годдва пришлось дело прикрыть, и оно еще больше прибавило долгов.

Под конец жизни тетя-Анна жила в большой нужде в своем доме, приходившем все в большее разрушение. Сарай грозил обрушиться, подгнившие переметы еле держались. Но тетя доказывала, что это не опасно: дверь открывается внутрь и поддержит перемет, если он обвалится в то время, когда в сарае человек. Помогать ей было так же трудно и бесплодно, как запойному пьянице. Пошлешь ей к пасхе пятьдесят рублей. Ответ: „Милый Витя! Большое тебе спасибо за присланные деньги. На рубль я купила себе кулич, пасху, яичек,

и разговелась. Пять рублей дала разговеться на праздники Козловым. Купила башмаки Лидочке Лочагиной,—они у ней совсем дырявые, и она постоянно простужается", и т. д. в таком же роде. Кончалось: „Вот видишь, скольким людям ты доставил радость присланными деньгами".

Меня это, признаюсь, нисколько не радовало.

Учителем математики у нас был Глаголев, Геннадий Николаевич. На длинных, тощих ногах; ходил, ступая носками прямо, и странно подпрыгивая на ходу; каштановая борода и умные черные глаза. У него был верхушечный процесс, и он часто покашливал особенным каким-то образом, вздергивая голову вверх, растягивая звук кашля и вдруг обрывая его более низкой нотой. Когда мы, мальчишки, изображали его, то обязательно с этим кашлем.

Был у меня товарищ Бортфельд Александр,—лихой парень, забияка; он потом, не кончив курса, поступил в кавалерийское училище и вышел в гусары. Раз, во время урока математики,—были мы тогда в четвертом классе,—Бортфельд дерзко стал передразнивать Геннадия Николаевича самым откровенным образом: Глаголев ходил по классу, об'ясняя урок, и то и дело:

— Кха-ха-а!

И сейчас же вслед за ним, с таким же подергиванием головы, и Бортфельд:

— Кха-ха-а!

Весь класс, изумленный лихою дерзостью Бортфельда, настороженно ждал, что будет. Геннадий Николаевич замолчал и раза два прошелся по классу.

— Бортфельд!

Бортфельд медленно поднялся, готовый к бою.

— Я человек больной, Бортфельд. У меня хроническое воспаление легких, поэтому мне часто приходится кашлять. Я никак не могу понять, что вы находите в этом забавного, и какое вам может доставлять удовольствие передразнивание моего кашля.

Бортфельд плаксиво-возмущенным голосом начал:

— Что же это такое, и кашлянуть нельзя в классе, я не могу сдержать кашля, у меня у самого...

— Бортфельд, пожалуйста, оставьте все это! Я вас не собираюсь ни наказывать, ни тащить к инспектору... Если вам это нравится,— продолжайте! Пожалуйста!

Он презрительно пожал плечами и стал продолжать об'яснение урока. Бортфельд сел на место, как оплеванный. И показался мне вдруг лихой этот парень пошлым и совершенно непривлекательным болваном.

У этого же Геннадия Николаевича Глаголева был обычай вызывать к отвечанию урока всегда самых плохих учеников. Хороших он тревожил редко и только тогда, когда урок был особенно трудный. Часто бывало даже, что хорошему ученику он выводил за четверть общий бал, ни разу его не спросив.

В четвертом классе. Первый урок геометрии. Геннадий Николаевич об'яснил, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, что круг есть то-то, а треугольник то-то. Дома я просмотрел урок,—что ж тут учить? Все само собою понятно.

На следующий день, только что Геннадий Николаевич сел за учительский стол, вдруг:

— Смидович!

Я изумился: был я первый ученик и совершенно не привык, чтоб меня тревожили по пустякам. Вышел к доске.

— Скажите,—что такое круг?

Я помолчал, взглянул на Геннадия Николаевича и широко ухмыльнулся: очевидно, Геннадию Николаевичу вздумалось пошутить, и я, конечно, сразу понял, что это шутка.

— Отчего вы не отвечаете?

Я смешался, пожал плечами и, глупо улыбаясь, мелом нарисовал на доске круг.

— Вот круг.

Глаголев строго и раздельно сказал:

— Я вас спрашиваю,—что такое круг? Не знаете?

Я растерянно молчал.

— Ну, можете итти.

Он обмакнул перо в чернильницу, протяжно кашлянул, дернув головою, и поставил мне в журнале огромнейший кол. Невероятно! Не может быть!.. В жизнь свою я никогда еще не получал единицы. Уже тройка составляла для меня великое горе.

Стыдно и теперь вспомнить, что разыгралось. Я заливался, захлебывался слезами, молил Геннадия Николаевича зачеркнуть единицу, вопил так, что в дверное окошечко обеспокоенно стали заглядывать классные надзиратели. И было это уже в четвертом классе! Правда, мне тогда было всего двенадцать лет. Конечно, Глаголев остался тверд, и единицы не зачеркнул.

Когда я был в младших классах гимназии, директором у нас был Александр Григорьевич Новоселов,—немножко я об нем уже писал. Маленький, суетливый, с крючковатым носом и седыми бачками, с одного виска длинные пряди зачесаны на другой висок, чтоб прикрыть плешивое темя; рысьи глазки злобно и выглядывающе поблескивают через золотые очки. В дверях каждого класса, на высоте человеческого роста, у нас были прорезаны маленькие оконца для подглядывания за учениками. Новоселов очень любил подглядывать,

но был маленького роста и мог глядеть в оконце, только поднявшись на цыпочки и задравши нос. Когда мы из класса замечали за стеклом оконца крючковатый нос и поблескивающие золотые очки, трепет пробегал по классу, все незаметно подтягивались, складывали перочинные ножи, которыми резали парты, засовывали поглубже в ящики посторонние книжки.

Последнее мое воспоминание об этом директоре такое.

Должен был приехать в Тулу министр народного просвещения, Сабуров. Уж за неделю до его приезда Новоселов во время уроков заходил в классы и учил нас, как держаться перед министром, что ему отвечать.

— Руки держите вдоль корпуса, вот так! Стойте прямо, глядите в глаза господину министру! Когда он вам скажет: „Здравствуйте!“ то хором, все сразу, отвечайте: „Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!“ Ну, вот, я вам, как будто г. министр, говорю: „Здравствуйте, дети!“

И, вытянувшись, как солдаты, мы галдели хором:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!

В душе были злорадство и смех,—мы отлично видели: этот грозный Новоселов трусит,—да, да, трусит министра! Одним боком—страшный, а другим—смешной и боящийся.

И, наконец,—приехал министр. Вдали—суетня, хлопание дверей. А в классах везде—тишина. Учителя—еще бледнее и испуганнее, чем мы, сейчас они с нами вместе—под'ответственные школьники, уроки выслушивают невнимательно, глаза прислушивающиеся бегают.

Громкий, властный топот шагов. Все ближе. Двери настежь. Вошел министр. Высокий, бритый, представительный, за ним—попечитель Капнист, директор, инспектор, надзиратели. Министр молча оглядел нас. Мы, руки по швам, выпучив глаза, глядели на него.

Он сказал:

— Ну, вам мне особенного говорить нечего. Все, что нужно, я сказал господам преподавателям... Прощайте.

Мы в ответ дружно гаркнули:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!

Министр с недоумением оглядел нас и покраснел. Когда он выходил из класса, Новоселов отстал, обернулся и с злобным упреком сверкнул на нас стеклами своих очков.

Когда я был в пятом классе, прежнего директора сменил новый,—Николай Николаевич Куликов. Этот был совсем другой. Высокий, представительный, с неторопливыми движениями, с открытым благожелательным лицом. И время становилось как будто другим. Был 1880 год, во главе правительства стоял Лорис-Меликов. Министра народного просвещения, всеми проклинаемого гр. Д. А. Толстого, сменил Сабуров,—тот самый, о котором я сейчас рассказывал. В нашей гимназии,

в беседе с нашим начальством, он решительно высказался против принудительного хождения учеников в церковь,—это, по его мнению, только убивает в учениках всякое религиозное чувство. Начальство было поражено и прямо-таки не посмело исполнить его распоряжения,—мы продолжали обязательное посещение гимназической церкви. От нового нашего директора веяло тем же новым духом.

На гимназическом акте он сказал речь к собравшимся родителям учеников, часто и красиво повторяя в ней:

— Мы—к вам, вы—к нам!

А потом произнес речь о Пушкине, четко и певуче читал стихи Пушкина, и чувствовалось, как сам он наслаждался их музыкой:

Поэт! Не дорожи любовию народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься нем, спокоен и угрюм...

Года через два-три, когда я прочел Писарева, я был преисполнен глубокого презрения к Пушкину за его увлечение дамскими ножками. Но я вспоминал волнующие в своей красоте пушкинские звуки, оглашавшие наш актовый зал,—и мне смутно начинало казаться в душе, что все-таки чего-то мы с Писаревым тут не дооцениваем, несмотря на все превосходство нашего миросозерцания над пошлым образом мыслей Пушкина.

Обращение Куликова с гимназистами было для нас совершенно невиданное. Обнимет какого-нибудь ученика и ходит с ним по коридору, и разговаривает. Когда я был в шестом классе, три моих товарища,—Мерцалов, Будкевич и Новиков,—попались в тяжком деле: раздавали революционные прокламации рабочим тульского оружейного завода. При Новоселове их, конечно, немедленно бы исключили с волчьими паспортами. Куликов выставил дело, как ребяческую шалость. Виновные отделались только тем, что отсидели в карцере по два часа в день в течение месяца, и раз в неделю должны были ходить на душеспасительные собеседования с нашим законоучителем, протоиереем Ивановым, который текстами из библии и евангелия доказывал им безбожность стремлений революционеров.

Воспоминание о себе Куликов оставил у нас хорошее. У меня в памяти он остался, как олицетворение короткой лорисмеликовской эпохи „диктатуры сердца". Года через два Куликов ушел со службы. Не знаю, из-за либерализма ли своего, или другие были причины. Слышал, что потом он стал драматургом (псевдоним—Н. Николаев), и что драмы его имели успех на сцене. Он был сын в свое время известного водевилиста и актера Н. И. Куликова.

Я был самый молодой и самый маленький в классе. И всегдашнее воспоминание мое о классной жизни — чувство неогражденности от обид, зависимости от настроения духа любого сильного дурака,

Помню, случилось это, когда я был в пятом классе. Мне было тринадцать лет, а большинство товарищей уже говорило полубасом, а некоторые уже и брились. Почему-то не взлюбил меня один из одноклассников,—Шенрок Владимир, очень худой и длинный, с красными веками и скользкой, увилистой улыбкой. Ни с того, ни с сего вдруг толкнет плечом так, что отлетишь на три шага; а он идет дальше с самым невинным видом. Или шагает сзади и нарочно старается наступать носками на задки моих сапог (в то время ботинок не носили, а даже при брюках на выпуск носили сапоги с тонкими и невысокими голенищами). Обернешься, сердито скажешь:

— Что ты на меня наступаешь?

Он улыбается своею неприятною улыбкою и молчит. Идешь дальше,—и он опять наступает носками на пятки, обрывая брюки.

Раз перед началом последнего урока я с одушевлением рассказывал двум своим товарищам-соседям про Святослава, князя Липецкого („Исторические повести" Чистякова,—чудесная книга!). Я из этих повестей мог жарить наизусть целые страницы.

„Наши столпились у ворот укрепления. Святослав стоял впереди с огромным бердышем. Одежда его была вся изорвана, волосы всклокочены; руки по локоть, ноги по колено в крови; глаза метали ужасный блеск. Татары, казалось, узнали его и хлынули, как прорванная плотина.—„Умирать, братцы, всем! Славно умирать!"—крикнул он, бросился в гущу татар и начал крошить их своим страшным оружием..."

Вдруг вижу: через две скамейки спереди, по партам, вытаращив глаза, ползет Шенрок. Протянул длинную свою руку, схватил меня за волосы, больно дернул в одну сторону, в другую, и воротился к себе. Вошел учитель.

Весь урок я волновался, думал,—как отомстить Шенроку, как защитить себя. Дальше так продолжаться не могло. Кончился урок. Ученики, с ранцами на плечах, выходили из класса. Я свой ранец оставил на скамейке, разбежался и изо всей силы ударил обоими кулаками Шенрока в ранец (в ранец! Хоть бы в спину!). Он обернулся, вытаращил круглые свои глаза и с серьезным, неулыбающимся лицом сложил свой ранец на скамейку. Я стоял, сжав кулаки. Шенрок бросился на меня. В памяти у меня осталось впечатление от железных рук, охвативших меня, боль от тяжелого удара по голове, отчаянный мой вопль... Пришел я в себя на извозчике, — гимназический сторож отвозил меня домой. Он рассказал мне, что бил меня Шенрок долго и жестоко, что гимназисты и сторожа еле отняли меня от него.

Шенрока исключили из гимназии. Отец его был лесничий, хорошо был знаком с папой. Мать его от этой истории заболела с огорчения. А мальчик злобно заявлял, что, когда он теперь со мною встретится, то расправится уж не так. Страшный этот возраст мальчиков между 14 и 16 годами: в эти годы как будто все черти в душе срываются с цепей, а все добрые гении сконфуженно отлетают прочь. Две не-

дели родители не пускали меня в гимназию, — боялись, чтоб меня где-нибудь не подстерег Шенрок.—Вскоре его родители увезли его из Тулы.

Очень меня тоже обижал Марчевский Михаил. Раз этого самого Марчевского здорово потрепал силач нашего класса, Кулин Василий. Схватил его за шиворот, наклонил под прямым углом лицом вниз и так стал водить по всему классу. Мне ужасно приятно было смотреть на такое унижение моего всегдашнего обидчика. Я прыгал вокруг и злорадно хохотал. Кулин, наконец, отпустил Марчевского. Марчевский выпрямился—с красным лицом и злыми, униженными глазами,—кинулся на меня и обоими кулаками ударил меня в живот. Я покатился под парту и долго лежал, стараясь вздохнуть, и никак не мог. С трудом отдышался.

Папа очень любил повторять такие стихи (кажется, Федора Глинки):

Чтобы жить было легко
И быть к небу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко.

Очень он еще любил и часто повторял языковское переложение одного псалма:

Кому, о, господи, доступны
Твои Сионски высоты?
Тому, чьи мысли неподкупны,
Чьи целомудренны мечты,
Кто дел своих ценою злата
Не взвешивал, не продавал,
Не ухищрялся против брата
И на врага не клеветал...

— Именно, — мысли неподкупны, целомудренны мечты! Кто на врага своего не клеветал! Это невеликая заслуга, — быть неподкупным и целомудренным на деле, не клеветать на своего друга. Будь даже в мыслях неподкупен, будь целомудрен в самых своих тайных мечтах, не клевещи даже на самого твоего жестокого врага,— вот тогда ты, действительно, достоин приблизиться к богу.

Анекдоты он любил рассказывать такого рода:

Один англичанин решил разобрать у себя в саду кирпичную стену, остаток прежней оранжереи. Сын его просил сделать это непременно при нем. Отец дал ему слово. Но, когда пришли рабочие, он забыл про свое обещание, и стену разобрали в отсутствии сына. Сын напомнил отцу про данное ему слово. Тогда отец велел опять сложить стену и разобрать ее в присутствии сына. Отцу говорили:

— Какая нелепость! Какой бессмысленный расход! Может же мальчик понять, что тут не было злого умысла, что отец просто забыл.

Англичанин ответил:

— Пусть лучше я потерплю убыток, но пусть мой сын знает: нет таких причин, которые бы могли оправдать нарушение раз данного слова!

Очень меня раз папа удивил, — такой он высказал неожиданный взгляд по вопросу, для меня совершенно бесспорному, во всех Майн-Ридах решавшемуся совершенно одинаково. Я однажды сказал брату

— Месть — благородное дело!

Папа услышал.

— Месть — благородное дело? Друг мой! Мстят — лакеи! В мщении всегда заключено что-то глубоко лакейское, оно всегда страшно унижает того, кто мстит.

Несколько десятков лет уже прошло с тех пор. И только теперь я соображаю, как упорно и как незаметно папа работал над моим образованием, и как много он на это тратил своего времени, которого у него было так мало.

Когда я был в пятом классе, папа предложил мне прочесть вместе с ним немецкую книгу „Richard Löwenherz", — переложение вальтер-скоттова романа „Айвенго". Красивая книга с великолепными раскрашенными картинками: турнир с опрокинутыми на песок железными рыцарями, красавица-блондинка возлагает лавровый венок на голову преклонившего колена рыцаря, красавица-брюнетка готовится выброситься из окна перед наступающим на нее рыцарем-тамплиером. Мы с детства знали немецкий язык, у нас всегда были немки. Но, когда подросли, начали забывать язык. И вот, папа предложил мне читать с ним по вечерам немецкую книгу и сказал, что когда мы ее всю прочтем, он мне даст три рубля. Три рубля! У меня дух захватило от такой огромной суммы. Способности у меня были очень хорошие, память великолепная, гимназические уроки я готовил легко и быстро, времени свободного было достаточно.

И вот каждый вечер, часов в девять, когда папа возвращался с вечерней практики, мы усаживались у него в кабинете друг против друга на высоких табуретках за тот высокий, двускатный письменный стол-кровать, о котором я рассказывал. Я читал и отыскивал в словаре незнакомые слова, папа их записывал в тетрадку. К следующему дню я должен был эти слова выучить, — и чтение это начиналось с того, что папа у меня спрашивал слова. Потом читали дальше. И здесь опять папа с напряженнейшим интересом следил за подвигами таинственного рыцаря с опущенным забралом, за любовью Дю-Буа-Жильбера, за силачом Фрон-де-Бефом.

Он садился на свою табуретку и, потирая руки, говорил:

— Ну-ка, ну-ка, как у Дю-Буа-Жильбера пойдет дальше с этою Ревеккою?

Я вполне был убежден, — папа читает со мною потому, что и ему самому все это ужасно интересно. А теперь я думаю: сколько своего

времени он отдавал мне, — и как незаметно, так что я даже не мог к нему чувствовать за это благодарности!

Кажется, чуть не год целый мы читали книгу. Последние две страницы. Кончили, наконец. Я уж собирался получить долгожданные, с таким трудом заработанные мною три рубля. Но тут папа совершил некоторое предательское, — для него совершенно необычное, — нарушение договора. Он потребовал, чтобы я сдал ему еще все выписанные при чтении в тетрадку слова, — и не два-три десятка слов одного урока, а все слова сразу! Их было тысячи две. И я этот кунштюк преодолел, — сдал все слова: папа спрашивал меня, — то с немецкого на русский, то с русского на немецкий, — и слова, которые я знал, вычеркивал из списка, остальные я должен был сдать еще раз. Все слова я сдал в три приема, — и только тогда, наконец, получил мои три рубля.

По Тульской губернии у нас много жило родственников-помещиков, — и крупных, и мелких. Двоюродные дедушки и бабушки, дядья. Смидовичи, Левицкие, Юницкие, Кашерининовы, Гофштетер, многочисленные их родственники. Летом мы посещали их, — чаще всего с тетей-Анной. Мама была домоседка и не любила выезжать из своего дома. Тетя-Анна все лето раз'езжала по родственникам, даже самым дальним. Была она очень родственная.

Прежде всего встают в воспоминании: полевые просторы, медленные волны по желтеющим ржам, пыльная полынь и полевая рябинка по краям дороги, прыгающие перед глазами крупы лошадей, облепленные оводами. И запах луговых цветов, конского пота и дегтя,— этот милый запах летней дороги. И вольный, теплый ветер в лицо.

Потом помнятся усадьбы дворянские. Разные: одни — с просторными комнатами и блестящими полами, широкие каменные террасы, заросшие диким виноградом, липовые аллеи и цветники; другие усадьбы — с маленькими домиками, крытыми тесом, с почерневшими и шаткими деревянными террасами, с дворами, густо заросшими крапивою. Но везде одинаково — ощущение своего барственного происхождения и непохожести своей на мужиков.

Я родился через шесть лет после освобождения крестьян, — значит, крепостного права не застал. Но когда вспоминаю деревню в мои детские годы, мне начинает казаться, что я жил еще во время крепостного права. Весь дух его целиком еще стоял вокруг.

Едем в тарантасе по дороге. Мужики в телегах сворачивают в стороны и, когда мы проезжаем мимо, почтительно кланяются. Это вообще, все встречные мужики, которые никого из нас даже не знали,— просто потому, что мы были господа. К этому мы уж привыкли и считали это очень естественным. И, если мужик проезжал мимо нас, глядя нам в глаза и не ломая шапки, мне становилось на душе неловко и смутно, как будто это был переодетый мужиком разбойник.

И когда я жил у наших родственников-помещиков, я всегда чувствовал это почтительное отношение к себе мужиков и дворни. Звали:

„барин"; смотрели ласковыми глазами, умиленно улыбались на мои ребяческие выходки. А тут же рядом, если то же самое сделает их собственный мальчишка, — грубый окрик или подзатыльник. Создавалось ощущение, что я сам по себе какой-то очень хороший, что мы особенная порода, не то, что эти мальчишки с сопливыми носами и вздутыми, как шары, животами, в грязных холщевых рубашках, пахнущих дымом. Я, конечно, был великодушен и снисходителен, разговаривал с ними, играл. Но и они меня искренно считали каким-то как бы высшим существом, и я так же искренно считал их существами низшими. Все они были очень милые, — и ребятишки, и бородатые их отцы, и рано постаревшие матери, но, конечно, все они стояли где-то там, далеко внизу, и была к ним нежно-задумчивая, приятная душе жалость.

Но часто случалось, — вдруг это самопочитание начинало колебаться и уплывать, и охватывал стыд за себя, и я казался себе ниже стоящим и презренным. Это было во время работ: когда длинною цепью косцы двигались по лугу, жвыкая косами, в крепком запахе свеже-срезанной травы, или когда метались душистые стога, под шуточки парней и визги девок, или в золотисто-полутемной риге, под завывание молотилки, в веселой суете среди пыли и пышных ворохов соломы. Все — загорелые, пахнущие здоровым потом, исполненные величавой какой-то надменности и презрительности к неработающим. В чистенькой своей рубашечке, с безмозольными руками, я с завистью и подобострастием глядел на них, и было чувство щемящего какого-то одиночества, отчужденности, — недостойности своей быть с ними наравне. За работами наблюдал дядя в парусиновом пиджаке или тетка в синей блузе. Мне казалось, что и на их лицах я в такие минуты читаю то же чувство некоторой приниженности и конфуза. И вдруг странно становилось: этот толстый, неработающий человек в парусиновом пиджаке, — ему одному принадлежит весь этот простор кругом, эти горы сена и холмы золотистого зерна, и что на него одного работают эти десятки черных от солнца, мускулистых мужчин и женщин.

Путешествие по Москве

СЕРГЕИ МАЛАХОВ

1

Сколько улиц по Москве накручено!—
Не запомнишь, если не привык.
Но у каждой, даже самой скученной,—
И своя осанка и язык.

Вот идешь и стоит засутулиться,
Закачать плетьми тяжолых рук,—
Под руку берет нежданно улица
И ведет, нашоптывая вслух.
И у каждой остановки маленькой
О своих богатствах говорит:
То покажет древние развалины,
То заплещет заревом зари,
То ведет, ведет и посторонится
(Кажет храм Спасителя Христа),
То плáточек приоденет вольница,
Фабрикой нарядна и проста.

2

Вот идешь и видишь: в экипажах
Барыней Петровка разлеглась.
Не возьмет тебя и не уважит,—
Затолкает к переулкам в грязь.
А сама бела и духовита,
Модными нарядами кичась,
Скажет Долгоруковской:—А вы-то?—
Вы со мной знакомы были, князь!
Обе повернут на Поварскую,
По Большой Садовой прошагав,
И как раз—
В компанию мужскую!
— О, mon Dieux!
Да кто же с вами, граф?

Перед ними, расступясь попарно,
Наглухо захлопнув сюртуки,
Кляняются, шаркая шикарно,
Дипломатские особняки!

Ну и пусть!—пойдем, товарищ, дальше:
Видишь, Пресня Красная дымит?
Все равно до время не ударишь
Яростной ногою о гранит.
Обогнем зверинец, вспыхнет глянец
Озера, прилегшего дугой.
И в лицо ударит, как румянец,
Дымный ветер радостью тугой.
И опять, как позади когда-то,
Вместе с потом жизни трудовой
Вдруг пахнет нежданно и богато
С баррикады дым пороховой.

И пройдешь, событьями овеян,
Под конвоем фабрик и теней
По широким и косым аллеям
Улиц,
Переулков,
Площадей!

3

Эх, Москва!—купчиха москворецкая
И заводов бухнущих Москва!—
Отчего привязанностью детскою
От тебя кружится голова?

Эх, Москва!—и до чего ж накручено!
Сколько улиц, что за крепкий зык!
И у каждой, даже самой скучной,—
И своя осанка и язык!

ИЗ ПРОШЛОГО

Из неизданной переписки Н. Г. Помяловского

ВАСИЛИЙ ГИППИУС

Публикуемые материалы из переписки Н. Г. Помяловского — одно письмо Помяловского и 4 письма к нему—принадлежали М. А. Новокрещеных, проживающей в Перми; письма достались ей от покойного мужа, Н. Н. Новокрещеных, в молодости встречавшегося с Помяловским в Петербурге и дружившего с ним. В настоящее время письма приобретаются Пушкинским Домом. Ни одно из писем не датировано, но приблизительной датировке все они поддаются сравнительно легко. Письмо Писемского к тому же и без обращения, и только семейное предание заставляет считать адресатом Помяловского: по содержанию оно может быть отнесено и не к нему.

Располагаю письма в хронологическом порядке, в сопровождении краткого комментария. Сохраняется пунктуация подлинников, и отступления от общепринятой орфографии.

1. А. Ф. ПИСЕМСКИЙ—Н. Г. ПОМЯЛОВСКОМУ (?)

Переводы у меня зависят не от меня, а от Зарина. Потрудитесь обратиться к нему, и он, если что возможно, сделает. Адрес Зарина в Спаском (sic) переулке против Преображенья в д. Красовского.

вам пре[данный]

А. Писемский.

Независимо от этого я и сам напишу Зарину.

Письмо следует датировать 1859 или 1860 гг.—т.-е. годами ближайшего сотрудничества Писемского и Е. Ф. Зарина в «Библиотеке для чтения». О каких и даже о чьих переводах идет здесь речь—установить невозможно; переводы в «Библ. для чт.» помещались анонимно. Трудно также думать, что какое-либо содействие мог оказать Помяловскому Е. Ф. Зарин, если судить по его, правда, позднейшей оценке, данной им деятельности и личности Помяловского в «От. Зап.» 1865, № 4—5 («неудавшийся... захваленный друзьями и критикой» и т. п.—писатель). Впрочем, я обратился с просьбой о возможных раз'яснениях к вдове Е. Ф. Зарина.

2. Н. А. НЕКРАСОВ—Н. Г. ПОМЯЛОВСКОМУ

Так как существование *Очерка* уже не подлежит сомнению (я слышал, что Вы его на-днях читали), то мы наверное расчитываем (sic) на него для № 4-го. Не обманите надежд наших, Николай Герасимович! Пришлите с подателем.—

Мы просим Вас и прозой и стихами
Сжальтесь над нами!
bis...

Неперестающий надеяться
Н. Некрасов.

Речь идет, конечно, о *третьем* из «Очерков бурсы»—«Женихи бурсы», напечатанном в апрельской книжке «Современника» за 1863 г. (первые два напечатаны в журн. «Время» 1862 г.). Датировать письмо следует временем *до* 20 апреля 1863 г. (дата цензурного разрешения 4-й книжки) и после 5 февраля того же года (дата ценз. разрешения двойной книжки за январь—февраль; мартовская разрешена 15 февраля).

3. А. Н. ПЫПИН—Н. Г. ПОМЯЛОВСКОМУ

Видите ли, почтеннейший Н. Г., *я* собственно не могу дать вам и десятой части суммы, которая Вам нужна, потому что у меня самого в настоящую минуту дома 10 целковых. Деньги могут быть получены только из редакционных, т.-е. у Панаева. Это во всяком случае потребует хлопот, след. и времени. Надо подождать, и о результате я вас извещу.

Ваш А. П.

Как видно из двух следующих писем—записка эта представляет собою ответ на недошедшее письмо Помяловского, «ответа на которое» он «ожидал у под'езда». Поэтому и комментарий к ней должен быть об'единен с комментарием к двум следующим письмам.

4. Н. Г. ПОМЯЛОВСКИЙ—А. Н. ПЫПИНУ

Александр Николаевич!

Я был у Вас с письмом, ответа на которое ожидал у под'езда. Я писал, что мои обстоятельства в настоящее время, такого рода, что потребуют 150 р., а если не будут (sic) их, то мне придётся шляться по городу, от'искивая кредиту, теперь скажу, хоть сто на сто. Это Вас не касается, и редакция нисколько необязана выручать меня; но, послушайте, что же я стану делать? Статью «Каникулы» во что бы то ни стало, хоть бы голова кололась надвое, я Вам дам. Но бурсы в настоящий месяц не могу представить, тем более, что в пятницу, из Ваших слов, косвенно брошенных, я увидел полное нежелание редакции помещать мои статьи о бурсе. Н[о] ладно. Я могу напечатать статью, не помещая в каком либо журнале, отдельно, в издании своих очерков. Я *обязуюсь* Вам представить только «Каникулы»,

после чего бросаю вовсе (sic) литературные занятья. Если правда, как говорил мне Благовещенский, что достаточно 10 л[истов] п[еч.], что бы покрыть мой долг «Современнику», то долг будет покрыт с лихвою. Опротивела мне цензурная литература, опротивела даже бурсацкой инструкции. Я дела хочу, а не сипондряции... Не будет дела, не найду его, буду пить мертвым поем... Похлопочите у Некрасова о 150 р. Эти деньги, собственно говоря, не мне нужны, а одной девице, которой г-жа Суслова откупорила дыру. Вам будет (sic) в следующем месяце даны «Каникулы». Следовательно, мой долг «Современнику» покроется вполне. «Брат и сестра» не дам <потому>[1]) теперь же <жгу роман в печи> рву все тетради этого романа. Так и знайте. Можете, для оправдания пред публикою, отпечатать, что Помяловский лично виноват в ненапечатании «Брат и сестра».

5. А. Н. ПЫПИН—Н. Г. ПОМЯЛОВСКОМУ

Николай Герасимович! Мы с вами кажется немного не понимаем друг-друга, и мне хотелось бы, чтоб это непонимание раз'яснилось. Я пробую это сделать.

Вы как будто недовольны мной за то, что я отвечал тогда на ваше письмо, и припоминаете, что вы ждали ответа у под'езда.—О последнем я всего больше жалею. Мне кажется, что наши отношения были довольно просты и достаточно искренни для того, чтобы Вы сами сказали мне, в чем дело. Вы получили бы мой ответ, не дожидаясь у под'езда. Когда вы вошли, я по своей близорукости (дома я очень редко надеваю очки) даже не мог разглядеть вас, хоть между нами было несколько шагов. Еслиб *я предвидел* подобную вещь,—будьте уверены, что я бы вовсе не стал отвечать вам на под'езд; но служанка сказала, что вы никак не хотели войти. Мне было очень странно отвечать «на под'езд» человеку, от которого я мог бы ждать к себе некоторого доверия.

Если я вам написал, что у меня самого было в пятницу только десять рублей, так что я никак не мог бы сам удовлетворить вашему желанию,— я сказал не совсем правду; денег было у меня еще меньше.

До сих пор вы повидимому не получили ответа от Панаева, или получили отрицательный: сам я пока об этом не имею еще известия. Я писал Панаеву, и напишу ему еще раз, потому что мне хотелось бы по возможности помочь вашему затруднению. Но поверьте, пожалуйста, что диктаторской власти над кассой Совр. я вовсе не имею. Вы можете спросить хоть у Головачева, вмешиваюсь ли я вообще в денежные дела Современника. — Теперь нужны истр. деньги для жены Черн[ышевского]; я не позволил себе взять их из кассы, — хотя предвидится возможность заработка.

Что касается «Бурсы», вы говорите, что по словам, брошенным мной *косвенно*, Совр. неохотно печатает ваши бурсацкие. Говорить косвенно я вовсе не имел нужды. Я сказал вам прямо то, что думал, не меньше: именно, что я считал бы удобнее пустить бурсацкий очерк несколько

[1]) В оригинале слова, заключенные нами в < >, зачеркнуты. *В. Г.*

позднее, в самых простых видах—по возможности разнообразить чтение, предлагаемое подписчику. Заключение о неохоте печатать ваши бурсацкие рассказы вообще—выведено неправильно.

Как отнесется Совр. к вашим «Каникулам», это еще трудно сказать, потому что никто еще не читал из них ни строки. Но вы ставите нам как будто в упрек, что мы отнеслись к его идее отрицательно. Да еслиб это и случилось—не вам на это жаловаться и упрекать кого-нибудь за это. Разве вы считаете иное мнение непозволительным, не допускаете другого взгляда на вещи, который несколько расходится с вашим. Да впрочем об этом еще речь далеко впереди.—Если бы действительно Совр. не согласился с идеей вашего романа, вы очень спокойно можете издать его отдельной книгой. Это бы разрешило дело очень просто.

Вы хотите бросать литературную деятельность. Я в этом особенной храбрости не вижу; у вас есть талант, т.-е. известного рода оружие,—а вы хотите бросить его и дать тягу. Что же, вы поступите на службу?—Если вы так испугались Веселàго, ваш испуг пройдет, когда вы захотите присмотреться к делу. Волка бояться и в лес не ходить. Нет-с, люди, истинно желавшие делать дело, таких вещей не пугаются. Вы мне можете поверить: я таких людей видал и очень знаю, из времен (первые 50-е года), которые были похуже нынешних.

До свиданья.

Вам преданный

А. Пыпин.

Оба письма, как и предыдущую записку, следует датировать одним из летних месяцев 1863 г., так как начиная с июня (а фактически, повидимому, и с мая) по август Пыпин, за от'ездом Некрасова в деревню, принял на себя исполнение обязанностей редактора «Современника». За это время до смерти Помяловского (5 октября ст.ст.) в «Современнике» был напечатан только один очерк Помяловского—«Бегуны и спасенные бурсы» в июльской книжке (ценз. разр. 5 июля). Из содержания письма не ясно, собирается ли Помяловский «представить», хотя и не в этом месяце, именно этот очерк, или речь идет о задуманной, но еще не написанной серии—«Переходное время бурсы», отрывок из которой напечатан уже после смерти Помяловского.

Под «Каникулами» разумеется неосуществленный замысел романа «Каникулы или гражданский брак». Роман «Брат и сестра» Помяловский особой запиской обязался предоставить в распоряжение Некрасова (см. Архив села Карабихи, № 136; записка не датирована). Отрывок «Андр. Фед. Чебанов» напечатан уже после смерти Помяловского, в октябрьской книжке «Совр.» за 1863 г.; остальные сохранившиеся отрывки см. во II томе собр. сочинений (изд. «Просвещения» или Лит. отд. НКПроса). Как видно из разночтений письма, Помяловский выбирал выражения для уничтожения романа: зачеркнув «жгу роман в печи», написал «рву все тетради этого романа», в действительности же, тетради романа, по крайней мере, некоторые—уцелели. Никакого об'явления с обвинением Помяловского в «Современнике» не появлялось.

Долг Помяловского «Современнику», по данным, сообщенным В. Е. Евгеньевым-Максимовым («Практичность» Некрасова в освещении цифровых и документальных данных» «Вестник Евр.» 1915, № 4), к 1 января

1864 г. равнялся 1991 р. 17 к. и, вероятно, был за смертью его списан. В настоящем письме речь, повидимому, идет о сумме меньшей.

Веселàго — фамилия цензора.

Ответ Пыпина Помяловскому нельзя не признать мало убедительным. Если и допустить, что по близорукости Пыпин не разглядел Помяловского в нескольких шагах, то ведь из письма он мог убедиться, кто̀ к нему писал, и из слов служанки мог понять, кто̀ не хотел войти. Что значат слова о доверии? В том ли выразилось недоверие, что Помяловский не вошел в кабинет Пыпина непрошенный?

«Диктаторской власти» над кассой «Современника» Пыпин, конечно, не имел, однако в «денежные дела» в других случаях отчасти вмешивался, как видно из фактов, сообщенных в названной уже статье В. Е. Евгеньева-Максимова. Так, в мае того же 1863 г. Пыпин, списавшись с Некрасовым, добился того, чтобы Слепцову было выдано авансом 300 руб., как он и просил, а не 100 руб., на чем настаивал И. А. Панаев. Очевидна в отношениях Пыпина к Помяловскому гораздо большая сдержанность, чем в отношении к некоторым другим сотрудникам. Вопрос о том, какую роль в этой сдержанности играли личные причины и личная психология, приходится, по недостаточности материалов, оставить в стороне. Независимо от этого, публикуемые письма дают небезынтересный эпизод из истории литературного быта 60-х г.г. Можно думать, что в среде, условно именуемой демократической, «разночинской»,—намечалось свое расслоение, свои верхи и низы, образовавшиеся вокруг большого журнального хозяйства. Отражением своеобразного антагонизма между этими верхами и низами является, между прочим, книжка Ник. Успенского «Из прошлого». От нее принято отворачиваться, как от книги клеветнической, но если не искать в ней подлинных фактов, если отнестись к ней, как к литературному произведению,—окажется любопытной и основная тема книги и отдельные ее ситуации.

Между прочим, в этой же книге мы найдем любопытный комментарий к иронической фразе Пыпина: «Вы хотите бросить литературную деятельность?.. Что же. Вы поступите на службу?». Как оценивалось чиновничество и чиновничья служба автором «Молотова»—известно, а вот что он сам, как бы отвечая Пыпину, говорил Ник. Успенскому, сообщение которого в этом случае можно, кажется, счесть правдоподобным:

— Слушай, Успенский!.. ведь мы с тобой сила... не правда ли? Давай, бросим литературу!.. Ведь ты очень хорошо знаешь, что ее судьбами заправляют эксплоататоры, которые высасывают из нас кровь...

— Ну, а чем же мы с вами будем заниматься?

— Во-первых, откроем булочную... Это, я тебе скажу, очень выгодно... потому что тут главную роль играет припек... затем сами будем издавать какой-нибудь дневник или газету...

Как видим, от мысли «поступить на службу» Помяловский был дальше всего.

О преодолении лирики в творчестве Блока [1])

ВИКТОР ГОЛЬЦЕВ

I

Александр Блок, по справедливости, считается одним из крупнейших русских лириков. Существо его творчества обычно определяют, как поэзию л и р и ч е с к у ю. Мы находим ряд утверждений, что именно в лирике и т о л ь к о в лирике Блок нашел себя, обнаружил всю мощь и весь блеск своего литературного дарования. Ни драматургия Блока, ни его критические работы, ни его публицистика не могут сравниться с тем, что было создано поэтом в области лирической. Принято думать, что, как критик и публицист, как мыслитель, Блок почти ничего оригинального и действительно ценного нам не оставил. Истинная сущность поэта, по мнению многих критиков, раскрывается исключительно в его лирических стихотворениях. Все «статейки», им написанные, вся прозаическая часть его литературного наследства якобы не заслуживает серьезного внимания: Блок—«поэт и только поэт» [2]). Все наши представления о Блоке должны, таким образом, укладываться в узкие рамки, отведенные для поэта-лирика.

Мы не будем заниматься здесь выяснением вопроса о том, какую роль в истории русской культуры сыграла критическая и философская мысль поэта, а также, насколько она была близка современной эпохе. Это подлежит специальному рассмотрению. Но мы постараемся в сжатом,

---

[1]) В основу настоящей статьи положен доклад, прочитанный 13 мая 1926 г. в ГАХН на заседании Моск. Ассоциации по изуч. творчества Ал. Блока. Пользуюсь случаем выразить свою признательность вдове поэта—Л. Д. Блок, его тетке—М. А. Бекетовой, И. М. Брюсовой, Н. А. Коган и Б. Н. Бугаеву (Андрею Белому) за разрешение пользоваться неизданными материалами и письмами.

[2]) См.: Иванов-Разумник—«Александр Блок—Андрей Белый» («Алконост», П. 1919); Илья Эренбург—«Портреты русских поэтов» («Аргонавты», Берлин, 1922); Сергей Бобров—«Символист Блок» («Красная Новь», М. 1922, № 1 (5); П. Губер.—«Гражданские мотивы в поэзии Блока» («Литературн. Записки», П. 1922, № 3).

схематическом виде показать, что понятие поэзии л и р и ч е с к о й не покрывает существа всей поэзии Александра Блока и что его творческое развитие вело к совершенно иным литературным формам.

Творчество Александра Блока в этом отношении глубоко отличается от творчества Сергея Есенина. Есенин—лирик по преимуществу; его драматические опыты («Пугачов», «Страна негодяев») неизмеримо слабее его лирических стихотворений. Монументальные и строгие формы трагедии были ему совершенно недоступны.

Должен оговориться, что традиционное деление поэзии на жанры—лирический, эпический и драматический—представляется нам несколько условным и недостаточно определенным. Самый термин «лирика» толкуется различными исследователями далеко не одинаково. Едва ли, например, может быть признано удовлетворительным следующее определение Б. Томашевского: «К лирическим жанрам принадлежат стиховые произведения малого размера» [1]). Однако, за отсутствием более точной терминологии, нам приходится пользоваться существующей.

Если мы раскроем первый том собрания стихотворений Блока, то нам придется признать, что здесь мы имеем дело с весьма ярким и типичным представителем лирической поэзии. Блок помнил, как с самого детства на него набегали постоянные «лирические волны» [2]). С ранних лет лирическая стихия была ему знакома, понятна и доступна. В лирике он действительно впервые проявил себя, как большой художник слова, достойный упоминания наряду с лучшими поэтами эпохи.

«Стихи о Прекрасной Даме» являются, по большей части, образцами чистой лирики. Повествовательная, фабульная сторона в них еще чрезвычайно слабо выражена. Описательные мотивы окрашены весьма эмоционально и не имеют автономного значения. О явлениях внешнего порядка поэт говорит, как о переживаниях своей души; об'ект здесь совершенно неотделим от суб'екта. Почти все эпитеты Блок употребляет в соответствии с чисто-личным отношением к тем или иным явлениям и предметам. «Пейзаж» в развитом и самостоятельном виде еще отсутствует. Он занимает Блока только, как необходимый фон, как способ выражения личных переживаний. Образы природы по существу тоже лиричны и взяты лишь в сопоставлении с творческим «я» художника:

Пусть светит месяц—ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье—
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.

---

[1]) «Теория литературы». ГИЗ. Л. 1925, стр. 183. Р. Мюллер-Фрейенфельс также считает *краткость* одним из существеннейших признаков лирической поэзии. См. «Поэтика», Харьков, 1923, стр. 138.

[2]) См. автобиографию Блока («Русская литература XX века» под ред. С. А. Венгерова, изд. «Мир», вып. 6). Перепечатано в сб. «Памяти Блока». Изд. «Полярная Звезда». П. 1922.

Так начинается первый том стихотворений Блока. Такие же приемы использования «пейзажа» можно отметить здесь на каждом шагу [1]).

Иной вид лирического жанра мы встречаем у большинства русских поэтов XIX века, например, у Тютчева и Боратынского. Оба они—лирики, но их лирика носит об'ективный и философский характер. Образы внешнего мира отчетливо отделены от внутренних переживаний поэта.

Второй том стихотворений Блока существенно отличается от первого. События и действия не являются здесь лирическим развертыванием неподвижной словесной темы, а, напротив, зачастую имеют *фабульную* напряженность и *фабульное* разрешение, свойственное скорее эпической, чем чисто-лирической поэзии [2]). Такие стихотворения, как «Сказка о петухе и старушке», «Сын и мать», «Повесть», «Митинг», «Легенда»—заключают в себе последовательно переданные фабульные мотивы. Образы природы имеют уже не вспомогательное, а самостоятельное значение. «Пляски осенние», «На перекрестке...», «Осень поздняя. Небо открытое»..., «Осенняя воля» и другие стихотворения обнаруживают яркий и живописный пейзаж. Автобиографический элемент в значительной мере ослабевает; реже встречаются стихи, напоминающие дневник, построенные в форме «лирического монолога».

Все это не ускользнуло от такого замечательного литературного критика, как Валерий Брюсов. В критической заметке о «Нечаянной Радости», написанной им еще в 1907 г., мы находим следующие строки: «А. Блок скорее эпик, чем лирик, и творчество его особенно полно выражается в двух формах: в драме и в песне» [3]).

II

По своей природе современная Блоку лирика была обращена во внутрь, к суб'ективным переживаниям, а не к явлениям социальной жизни. Вот почему намерение поэта приблизиться к общественности и его отказ от принципов «чистого искусства» сочетались со стремлением преодолеть лирическую стихию своего творчества.

В период создания «Стихов о Прекрасной Даме» и отчасти «Нечаянной Радости», основная теза Блока заключалась в утверждении индивидуальной свободы творческой личности, полной автономии художественного творчества. Какие-либо тенденции не должны связывать художника: он может творить то, что пожелает, ибо ему принадлежит

---

[1]) Ср. у Мюллера-Фрейенфельса: «В то время, как для эпика и драматурга об'ективный мир ценен сам по себе, для лирика он только символ жизни его чувствований» (стр. 137).

[2]) Примечательно, что Блок, отзываясь с большой похвалой о книге Сергея Городецкого «Перун», между прочим, писал в то время следующее: «Городецкий имеет полное право называть свои стихи не только лирическими, но и лиро-эпическими, потому что красная нить событий пронизывает лирику».—Статья «О лирике». См. «Золотое Руно» за 1907 г., № 6, стр. 48.

[3]) См. «Далекие и близкие». Изд. «Скорпион». М. 1911. Стр. 161.

мир. Ему необходимо оставаться совершенно независимым в творческом сочетании тех образов, которые он получает путем индивидуального опыта. «*Так я хочу*. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим,—он перестанет быть лириком» [1]).

Но в скором времени Блок начинает тяготиться специфически-лирическими свойствами своей поэзии. Мало-по-малу им осознается необходимость выйти в мир, на действительную свободу из «голубой темницы» лирики. И творческое развитие Блока идет далее уже не в направлении борьбы с конкретными явлениями реальной жизни. Поэту становится ясно, что отход от всего действительного и эмпирически-данного не может привести к истине. Возникает стремление преодолеть свой индивидуализм и установить социальные связи [2]). Несомненно, что революция 1905 г. оказала в этом отношении огромное влияние на сознание Блока, ускорила и углубила кризис его индивидуализма.

Поэт видел в то время тревожные лица людей, все еще живущих обособленной жизнью, но на которых уже отчетливо выделялось «страстное желание найти на чужих лицах ответ, слиться с другой душою, не теряя ни единого кристалла своей» [3]). Прежний, индивидуалистический лозунг лирического поэта: «так я хочу»—был оставлен. Блок совершенно новым языком заговорил о «проклятии искусства» и об «общественном служении». Поэт задумался над тем, что представляет собою лирика наших дней и что она дает людям.

Ему стало ясно, что лирическая поэзия XX века глубоко отличается от лирики прежних времен. Она измельчала, лишилась способности передавать цельные, большие ощущения, утратила былую убедительность своего пафоса. Начало нашего века—есть эпоха *лирическая*. Лирические элементы преобладают, проникают во все виды литературного творчества. Лирические ноты начинают к этому времени доминировать в рассказе, в повести и в романе. Современная драма также становится драмой *лирической*. Даже работа теоретического порядка оказывается зараженной лиризмом. «Вместительная стихия спокойной эпической поэмы, или буйной песни, одушевляющей героев, или даже той длинной и печальной песни, в которой плачет народная душа,—эта стихия разбилась на мелкие, красивые ручьи» [4]).

Подобные литературные явления Блок об'яснял явлениями окружающей жизни. Душа человека того времени была исполнена всевозможных сомнений, сложнейших противоречий, утонченных и еле уловимых переживаний. Запечатлеть все эти жизненные моменты, передать «шатание пьяных умов и брожение праздных сил» в эпоху общественной реакции может лишь лирика—«гибкая, лукавая, коварная». Лирика

---

[1]) См. «Зол. Руно» за 1907 г., № 6, стр. 42.

[2]) Эта тема развита нами в статье «Проблема реализма в творчестве Блока» (Журн. «Печать и Революция», 1926, кн. 4).

[3]) «Драм. театр В. Ф. Комиссаржевской. Письмо из Петербурга». Альманах «Перевал», № 2. М. 1906.

[4]) Статья «О драме». См «Золотое Руно» за 1907 г., № 7—9, стр. 122.

оказалась, прежде всего, именно искусством «передачи тончайших ощущений». Лирик стал подобен сложному и тонкому музыкальному инструменту, воспроизводящему одинаково, без выбора и предпочитания «самые противоречивые переживания» [1]).

Мы видим, что Блок дает далеко не положительную оценку лирической поэзии той поры. Беспощадно анализируя внутреннюю и социальную природу лирики, поэт приходит к выводу, что она «не принадлежит к тем областям художественного творчества, которые учат жизни» [2]). В ней все слишком субъективно и хаотично, нетвердо и зыбко. Отражая противоречивую многосложность современной души, лирика, по самой своей сущности, остается слишком безответственной и безответной. Она не дает никаких «указаний жизненного пути», ничем не может помочь ищущему человеку. В этом смысле—«лирик ничего не дает людям» [3]).

Отвечая в 1907 г. на нападки Д. В. Философова, Блок еще острее формулировал свое критическое отношение к лирическому началу в творчестве: «Источником доброй половины моих тем служит *ненависть к лирике*, родной и близкой для меня стихии» [4]).

Этой формулировке Блок оставался верен до конца своей жизни. В письме своем к Н. А. Коган от 17 января 1916 г. Блок писал по поводу книги П. С. Когана «Пролог» [5]), между прочим, следующее: «На странице 48 цитированы мои слова, которые я говорил, ограничивая себя и внутренне осуждая «лирику», которую я любил тогда (да и всегда) *любовью ненавистнической*» [6]).

Несомненно, что с 1906 г. вопрос о преодолении лиризма стоял для Блока чрезвычайно остро. Недаром он приветствовал Сергея Городецкого за его стремление к эпическим формам из «родимого хаоса» лирики. Но еще более надежным маяком, способным осветить творческий путь, Александр Блок уже в то время считал драму [7]).

III

По мнению Блока, Ибсен был последним великим драматургом в Европе. Гауптман, Габриэль д'Аннунцио, Метерлинк, Гофмансталь, Пшибышевский, Шницлер знаменуют собою упадок европейской драматургии. «Уже иным из этих писателей выпало на долю отнять у драмы героя, лишить ее действия, предать драматический пафос, понизить металлический голос трагедии до хриплого шопота жизни» [8]). Современ-

[1]) Предисловие к «Лирическим драмам». Изд. «Шиповник». П. 1908, стр. 10.

[2]) Там же, стр. 9.

[3]) «Зол. Руно» за 1907 г., № 6, стр. 41.

[4]) Статья «Три вопроса». См. «Зол. Руно» за 1908 г., № 2, стр. 56. Курсив Блока.

[5]) Изд. Я. М. Нейенбурга (первое). П. 1915.

[6]) Набранные курсивом слова подчеркнуты Блоком. Речь идет о цитате из предисловия к «Лирическим драмам». Цитирую по подлиннику.

[7]) См. «Зол. Руно» за 1907 г., № 6, стр. 50.

[8]) См. «Зол. Руно» за 1907 г., № 7—9, стр 127.

ная лирика оказала губительное влияние на драму. Не стало высокой, героической драмы, отражающей борьбу и глубокие жизненные противоречия. Утонченные petites drames Метерлинка характерны своей лиричностью, миниатюрностью, отсутствием *героя* в подлинном смысле этого слова. В русской драматургии можно отметить то же самое явление. Например, в драмах Чехова несомненно преобладает лирический, «душевный» элемент; Чехов также обходится без «героя». В лирической драме вообще «над действием господствует туман» [1]). Она представляет собою особый род драматургии, далекий от подлинной, об'ективной драмы и трагедии.

Первые три драмы Александра Блока были именно драмами *лирическими*, в которых, по слову самого поэта, были лишь показаны в драматической форме «переживания отдельной души, сомнения, страсти, неудачи, падения» [2]). Образы Пьеро в «Балаганчике», Поэта—в «Короле на площади» и другого Поэта—в «Незнакомке» представляют собою не настоящих действующих лиц, а различные свойства души одного и того же человека. Они были использованы Блоком в качестве приема выражения сложной лирической темы. В ту пору Блок действительно был лириком, тем «сложным инструментом», который способен воспроизводить «самые противоречивые переживания», но из творчества которого невозможно сделать никаких «идейных» выводов, нащупать твердый и необходимый путь

Но недаром у Блока было так сильно развито устремление к театру, к этой «столь близкой и родной» для него стихии [3]). Как уже говорилось выше, в эпоху создания лирических драм Блока перестали удовлетворять доступные ему формы художественного выражения. В высшей степени показательны следующие строки, написанные Блоком Вс. Э. Мейерхольду 22 декабря 1906 г. по поводу постановки «Балаганчика» в театре Комиссаржевской: «Мне нужно быть около Вашего театра, нужно, чтобы «Балаганчик» шел у Вас; для меня в этом—очистительный момент, выход из лирической уединенности» [4]). В том же письме Блок высказал свою заветную мысль о творчестве: «Мне кажется, что это не одна лирика, но есть в нем [5]) и остов пьесы».

«Король на площади» написан под непосредственным влиянием революционных событий 1905 года. По удачному определению Н. Д. Волкова, пьеса представляет собою обнаружение творческого кризиса, возникшего у Блока «из противоречия между уединенным лирическим путем и вставшей во всю ширь социальной проблемой» [6]). Самого Блока его

---

[1]) См. там же.

[2]) Предисловие к «Лирическим драмам». стр. 10—11.

[3]) Письмо к В. Я. Брюсову без даты (октябрь 1907 г.). Цитирую по подлиннику.

[4]) «Искусство и Труд», № 1. 1921. Цитирую по книге Николая Волкова: «Ал. Блок и театр». М. 1926, стр. 68 — 69. Об отношении Блока к лирике и к театру см. также интересные «Воспоминания об Ал. Блоке» Сергея Городецкого («Печать и Революция», 1922, кн. I).

[5]) Т.-е. в «Балаганчике».

[6]) Николай Волков, стр. 50.

драматический опыт во многом не удовлетворял. Поэт настойчиво и напряженно искал новых литературных форм, новых стилистических приемов, созвучных эпохе. Вот что писал Блок 17 октября 1906 г. Валерию Брюсову по поводу этой пьесы: «Я не знаю, как бы Вы отнеслись к ней, сам я не вполне ею доволен и с формальной и с внутренней стороны... Техникой я еще мало владею. Боюсь несколько за разностильность ее, может быть, символы чередуются с аллегориями, может быть, местами я—на границе старого «реализма». Но, в сущности, так мне хотелось, и летом, когда я обдумывал план, я переживал сильное внутреннее «возмущение». Вероятно, революция дохнула в меня и что-то раздробила внутри души, так что разлетелись кругом неровные осколки, иногда, может быть, случайные. Вообще, кое-что, в чем упрекают меня, я хотел сам, и сделал так не от неумелости. В другом, конечно, я грешен, и надо писать еще и еще; и опять очень хочу драматической формы, а где-то вдали—трагедии [1]).

Тяготея таким образом к формам драмы и трагедии, Блок уже в те годы старался проводить в своем творчестве принцип «равномерного распределения материала», отделяя лирические мотивы от мотивов драматических и прозаических. В письме своем к В. Я. Брюсову от 24 марта 1907 г. Блок писал, между прочим, следующее: «Понемногу учась драматической форме и еще очень плохо научившись прозаическому языку, я стараюсь все больше отдавать в стихи то, что им преимущественно свойственно—песню и лирику, и выражать в драме и прозе то, что прежде поневоле выражалось только в стихах» [2]).

Все то же томление по трагедии, пока еще недоступной, все ту же мысль о преодолении лирики, противоречивой и отрицательной в современной ее форме, мы находим в статье «О реалистах». Блок выражал тогда надежду, что развеется и сгинет тот «лирический и магический, хотя и прекрасный, но страшный сон, в котором пребывает литература» [3]).

«Песня Судьбы» представляет собою новый этап драматургического развития Блока. Ценность этой малоудачной пьесы или «драматической поэмы», как ее позднее назвал поэт, заключалась для него в том, что она уже во многом отличалась от драм лирических. 3 мая 1908 г. Блок писал своей матери: «Это первая моя вещь, в которой я нащупываю не шаткую и не только лирическую почву» [4]).

Очень скоро лиризм был окончательно осознан поэтом уже как «драма его миросозерцания», как нечто требующее коренной внутренней переработки. И хотя Блок полагал, что он «до трагедии еще не дорос», он находился на прямом пути преодоления «болотистых лесов лирики» и приближения к твердым трагическим формам. «Быть лириком жутко и весело,—писал Блок Андрею Белому 15—17 августа 1911 года.—За

---

[1]) Цитирую по подлиннику.
[2]) Цитирую по подлиннику.
[3]) См. «Зол. Руно» за 1907 г., № 5, стр. 65.
[4]) Цитирую по копии.

жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь—и ничего не останется» [1]). Влияние современной лирики, способной передать тончайшие ощущения души, отрицательно сказывается на развитии драмы и трагедии.

Мы можем лишь в общих формах догадываться о том, как совершалась у Блока борьба между лирикой и трагедией. Памятником этой борьбы для нас осталась уже не лирическая в своей основе драма «Роза и Крест». Нельзя согласиться с Н. Д. Волковым, полагающим, что эта пьеса является «лишь новым выражением лирической драматургии Блока, а не ее преодолением» [2]). Здесь скорее драматизируются об'ективные сценические события, чем суб'ективные переживания «отдельной души». Едва ли «Розу и Крест» можно определить, как драму *одного* человека. Свой драматический путь свершает не только «рыцарь-несчастье» Бертран, но и Гаэтан. Роль Гаэтана в драме никак нельзя свести на роль «спутника» Бертрана. К тому же, первоначальные (неизданные) варианты «Розы и Креста», представляющие собою огромный интерес, совершенно нарушают представления о «монодрамности» пьесы: Гаэтан выступает там в качестве активной силы, противоборствующей Бертрану. Мы ощущаем в драме приближение героя и склонны оценивать ее, как большой шаг поэта к созданию драмы об'ективной.

IV

Со свойственной ему проницательностью Блок ощущал наступление тревожного, сурового и героического периода истории, не дающего широкого простора для лирической поэзии:

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!

Каждый поэт, не желающий утратить связь с эпохой, а напротив—стремящийся закрепить и усилить эту связь—должен искать новых, нелирических путей. Нужна максимальная четкость и твердость в художественном творчестве, умение ориентироваться в событиях социально-политической жизни. Народ и общество *производят* художника, выделяют его из своей среды, пред'являют к нему определенные требования. Он должен творить, оставаясь самим собой и принадлежа в то же время обществу.

В дальнейшем, великая европейская война и великая русская революция довершили развитие взглядов Блока в этом направлении [3]).

Но уже в дореволюционные годы Александр Блок считал, что художникам всех направлений суждено рано или поздно вернуться «в ряды русской общественности». За обычными вопросами о формах искусства

---

[1]) Цитирую по подлиннику.

[2]) Волков, стр. 113.

[3]) Об отношении Блока к теории «искусство для искусства» см. нашу заметку в журн. «Искусство—трудящимся», 1925, № 37.

(«как»?) и о его содержании («что»?) перед поэтом неизбежно возник третий вопрос—«о необходимости и полезности художественных произведений», о их социальном значении. В творческом сознании Блока стала преобладать забота о пользе и долге, о том, что должно быть в искусстве и чего быть не должно («к чему»? и «зачем»?). Этим «проклятым» вопросом, поставленным самой жизнью, живой действительностью, испытывается сила и подлинность каждого художника, ибо в наши дни *долг* является исключительным обнаруживанием «ритма души человеческой»[1]). Лишь испытывая силу непосредственной связи с народом и обществом, сознавая долг, свою огромную ответственность перед ним,—художник способен «ритмически итти единственно необходимым путем». Истинный, «призванный» художник, различивший голос долга, влекущий к «трагическому очищению», обязан преодолеть и разрешить третий вопрос: достигнуть той вершины искусства, где польза совпадает с красотой. «Может быть, на высотах будущей трагедии новая душа познает единство прекрасного и должного, красоты и пользы». Эстетические представления о «прекрасном» гармонически сочетаются с этическими суждениями о должном. Миру будет явлена «свободная необходимость». Установится новое понятие «прекрасного долга», утвердится сознание красоты должного.

«Подробностей пути» Блок не определял, а лишь указывал это основное устремление к трагедии: «из болота—в жизнь, из лирики—к трагедии. Иначе—ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мраморы жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни»[2]). За шумом от разрушения существующих театральных форм поэт слышал «где-то, в ночных полях. неустанный рог заблудившегося героя»[3]).

К созданию поэмы «Возмездие» Блок приступал уже с сознанием того, что художник должен твердо, мужественно и бесстрастно измерять все явления мира, постигать за случайными его чертами общее и неслучайное, отделять темное от светлого, злое от доброго и прекрасного:

Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд—да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты—
И ты увидишь:—мир прекрасен.

В то время Блок уже оценивал «Нечаянную Радость» и свои лирические драмы, как необходимо пройденный путь к трагедии. «Теперь, когда он уже пройден,—писал он Андрею Белому из Шахматова 6 июня 1911 г.,—я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе—*«трилогия вочеловечения»*—от мгновения слишком яркого света—через необходимый болотистый лес—к отчаянью, проклятиям, «возмездию» и... к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно

[1]) См. «Зол. Руно», 1908, № 2, стр. 56—58 и след.
[2]) Письмо к Андрею Белому от 1 октября 1907 г. Цитирую по подлиннику.
[3]) «Зол. Руно» за 1908 г., № 2, стр. 58—59.

испытывать годный и негодный материал, вглядываться в контуры «добра и зла»...—ценой утраты части души. Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда неопытным юношей вздумал тревожить темные силы—и уронил их на себя. Потому отныне *я не лирик*» [1]).

Можно с уверенностью сказать, что зрелому Блоку было присуще *трагическое* миропонимание, восприятие не только наших дней, но и самого строя мировой жизни, как *трагедии*. Традиционное пессимистическое мировосприятие не было свойственно поэту, оптимизм же он определил позднее в «Крушении Гуманизма», как присущее эпигонам старой культуры «несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть на мир, как на целое». Носитель оптимистического сознания не в состоянии бесстрастно измерить и осмыслить все многообразие жизненных явлений. По мнению поэта «ключ к пониманию сложности мира» может дать одно лишь «*трагическое* миросозерцание» [2]). То же понимание поэт выявляет в своем дневнике: «Оптимизм, свойственный цивилизованному миру, сменяется трагизмом, действенным отношением к явлению, знанием дистанций, умением ориентироваться» [3]).

Трагическому театру суждено сыграть большую социальную роль. Монументальный стиль трагедии наиболее соответствует величественным размерам нашей эпохи [4]).

Несомненно, что в последний период своего творческого развития, начиная приблизительно с 1910 года, Блок был уже человеком чисто трагического типа. По мнению поэта,—«порядок мира тревожен», противоречив, антиномичен и трагичен. Существо трагизма заключается для него в коренном и глубоком расхождении, внутреннем несоответствии между мировой действительностью и духовной природой человека. Неизменно совершающаяся трагедия в любой момент жизни человека готова неожиданно обнаружиться, когда он меньше всего ее ожидает.

Океану, ветру и звездам
Дела нет до страстей человека!

—говорит Бертрану Гаэтан в одном из неизданных вариантов «Розы и Креста» [5]).

Трагический мыслитель отрицает возможность окончательного успокоения человека в мире. Напротив, жизнь исполнена беспокойства, страдания и борьбы. Именно в борьбе, «в беспокойстве и тревоге», а не в мещанском благополучии находит трагик смысл существования [6]). Он

---

[1]) Набранное курсивом подчеркнуто самим Блоком. Цитирую по подлиннику.

[2]) «Крушение Гуманизма». См. собрание сочинений. Изд. «Эпоха», 1923, т. VII, стр. 320.

[3]) Запись в Дневнике от 7 апреля 1919 г. Цитирую по копии.

[4]) «Б. Драматический театр в будущем сезоне». См. «Жизнь Искусства», № 130 от 7-го мая 1919 г., или собр. соч., т. IX, стр. 242—243.

[5]) Вторая редакция. Пачка IV. Цитирую по подлиннику.

[6]) См. малоизвестную статью Блока «Искусство и Революция» в газете «Жизнь Искусства», №№ 223 и 224 от 23 и 24 августа 1919 г.

мужественно борется со всеми препятствиями, встречающимися на его пути, даже если у него нет надежды на благополучный исход. «Смысл трагедии»—читаем мы в Блоковском Дневнике,—«*безнадежность* борьбы; но тут нет отчаяния, вялости, опускания рук» [1]).

Человеческое существование представлялось Блоку тяжелым бременем, даже каким-то проклятием и вместе с тем—чем-то прекрасным, наполняющим душу беспредельным восторгом. Именно об этом поет перед Изорой Гаэтан:

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовет океан [2]).

Человеку, как бы ни была тяжела его жизнь, не следует приходить в отчаяние. Он не должен отворачивать свое скорбное лицо от окружающего мира. И Бертран, главное действующее лицо «Розы и Креста», убеждает себя в необходимости продолжать жизненную борьбу:

Нет, ты неси это бремя,
В мире проклятом живи! [3]).

Боль и страдание могут претвориться в радостное отношение ко всему живому. От настоящей скорби—суровый, но самый прямой путь ведет к настоящей радости.

Общие категории «счастья» или «несчастья» неприложимы к носителю трагического миропонимания. Он не бывает счастлив или несчастлив в обыденном и плоском значении этих слов. Ему ясна вся иллюзорность зыбкой детской мечты о счастье. Возвышаясь над этой мечтой, он постигает, что счастье все равно не может наполнить существование человека,

Что сей несбыточной мечты
И на полжизни б не хватило.

В конечном смысле—человек счастья может и не хотеть. Для того, чтобы общемировая жизнь была постигнута и осмыслена, ему надо не только проверить и пересмотреть свою собственную жизнь, но и преодолеть вообще свое малое, душевное «я», возвысившись до осознания «я» большого, сверх'индивидуального, коллективного. В моменты высшего

---

[1]) Дневник поэта за 1911 г., тетрадь II, 14 ноября. В этот период создания первых фрагментов «Возмездия» и работы над «Розой и Крестом» особое значение для Блока имело тютчевское стихотворение: «Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно» (Запись в том же Дневнике, 13—14/XI). Цитирую по подлиннику.

[2]) Первоначально (первая редакция: май—июнь 1912 г.) текст был такой:

И понял я безначальный
И бесконечный
Мира восторг!
(Цитирую по подлиннику).

[3]) Эти слова содержатся лишь в черновых, неизданных вариантах драмы (Первая редакция). Цитирую по подлиннику.

трагического успокоения мир окидывается как бы новым, просветленным взором. Исход найден: страдание принимается и благословляется поэтом. Недовольство судьбой сменяется у него постижением прекрасного и благого смысла бытия. Подобный момент изумительно передан в третьей главе «Возмездия»:

По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушенным садом,
И небо—книгу между книг.
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненной,
И в этот несравненный миг—
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь—
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир прекрасен—как всегда.

V

Изживание Блоком своего «лиризма», как психологической основы творческого процесса, сопровождалось, как уже говорилось выше, значительным отходом от лирической формы.

Если мы обратимся сейчас к III тому Блока, то найдем в нем большое количество стихотворений повествовательного характера. Правда, как совершенно справедливо указал проф. С. В. Шувалов[1]),— повествовательные стихотворения зачастую не дают здесь развитого сюжетного построения и не образуют настоящей фабулы. К подобному типу стихотворений можно отнести: «Песнь Ада» (1909), «Осенний вечер был...» (1912) и многие другие. Но в таком стихотворении, как «На железной дороге» (1910) мы имеем фабульное напряжение, причинное сочетание событий и фабульное разрешение — гибель женщины под поездом. Совершенно невозможно причислить к чисто лирическим стихотворениям «Шаги Командора» (1912), «На поле Куликовом» (1908), «Авиатор» (1912), «Петроградское небо мутилось дождем...» (1914), все стихотворения цикла «Totentanz» (1912) и ряд других. Пользуясь выражением самого Блока, можно отметить здесь «красную нить событий», несвойственную лирической поэзии. Поскольку для чистой лирики характерен субъективизм, сосредоточение поэта на темах личных, а не

[1]) «Формы и композиция лирики Блока». Доклад, прочитанный в Ассоциации по изуч. творчества Ал. Блока 22 апреля 1926 г. После того, как наша статья была сдана в набор, из печати вышла обстоятельная и ценная книга Е. Ф. Никитиной и С. В. Шувалова «Поэтическое искусство Блока» (изд. «Никитинские Субботники», М. 1926), в которую вошла указанная работа С. В. Шувалова.

социальных,—цикл «Ямбы», имеющий яркую общественную окраску, мы также не можем назвать чисто-лирическим.

В 1911 г. создается значительная часть поэмы «Возмездие», имеющей в своей основе концепцию не лирическую, а определенно трагическую (судьба рода) и почти ни одного чисто-лирического произведения. Сравнительно полнозвучным в лирическом отношении является 1914 год, но дальше лирическая стихия Блока все более и более оскудевает, ибо к этому времени поэт не только перестает быть лириком, но быть им, в сущности, почти уже не может. В творчестве Александра Блока последнего периода выделяются «Двенадцать», «Скифы» и ряд замечательных статей о культуре и революции. Поэтом уже не было создано ни одного лирического стихотворения, которое могло бы соперничать с его прежними шедеврами. Разумеется, не приходится отрицать, что к лирическому жанру принадлежат лучшие произведения Блока. Но, утверждая это, мы обычно оперируем со стихотворениями, относящимися во всяком случае не позже чем к 1914 году. Показателен и тот факт, что за несколько месяцев до смерти Блок снова приступил к работе над «Возмездием». Лирическая стихия уже не влекла к себе поэта, как прежде.

Конечно, Блок не достиг той вершины трагического искусства, на которую он звал. Став трагическим мыслителем,—трагическим художником, создателем новой трагедии сделаться он не смог. Трагические черты нового искусства еще недостаточно определились, как не определились еще и самые черты нового, грядущего на нас мира. Мы в состоянии пока лишь гадать о том, что, быть может, изменится самое понятие о герое, что героем на трагической сцене будущего, быть может, выступит народная масса. Мы знаем, что отождествлять признаки трагедии, перед которой остановился Блок, с известными нам принципами трагедии античной—невозможно [1]). Сейчас мы не в состоянии точно определить даже основные элементы блоковского трагизма. Самим поэтом природа новой трагедии вскрыта далеко не до конца. И не случайно громадный замысел «Возмездия» остался незавершенным, и не вследствие внешних причин Блок не создал ни одной трагедии. Но почти через все его творчество красной нитью проходит столь характерная для нашей эпохи борьба любимой и ненавидимой им лирики—с твердыми и четкими трагическими формами.

[1]) Развитие этой темы не входит в рамки нашей статьи.

Критические заметки

БЛЕФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

I. О наших литературных нравах, о богеме, о В. В. Маяковском, о Поприщине и Фердинанде VII, а также о джаз-банде, готовящемся к обще-советскому выступлению

I

Н. И. Бухарин в «Злых заметках» среди других остатков нашего «рабского прошлого» отметил внутреннюю разнузданность, интеллигентское самомнение, хулиганство. С этими именно «цветочками» нередко приходится иметь дело нашей литературе. Статья моя «Леф или блеф»[1]) и была попыткой ударить по этому больному месту. «Разнузданность» и «самомнение» должны быть выжжены каленым железом. Иначе—какая будет цена нашему «левому» фронту?

По той же причине нельзя пройти мимо «отклика» «Н. Лефа», вызванного моей статьей.

Ни одного замечания по существу! Ни малейшей склонности вникнуть в смысл моих обвинений. Нет даже попыток принципиальной самозащиты! Ничего, кроме ругательств, которые, будучи даже напечатаны, остаются все же непечатными.

Это обстоятельство и заставляет меня еще раз привлечь внимание он читателя к «Н. Лефу». Потеряв чувство действительности, он продолжает насаждать в нашей литературе те самые «нравы», которые мы сейчас хотим истребить до тла.

II

В. В. Маяковский, в редкие, впрочем, минуты, не лишен правильного понимания характера этих «нравов». Так, в последней книге «Молодой Гвардии» он поместил свою оправдательную речь (в стихотворной форме) на воображаемом процессе, где обвиняемым был сам поэт. Кое-

[1]) Напечатана в №№ 46 и 48 «Известий» за этот год.

какие опасения, очевидно, тревожат его сознание. Не потому ли он «авансом» хочет оправдаться перед читателем? Вот как определяет В. Маяковский «бытовое явление» наших дней:

Законы
не знают
переодевания,
а без
преувеличенности
хулиганство—
это
озорные деяния,
связанные с неуважением
к личности[1]).

Вот определение, против которого ничего не могу возразить! Но ведь «неуважение к личности»—это именно и характерно для «Н. Лефа». «Протокол о Полонском», которым ответил Леф на мои «заметки», этим именно «неуважением» и замечателен! Мне нет поэтому необходимости искать более авторитетной квалификации «протокола». Она дана самим Маяковским. Но разве такое «самоопределение» в чем-нибудь Лефов оправдывает? Нисколько. Оно говорит лишь о том, что на деле «Н. Леф» равнодушен к борьбе, которую ведем мы в нашем быту с остатками бескультурья. Больше того. Лефы как будто задались целью представить скандальнейшие образцы самого дурного тона. Нельзя без смеха вспомнить их надутые губы, когда они в свое время подверглись критике Сосновского и Лебедева-Полянского. «Так нельзя полемизировать»,—писали Лефы в замешательстве. Но ни Сосновский, ни Лебедев-Полянский в полемике с ними не доходили до такой «неуважительной» словесности, какою орудуют они сами.

Можно было бы, разумеется, игнорировать эту «словесность». Но ведь она есть факт общественный, поскольку просачивается в литературу, да еще на «левом фронте», да еще под флагом «всегдашней борьбы за коммунистическое искусство» (передовица в № 1 «Н. Лефа»). «Законы не знают переодевания»,—справедливо замечает Маяковский. И нет такого положения, чтобы советские законы, обязательные для всех граждан, для «Лефов» не были писаны. А в этом игнорировании «законов» сказывается старая богемская закваска наших футуристов. Богема—остается богемой даже тогда, когда меняет желтую кофту на красную, если при этом она не забывает старых богемских привычек. Самой характерной чертой богемы, особенно ее бунтовавших представителей,—были именно «интеллигентское самомнение», гипертрофия индивидуализма, самовлюбленность, высокомерие, «наплевизм» на все, что вокруг. Эти черты характерны и для «Лефа», называющего себя «Новым». Они более всего заметны в фигуре вождя русского футуризма. Поэтому несколько слов о Маяковском.

---

[1]) Курсив мой.

III

Богема—всегда и везде была вместилищем необычайного самомнения. Непризнанные гении, отвергнутые новаторы, литературные неудачники, выгнанные рецензенты, поэтические оболтусы, стихофоны и стихомели, постоянно поглядывающие на себя в зеркальце, влюбленные в себя, упоенные мощью своего голоса, нередко полуграмотные, невежды и нахалы, крикуны и забияки—они из глубин своего литературного дна с презрительным высокомерием поплевывали на все, что под руку попадется—на Атлантический океан, на Шекспира и Пушкина, на Венеру Милосскую. Эту основную черту богемской психологии лаконично в свое время выразил Маяковский:

Я над всем, что сделано,
Ставлю—«nihil» («Облако в штанах»).

В черте этой, едва ли не самой характерной, отразились, конечно, огорчения и обиды, а больше всего самолюбие и славолюбие. Отсюда гениальничанье, бахвальство, пристрастие к «буму», болезненная страсть привлекать внимание преимущественно скандальными средствами, беззастенчивость, наигранный титанизм, постоянная ходульность, желание поместиться на головах своих ближних, попирая их сапожищами.

Все это нашло необычайно мощное выражение в творчестве вождя «Н. Лефа». Предо мной лежит книга «Все, сочиненное Маяковским»—литературный памятник, воздвигнутый богемой. Наша литература не имеет другого образца, в котором столь же пышно был бы отражен облик гениальничающего богемца, крикуна и нигилиста. Цикл 1912 года открывается стихотворением «Я», а дальше следуют «*несколько слов о моей жене*» и «*несколько слов о моей маме*», и «*несколько слов обо мне самом*»—как много этого самого «Я»—не слишком ли много для одного человека? Но пред нами только начало! Дальше мы встречаем трагедию *(трагедию!)*, озаглавленную «*Владимир Маяковский*»,—главным действующим лицом в ней является поэт Владимир Маяковский, а затем идет ода «*Я и Наполеон*»,—из этой оды читатель узнает, что Наполеон рядом с автором—щенок и пылинка. Упоенный собственным величием, поэт грозится:

возьму и убью солнце,

а несколькими строками ниже, отказавшись, к счастью для человечества, от этого намерения, он приглашает людей:

Люди!
будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце с'ежится аж!

Люди призыву не последовали—и солнце не «с'ежилось аж». Но поэт не унывает—не «с'ежилось аж» сегодня, «с'ежится аж»—завтра. Солнце от него не уйдет, а пока оно на небе, поэт чрезвычайно доволен собой.

Мир огромив мощью голоса,
Иду—красивый,
Двадцатидвухлетний...

читаем мы в поэме «Облако в штанах». Но лишь сущая скром-

ность заставляет его пользоваться словом «иду». В другом месте он говорит: «*версты* улиц взмахами шагов *мну*»—потому что он титан, каких еще не бывало, и Геркулесовы столбы, которые поставил когда-то некий мифологический герой,—это его, Маяковского, столбы, и пора бы перестать называть их Геркулесовыми, потому что разве от Геркулеса, пусть даже мифологического, вы слышали что-нибудь подобное:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду.

И гордо, руки в брюки, поэт проходит мимо неба, почтительно склонившего выю. И в поэме «Война и Мир» (в русской литературе есть две «Войны и Мира»—одну «Войну» написал Лев Толстой, ну, а другую—Маяковский)—так вот в этой «другой» «Войне и Мире»—поэт обращается к Нерону:

Нерон!—здравствуй!

и просто недостатком времени можно об'яснить, что он на ходу, между делом, не утер носа Александру Македонскому, с которым должен быть, конечно же, на «ты».

И пусть читатель, который впервые знакомится с литературным путем нашего Лефа,—не удивляется и не восклицает:

— Да ведь это бедный чиновник Поприщин, вообразивший себя Фердинандом VII!—

читатель будет неправ. Перед нами не Поприщин, а бунтующий богемец, который хочет как-нибудь так изловчиться, чтобы весь мир ахнул.

Период, когда написаны эти стихи,—был периодом бунта Маяковского против мещанства. Но это был в то же время *мещанский бунт*, бунт богемы, которая сама являлась рафинированным, утонченным, заостренным мещанством. Оттого-то бунт и принимал *опереточный*, фарсовый характер, оттого-то *трагедия* «Владимир Маяковский» в свое время прозвучала как «*трезо-фарс*», а самого «трагического героя» нельзя было отличить от циркача, развлекающего веселящуюся публику. И хотя наш автор этого не замечал и уверял всех, будто у него «гвоздь в башмаке»

кошмарней, чем фантазия у Гете,

никакого кошмара из его фантазии не получалось, потому что в этом кошмаре все было холодно, взвешено, обдуманно, приведено в систему, но систему маленькую, несмотря на ее псевдо-титанический размах. Мещанство, даже бунтующее, перестало бы быть самим собой, если бы способно было на охват поистине гениальный: оттого-то лейт-мотивом бунта Владимира Маяковского оказывается уязвленное «я», на которое кто-то наступил ногой, совершенно пьяный эгоцентризм, невероятное самолюбование, отвратительное даже в подлинных талантах, и совершенно немыслимое для настоящих гениев.

Невероятно себя нарядив,
Пойду по земле,
Чтоб нравился и жегся,
А впереди,
На цепочке, Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
Заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут—
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!» («Облако в штанах»).

Но не «губы вещины»—это сам поэт «цацкается» с собой, носится со своим «я», называя себя *«величайшим* Дон-Кихотом», вставляя «солнце монноклем»—в свой «широко растопыренный глаз» или обращаясь в пространство с такими словами:

Славьте меня
Я великим не четал!

Или рассуждая о себе в таком стиле:

Короной кончу?
Святой Еленой?
Бури жизни оседлав валы
Я равный кандидат
И на царя вселенной
и на
кандалы («Флейта позвоночника»).

Это может испугать иного слабонервного читателя. Явное безумие, нечто среднее между циркулярным психозом и бредом параноика. Но спешу успокоить слабонервного читателя: желтый дом нашему Дон-Кихоту не грозит—хотя нелюбовь к врачам и именно к психиатрам у него налицо. Маяковский здоровехонек и переживет многих «умных психиатров», но он и в самом деле одержим манией величия, развившейся не на патологической почве, а на почве мещанско-богемского подражания жестам и ухваткам великих мира сего.

Мы читали у Лермонтова:

Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый
избранник...

и Пушкин написал однажды:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.

Но разве может итти в какое-нибудь сравнение с этими скромными самооценками наших настоящих гениев—бахвальство богемцев, которые и сами не верят в свои собственные измышления? Оттого-то противен Бальмонт, скандировавший:

Я изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты—предтечи.

А ведь именно Бальмонт стал прививать богемцам разнузданное самовосхваление, и после него уже не звучало оригинально:

Я гений Игорь Северянин.

Следом за ними, по их стопам, шагает Маяковский—лишь доведя до гомерических размеров свой поэтический эгоцентризм. Ни у какого другого поэта нельзя встретить такого циничного самоупоения, как у автора «Я и Наполеон». Его поэма «Человек» состоит из 6 глав: «*Рождение Маяковского*», «*Страсти Маяковского*», «*Вознесение Маяковского*», «*Маяковский в небе*», «*Возвращение Маяковского*», «*Маяковский в веках*».

Иной читатель заметит: Ну, что ж. Все это—«грехи молодости»—было да прошло! Быль молодцу не укор.

Читатель и здесь ошибется. Не все «грехи молодости» проходят без следа. Эгоцентризм—из породы таких «грехов». И вся ведь беда в том, что годы прошли, много годов, а наш гениальничающий богемец остался прежним. Правда—когда-то

красивый двадцатидвухлетний

ныне он отяжелел, обрюзг.

Грузный мужчина, под сорок, «сед височный блеск», но замашки остались те же: в 1927 году перед нами все тот же крикун, который мог бы повторить свои давние слова:

Ору, а доказать ничего не умею.

Эгоцентрик на наших глазах превращается в *эксцентрика*, в «мистера-буфф», в «чемпиона нашей улицы», в «любимца здешних мест», по-старому готового предупредительно совать руку Неронам и Наполеонам. Попрежнему, как в дни, давно минувшие, смотрится он в ручное зеркальце и шарит глазами по сторонам: в какой бы ему океан плюнуть и не влезть ли на колокольню Ивана Великого—с помощью Родченки и фото-монтажа. И если пятнадцать лет назад он грозился погасить солнце, то теперь, как в свое время с Нероном, он с солнцем за пани-брата, на ты, старые товарищи:

И скоро,
дружбу не тая,
бью по плечу его я.
И солнце то же:
«Ты
да я,
ведь нас, товарищ, двое» («Солнце»).

Время другое, — но стиль прежний: *нарцис, кокетничающий с вечностью*. Ему ничего не стоит с'ездить на два-три месяца за море, ничего там не увидеть, а газетный репортаж свой, сухой и скучный, шикарно озаглавить:

«Мое открытие Америки».

Это совсем в **его** духе,—ухарски перышком виляя, подмахнуть:

Письмо *писателя*
Владимира Владимировича Маяковского
Писателю Алексею Максимовичу Горькому.

И я искренно буду удивлен, если наш доморощенный Колумб завтра не настрочит «послание Виктору Гюго»,—или что-нибудь в этаком роде: «Эй, вы Байрон, извиняюсь!»—ведь совсем еще недавно с изысканной галантерейностью расшаркивался он перед Пушкиным:

«*Александр Сергеевич, позвольте представиться—Маяковский*».

Эта развязность, это желание шикануть «свободой манер»—«пронзить» до печенок восхищенную галерку—все это было когда-то дерзанием, поэтической гиперболой, бунтом, правда, мещанским, против авторитетов, признанных великанов и т. п. Все это звучало в свое время весьма забавно. Но *теперь* это превратилось **в штамп**, и просто непонятно, как друзья Маяковского ему этого не укажут, не раз'яснят. «Гениальничанье», «титанизм» сделались привычкой очень скучной, потерявшей прелесть новизны и дерзости, приевшейся и потому надоевшей. Оттого-то мы уже без удивления, а с неприятным чувством читаем в одном из последних стихотворений поэта:

А Некрасов
Коля
сын покойного Алеши.

Или вот эти строки Пушкину:

После смерти
нам
стоять почти что рядом
вы на Пе,
а я
на Эм.

В одном сатирическом журнале не без остроумия заметили «величайшему Дон-Кихоту», что в русском алфавите между М. и П., между Маяковским и Пушкиным, есть две буквы, составляющие некоторое «**НО**».

Но этим «**НО**» Маяковского не смутишь. Курьезнее всего то, что, находясь во власти штампа, заштамповавшись до крайней степени, он глубочайше убежден, будто именно здесь-то он и вводит совершенно «*новую традицию*» в русскую поэзию. Но позвольте спросить: что нового в этом похлопывании по плечу безответного Александра Сергеевича? И так ли уж оно оригинально, это похлопыванье? Маяковский тешит себя мыслью, что он *первый* придумал это. Но поэт заблуждается. Сто лет назад до товарища Маяковского таким же точно манером того же Пушкина хлопал по плечу «товарищ» Хлестаков: «Что, брат Пушкин?» Николай Васильевич Гоголь очень язвительно посмеялся над Иваном Александровичем—похлопывание по плечу великих мира сего характерно для пошляков всех времен и народов. И традиция, которую сейчас, будто бы, совершенно оригинально и впервые прививает нашей поэзии

партнер Наполеона Бонапарта и собутыльник Нерона, в нашей литературе имеет, оказывается, столетнюю давность.

«Лефы» назовут эту традицию «*маяковской*». Мы заметим, что традиция эта «*хлестаковская*».

Я не хочу сказать, будто Маяковский—Хлестаков русской поэзии. Это было бы чудовищной недооценкой поэтической роли, сыгранной Маяковским. Я нисколько ее не преуменьшаю, она была велика. «Облако в штанах» оставило большой и неизгладимый след на развитии молодой русской поэзии. Если целое поколение русских художников конца XIX века вышло из «Шинели» Гоголя, то целое поколение русских поэтов эпохи 1915—1922 года вышло из «Облака в штанах» Маяковского. Как видит читатель, я не умаляю заслуг нашего поэта. Я предлагаю лишь отделить в поэзии Маяковского то, что есть в ней лучшего и настоящего, от «*маяковщины*», т.-е. от всех тех отвратительных и смешных богемских черт, о которых говорил выше. Они были противны в Игоре Северянине, не менее противны в Маяковском, а, быть может, более противны, потому что Северянин, буржуазный сноб, индивидуалист и эстет, не рядился в тогу пролетарского идеолога, не брался защищать от коммунистов коммунистическую культуру, не организовывал около себя хвост из нулей, которые захватным порядком приписывали себе честь двигать «Историю Литературы». А если к гениальничанью, к опереточному титанизму присоединим еще бахвальство, грубость, бранчливость, нахрап, бесцеремонность, бестактность, малую культурность, даже бравирование ею («ругаюсь, как Маяковский»)—то облик «маяковщины» будет перед нами налицо. Говорим же мы об Есенине и есенинщине. Будем отделять и Маяковского от маяковщины.

И если поэт Маяковский, *как явление нашей культуры*, встретит с нашей стороны положительную оценку, *маяковщина*, как явление нашей *некультурности*, встретит в нас жестоких противников, тем более жестоких, чем популярнее среди молодежи его поэтическое имя.

* * *

Но беда Маяковского не только в том, что он никак не может сбросить с себя ветхого «богемского» Адама и в нашей молодой литературной среде—вольно или невольно является насадителем дурных литературных нравов.

Беда в том, что «гениальничанье», сделавшееся штампом, сопровождается снижением качества его поэтической работы.

IV

Года два-три назад нельзя было представить себе что-нибудь подобное той неряшливости, с какой печатает он теперь свои стихи. Чтобы не ходить далеко за примерами, обратимся к только что вышедшей третьей книжке «Н. Лефа». На стр. 47 поэт вносит «поправки» к своему стихо-

творению «Нашему юношеству», напечатанному во втором номере того же журнала.

Самый факт исправления отдельных выражений, целых строк, внесение новых строчек в стихотворение, уже опубликованное, говорит о том, что поэт «спешит».

Вот какую поправку просит он «припаять» к концу названного выше стихотворения.

Оттенков много во мне речевых.
Я не из кацапов разинь
Я
дедом—казак
другим—
сечевик,
а по рожденью—
грузин.
Три наших нации в себе совмещав,
беру я
право вот это... и т. д.

Разберемся в этой «поправке». Поэт доводит до нашего сведения, что он «не из кацапов разинь». Допустим. Далее поэт уверяет, что он «дедом» казак, «другим»—сечевик, т.-е. тоже казак. Выходит, что у поэта было два деда и оба были казаки. Больше двух дедов иметь, как будто, не полагается, даже если поэт—леф. О бабушках поэт умалчивает. Но каковы бы бабушки поэта ни были, имея двух дедов-казаков, *он ни в каком случае не может быть по рождению грузином.* Это ясно даже октябрятам. Выходит, что, написав такую вещь, поэт, как говорится, дал «зевка». А в свете этого «зевка» теряет убедительность и первое его утверждение. Он, может быть, и не «кацап», но смеем ли мы с такой же уверенностью сказать, что он не «разиня»? Очевидно, можно быть «разиней», не будучи «кацапом».

Этим «зевком», однако, не исчерпывается недоумение, возбуждаемое приведенной выше поправкой. Предположим, что поэт, при двух дедах-казаках, все-таки «грузин». Наше удивление возрастет, когда мы узнаем, что поэт «*совмещав*» **три** нации. Будем считать по пальцам: «по рождению—*грузин*—**одна** *нация*, по деду—*казак*, **вторая** *нация*, по другому—*сечевик*—**третья** *нация*. Но позвольте!!! С каких пор «казачество» вообще и «сечевое казачество» в частности—прослыли нациями, да еще разными??!

Это и значит—спешить—людей смешить. Но ведь, другими словами, такая «спешная» поэтическая работа называется *халтурной* работой! Не лучше ли было бы и для поэзии, и для самого поэта, если бы он вместо того, чтобы хлопать по плечу Пушкина, меряться ростом с «писателем Алексеем Максимовичем Горьким» и тратить время на подыскание себе подходящего монумента—больше времени уделил бы на поднятие качества своей «продукции»?

А ведь та же третья книжка дарит нас еще одним его поэтическим произведением. Оно было бы определенно хорошим, если бы не было испорчено промахом идеологического порядка.

Стихотворение это открывает книжку журнала. Называется оно «За что боролись?» Заключает в себе, между прочим, такие строки:

Нас
дело
должно
пронизать насквозь,
скуленье на мелочность
высмей.
Сейчас
коммуне
ценнее гвоздь,
чем тезисы о коммунизме [1]).

Поэт прав, конечно, подчеркивая «деловитость» нашей борьбы. Но когда он говорит, что «гвоздь» *ценнее* «тезисов о коммунизме»—мы настораживаемся. Где мы слышали такие вещи?

Я *убежден*, что он *хотел сказать не то*, что сказал. Но ведь в искусстве важно, именно то, что *сказано*, а не то, что «хотелось» сказать. Маяковский имел превосходное, вероятно, намерение посрамить «бюрократов», предпочитающих бумажные тезисы—живому, практическому, коммунистическому строительству. Но вышло-то у него не по-коммунистически. Плохо вышло. Такова судьба всякого поэта, даже очень большого роста,—который, влюбленный в «мощь» своего собственного голоса, приобретает губительную привычку обдумывать свои произведения после того, как они напечатаны. Пусть не обижается на меня наш «величайший Дон-Кихот», претендующий «стоять» в веках «рядом» с Пушкиным. Чтобы стоять рядом с Пушкиным, надо хоть отдаленно походить на Пушкина. Среди привычек автора «Медного Всадника» была именно та, отсутствие которой я обнаруживаю в Маяковском: Пушкин умел «думать», не откладывал этого дела на «завтра», когда непродуманное произведение уже вылезало из печатного станка.

А что мы имеем в результате неряшливой поэтической работы? *Недоброкачественный продукт.* Это плохо само по себе. Но еще хуже то, что к этому недоброкачественному продукту *беззастенчиво* привлекается внимание публики—это ведь и было одним из обвинений, брошенных мною «Новому Лефу». Как назвать все это?

Здесь я предоставляю слово т. С. Третьякову. В третьем номере «Лефа» за 1923 год, на стр. 154, отвечая на одно из тогдашних обвинений, С. Третьяков раздельно, по складам, втолковывал своему оппоненту:

«*Шарлатан*—это тот, кто сбывает людям недоброкачественный продукт, маскируя эту недоброкачественность».

«*Рекламист*—тот, кто беззастенчиво привлекает внимание публики к своему продукту».

Так говорит Третьяков. Спорить с ним не хочу, хотя оценка его, по-моему, несколько сурова.

---

[1]) Курсив мой.

Но, сколь бы я сговорчив ни был, я никак не могу согласиться с попыткой «Н. Лефа» весьма своеобразно об'яснить мотивы, руководившие мною, когда я писал статью «Леф или блеф».

Вот как об'ясняют это Лефы.

V

Полонский—по словам Маяковского—«торгаш», «скупщик» и «перекупщик» литературы; Полонский,—добавляет Третьяков,—«один из крупнейших оптовиков строк и имен. Он хочет иметь дело с разобщенными поставщиками товара» и «всю прибыль» Лефа «взять себе в общий котел»,—заканчивает В. Перцов.

Такова «мотивировка», приписываемая мне «Новыми Лефами». Она, равумеется, больше говорит о них, чем обо мне.

Лефы восприняли мою критику как удар «конкурента», «монополиста», «скупщика». Надо ли говорить, что мещанское об'яснение это могло родиться *«нигде кроме, как в Моссельпроме»*. «С кем поведешься—от того и наберешься». До сих пор мы считали литературу *идеологией*. Но приходят Лефы и говорят: *«Да нет, это лабаз»*. Мы думали, что критика, даже плохая—общественная функция. «Ничего подобного!—хитро подмигивают нам Лефы.—*Она к нам в карман норовит!*». Близость к Моссельпрому наложила, оказывается, печать на лефовское мировоззрение. Оттого-то Лефы не способны понять иных мотивов, кроме «торгово-промышленных», и всякую попытку критически оценить их «товар», об'ясняют покушением на их *«прибыль»*, как будто всякая литературная работа, все достижения искусства, кем бы они ни были созданы—не идут именно в «общий» котел, т.-е. не входят в коллективный опыт.

Она не случайна, конечно, эта «торгово-промышленная» идеология. Ибо логически вытекает из богемского прошлого лефов, индивидуалистов, кустарей-одиночек, работавших на потребителя-мещанина, скупавшего их на фунты, задешево.

Оттого-то и напирают они на мотивы «купли-продажи», «прибылей», «монополизма» и т. п. Таковы практические выводы, которые «Леф» делает из теории «социального заказа». Прочтите стихотворение Н. Асеева «Через головы критиков» в «Н. Мире» (кн. XI, 1926), его же статью в № 10 «Журналиста» за 1926 г., и вы увидите, что не «полемический азарт» руководил «Лефами», когда они обзывали меня «скупщиком» литературного материала. Они и в самом деле смотрят на литературу, как на кустарное производство, на свое творчество, как на товар, который можно продавать,—иногда даже *сразу в несколько мест*. Ведь только в свете такого толкования можно понять выполнение Маяковским заказов для «Моссельпрома». Правда, заказ «Моссельпрома» — не «социальный» заказ. Но это только на первый взгляд. При желании, не без ловкости рук, можно доказать, что и через посредство «Моссельпрома» поэту вручает «заказ» «социальная» эпоха. Но если даже и не признать за Моссельпромом права быть рупором «социальной» эпохи, это дела не изменит. По теории Лефов—в таких взаимоотношениях между Моссельпромом и

поэтом, «жмавшим» руку самому Нерону и открывшим Америку, нет ничего зазорного, иначе разве писал бы он моссельпромовские стишки?

Дело просто: поэт—«мастер», «ремесленник» слова, продает не только «рукопись», но и «вдохновенье». Поэтому стишки Маяковского о Моссельпроме не простая халтура, но халтура, так сказать, принципиальная. Поэты Лефа не только «мастера» слова, но еще и «продавцы». Именно усвоив точку зрения «*продавца*», — можно совершенно последовательно трактовать редактора как «*скупщика*», «*перекупщика*», деятельность которого, с этой точки зрения, делается ясной, как апельсин.

Надо заметить, что и здесь, в сотрудничестве с Моссельпромом, Лефы тешили себя гордой мыслью, что это они «*первые*» вводят *новую традицию* в нашу литературу. Но и здесь я должен их разочаровать. Традиция эта также весьма давнего происхождения. Читатели дореволюционных газет встречали не однажды стихи, подписанные именем «Дяди Михея». Печатались они обычно среди об'явлений. Тогда Моссельпрома не было, и «Дядя Михей» обслуживал отдельные фирмы, преимущественно табачные. Он был поэт, конечно, «никакой». Его, разумеется, как мастера, нельзя ставить на одну доску с Маяковским, **тут и спора быть не может.** Но бесспорно так же и то, что если бы «Дядя Михей» был жив, то не Маяковский, а именно он писал бы рекламные стихи для Моссельпрома—у «Дяди Михея» они выходили живей. И только случайностью можно об'яснить, что наш сверх-поэт выполнял его амплуа.

Но все это мимоходом, к слову, раз зашла речь о «скупщиках» и «продавцах» литературного «товара». Можно было бы подробней поговорить обо всем этом, но мои заметки о Маяковском растянулись—тогда как меня ждут другие члены «комплота».

Кстати: это слово почему-то сильнее других уязвило Лефов.

В. Маяковский, отвергая наименование «*комплот*», пишет с возмущением:

«Нельзя же называть комплотом *оркестр, готовящийся к общесоветскому выступлению*».

Не буду спорить: оркестр так оркестр. Но позвольте добавить—*шумовой*. А шумовой оркестр, как известно, называется иначе «*джаз-банд*».

В дальнейшем мы и будем, в согласии с В. В. Маяковским, именовать «Н. Леф»—для краткости «джаз-бандом». Покинем поэтому на время дирижера шумового оркестра и обратимся к рядовым его членам.

II. О джаз-банде „Виктор Шкловский, Левидов, Чужак и К°“

Но нас
футуристов
Нас всего—быть может— семь.
В. Маяковский

I

Их в самом деле семь—если не считать В. Перцова, в существовании которого вообще можно усомниться.

И подумать только — небольшой оркестр, — а как много шуму!

«Шумики, шумы и шумищи»,—если воспользоваться словами Маяковского.

Таков именно джаз-банд:

Но чтоб грохот был,
Чтоб гром («Приказ по армии искусства»).

В другом произведении Маяковского характер джаз-банда выражен еще ярче:

Бей, барабан!
Барабан, бей!
Или или
Пропал или пан.
Будем бить.
Бьем.
Били.
В барабан!
В барабан!
В барабан! («150.000.000»).

Любопытная вещь: барабан чрезвычайно часто появляется на страницах В. Маяковского. Можно предположить, что это единственный из музыкальных инструментов, на котором играет поэт. Пристрастие к барабану столь исключительно, что в разных своих произведениях вождь русского футуризма подчеркивает, что у них, у футуристов:

Сердце... барабан,

а грудь—о!—

Грудь наша медь литавр («Наш марш»).

Не следует поэтому удивляться, что на мои «заметки» «Н. Леф» ответил таким *гулом:* я ударил, оказывается, по меди и барабану сразу.

Правда, не всегда эта медь высокого качества. Пред нами в данном случае *«желтая»* медь. «Желтизна» ее обнаруживается сразу, лишь только мы от «вождя» перейдем к рассмотрению «ведомых».

II

Перебирая «новых лефов», защищающих от меня коммунистическое искусство, я прежде всего натыкаюсь на *Виктора Шкловского.* Вот неожиданность! Но кому неизвестна позиция этого формалиста в литературоведении?

Нынешнее большинство литературоведов (марксисты—в стороне) можно разделить на две группы: *«марксистóидов»* и *«марксистоéдов»*.

Первые—гримируются «под марксиста», принимают защитную марксистскую окраску, они марксистообразны, так что в сумерках или при плохом зрении можно даже ошибиться.

Вторые—наоборот—нападают на марксизм, пытаются его взорвать, или, на худой конец, дискредитировать. К последним и принадлежит Шкловский.

Это марксистоéд. Но он же—*идеолог и теоретик Лефа*, «всегдашний борец за коммунистическую культуру!»

Ведь это Виктора Шкловского Брик предлагал нам экспортировать за границу.

Ведь это Шкловского, в качестве официального оппонента, выставил против меня Леф на диспуте, посвященном моей статье.

Ведь это Шкловский, в числе прочих, посрамляет меня и как редактора, и как журналиста.

Но Виктор Шкловский—в качестве борца за коммунизм, который мы не мыслим без марксизма,—вот умопомрачительное зрелище!

Правда, у Виктора Шкловского есть адвокат—т. *Малкин*. Отвлечемся поэтому на минуту от Шкловского и послушаем его защитника.

Б. Малкин—не «Леф». Он оказался среди «Лефов» совсем «случайно»: проходил мимо, видит: «огонек»; зашел; оказывается—«скандал», пишут «протокол». Ну,—а если пишется «протокол», почему бы Малкину руку не приложить?

«Среди нас присутствует в качестве гостя т. Малкин»,—так записаны в «протоколе» слова В. Маяковского. «...Было бы интересно выслушать его мнение о выступлениях Полонского».

И наш «свадебный генерал» очень политично и почти миролюбиво отрапортовал насчет того, что я в статьях моих о «Лефе» обнаружил «непонимание» стоящих перед нами «идеологических задач».

Я мог бы пожать плечами в ответ на безответственное это замечание, но т. Малкин дал характеристику Лефов,—а это уже дело ответственное! С «Лефом»,—уверяет нас т. Малкин,—не связано «ни одно из литературно-общественных проявлений упадочничества, порнографии, мистики, национализма и всяких ликвидационно-панических настроений». Это очень лестная для «Н. Лефа» характеристика. Б. Малкин, напр., ни слова не говорит об «*интеллигентском самомнении*», хотя это «самомнение» т. Бухарин, противопоставленный мне Малкиным, считает одним из вредных остатков «нашего рабского прошлого». Есть такое «самомнение» в «Н. Лефе» или нет? Я показал это выше, и пусть т. Малкин докажет, что это неверно.

Что же касается порнографии, то...

Я здесь должен отвлечься на минутку и сказать несколько слов о самом «заступнике» Лефов. Читатель вряд ли хорошо знает т. Б. Ф. Малкина. Это тот самый «чудесный» человек, который в свое время «обласкал» Анатолия Мариенгофа и других «имажинистов». Этот «чудесный» человек был в 1919—20 г.г. заведующим Центропечатью, и Мариенгоф в воспоминаниях своих, изданных «Огоньком», с умилением рассказывает, как на этой Центропечати «зиждилось все благополучие» ихнего, имажинистского, издательства. Вот откровенное признание, проливающее свет на тогдашнюю, всех удивлявшую, живучесть имажинизма! Так вот почему, вслед за смертью Центропечати, умер и имажинизм! Главным «имажинистом» был, оказывается, не Есенин, и не Мариенгоф, а наш нынешний «случайный» гость Лефов. «Борис Федорович был главным нашим покупателем, оптовым»,—раскрывает тайны

имажинизма А. Мариенгоф. Этот «оптовый покупатель», очевидно, легко поддавался (а теперь?) на удочку. Мариенгоф описывает, как от льстивых слов Есенина «и без того добрейший Малкин добреет еще больше». «*Глядишь—и подписан заказ на новое полугодие*».

Мы видим теперь—каким действительно «чудесным» человеком был этот «добрейший» Б. Ф. Малкин. Роль «генерала на свадьбе», «покровителя», оказывается,—его старое занятие, чуть ли не профессиональное. Я не знаю, является ли он сейчас таким же «чудесным» для Лефов, каким в свое время был для «имажинистов» (тоже «лефы»—образца 1919 года!), но для меня очевидно, что он сохранил все свои «чудесные» черты. Потому что только его свойствами «простака», «благородного отца» я могу об'яснить смелость, с какой он подчеркивает, будто в продукции «Н. Лефа» так-таки все обстоит благополучно.

Предо мною журнал «Новый Зритель». В № 13 я читаю отчет о просмотре фильмы «*Любовь втроем*» на собрании актива воинских частей и военных вузов. Сверх целого ряда недостатков, создающих «*гнетущее впечатление*», собрание отмечает в фильме «*наличие элементов* **порнографии**».

Агитпроп *Пура* после «специального просмотра» фильмы *постановил не рекомендовать* «ее для красноармейцев», и «экземпляры фильмы «Любовь втроем», полученные для демонстрации в частях Красной армии,—*возвращены в Совкино*».

Кому же верить?—Б. Ф. Малкину, добреющему от первого льстивого слова, расплодившему в свое время имажинят, или тем 700 красноармейцам и краскомам, которые были на указанном выше просмотре? Малкину—или военным работникам Пура, решившим, что в фильме **порнография** есть, и допускать ее к демонстрациям в Красной армии *нельзя*?

Скажу прямо: *для меня и выбора никакого нет.* Я хорошо знаю наших военных работников—ни в какое сравнение с «чудеснейшим» добряком Малкиным они итти не могут, все это крепкий народ с здоровым и верным нюхом, и уж если они говорят, что в «Любви втроем» есть порнография—будьте спокойны, порнография там есть. И только некоторой беззаботностью, продиктованной, впрочем, «чудесными» чертами характера, могу я об'яснить выступление т. Малкина в «протоколе» Лефов. Ведь фильма-то «Любовь втроем», не допущенная в Кр. армию за «порнографию» и другие «гнетущие» элементы,—*сделана никем иным, как* **Виктором Шкловским**, теоретиком и идеологом Лефа! Тем самым Шкловским, которого Брик усиленно рекомендовал нам экспортировать за границу—как будто там мало своей собственной похабщины!

Я только что напечатал две статьи в «Известиях» о «половой литературе» и «половых авторах». Думал ли я, что сегодня мне придется вновь говорить об этом, но уже в связи с «Лефом», что бы там ни толковал «чудесный» т. Малкин.

Так что будет лучше, если Виктор Шкловский, вместо того, чтобы оборонять от меня «коммунистическую культуру», займется чисткой

своих сценариев от «гнетущих» элементов. А коммунистическую культуру—свет ведь не клином сошелся!—уж как-нибудь защитим сами, без Виктора Шкловского!

III

Оставляя Шкловского, я попадаю в Левидова. Час от часу не легче! Но если и *Мих. Левидов*—«Леф»—над ним обязательно надо повесить плакат:

«Се Леф»...

Да и плакат, пусть даже сделанный самим Родченко, вряд ли кого убедит. Происшествие—достойное внимания «Смехача», «Крокодила», «Бегемота». Мих. Левидов, следом за Шкловским, выступает как деятель «левого фронта», хотя, скажу по совести, он столь же похож на «борца за коммунизм», как самовар на летательную машину.

Но если Шкловский и Левидов—наш *«левый* фронт» искусств, то, скажите на милость, где у нас фронт *правый?*

Если Виктор Шкловский—*революционный* теоретик искусства, то кого же назвать теоретиком *реакционным?*

Если Левидов защищает *левое* искусство *против мещанства,* то я не знаю, где же у нас *насадители именно* **мещанства?**

Мих. Левидов—лишний человек современной журналистики, «умственный бедняк», ничего не понявший в моей борьбе с «интеллигентским самомнением» Лефов, сюсюкает что-то о том, что он, Левидов, меня, Полонского, понял. Потрясая бубенцами, пристроившись к краешку шумового оркестра, он бьет в медные тарелки и на вопрос:

— Гражданин, что вы делаете?—

не моргнув глазом—отвечает:

— Защищаю коммунистическую культуру!

* * *

Но, быть может, настоящим «Лефом» является *Чужак*? Изругав меня в «протоколе», он посвятил мне, кроме того, «добрые заметки». Посмотрим, с кем мы имеем дело.

«Нет, нет. Я не хочу быть злым. Но я хочу быть добрым»,—пишет Н. Чужак. Он подчеркивает, что хочет быть добрым *в отличие от Бухарина*, который *«злой»*. Рядом с «злым» Бухариным, горделиво охорашиваясь, из тьмы небытия возникает «добрый» Чужак. Но вот чего не приметил этот добрый человек. «Заметки» Бухарина *не только «злы»*. Это *«умные»* заметки. Задавшись целью не походить на Бухарина, Н. Чужак, как на грех, оказался слишком последовательным и, сам того не желая,—действительно не сохранил с Бухариным ни одной общей черты. Но ведь одной «доброты», даже природной, недостаточно, чтобы быть писателем, хотя бы и «лефым». Это чувствуется с первых же строк—и веселое недоумение не покидало меня, когда я читал «литературное» произведение

этого «забытого» человека. Теснимый, видимо, избытком «добрых чувств», Чужак намекает кому-то, или доводит до чьего-то сведения, что вот—не вредно было бы разгрузить т. Полонского: шутка ли!—редактор *трех* журналов. Он язвительно шлет вопрос в пространство: не лучше ли было бы поручить это дело кому-нибудь другому?

Таков смысл «заметок» нашего Чужака. Чужак, выходит, не только добряк, но и чудак, ибо не может понять, что редакторами делаются люди не от избытка «доброты»—и жаловаться на это—глупо. В конце концов, раздосадованный обилием редактируемых мною журналов, он сравнивает меня с *«ветеринарным врачом»*.

Я в толк не возьму—почему это нужно *именно Чужаку*? Но и здесь хочу показать свою сговорчивость—Чужак *прав*.

Разговаривая сейчас с «Лефами», я и в самом деле играю роль *врача*. И именно **ветеринара**.

* * *

Но Чужак не только ехидничает. Вслед за Шкловским и Левидовым он обороняет от меня марксистское искусствоведение. Читатель не посетует поэтому, если я приведу оценку чужаковского «марксизма», сделанную таким авторитетным марксистом, как М. Н. Покровский. Наш «добряк» не только тщится «низвергать» редакторов. Он пытается писать книжки—тоже без большой удачи. Согрешил он работой о Пугачове—благо случай представился: юбилей недавний пугачовщины. Вот что написал об этой работе Чужака М. Н. Покровский в журнале «Историк Марксист», на стр. 220 тома третьего:

«Если марксистская концепция пугачовщины верна, Чужаку ничего не остается, как отправить свою книжку к надлежащему прирожденному, так сказать, читателю, в Прагу или в Париж, что ему приятнее».

Не правда ли, лестная характеристика для «Лефа», который, обжегшись на спасении марксизма от Покровского, пытается теперь спасать марксистскую журналистику от Полонского? Дальше М. Н. Покровский замечает, что «менее добросовестной трактовки цитируемого и критикуемого автора, чем это сделано Н. Чужаком по отношению к Покровскому... представить себе нельзя».

Удивительное дело! По какому бы поводу с Лефами ни начать разговора, беседа неизменно коснется вопроса о «добросовестности»!

* * *

Таковы Лефы, защищающие марксизм и коммунистическую культуру. *Но разве эти «Лефы»*—**левые**? Разве не достаточно слегка пощекотать иного из них, чтобы из-под размалеванной маски высунулись уши «правого» болтуна с реакционным, мещанским и даже порнографическим запашком?

Я—плохой редактор для Левидова, Шкловского, Чужака! Но если я плох для них—это именно и хорошо! Вот это и превосходно! Было бы

очень печально и, прямо скажу, подозрительно, если бы меня одобрительно похлопывал по плечу Левидов, если бы меня поощрял Шкловский, если бы мной восторгался Чужак.

Я мог бы поговорить еще о Третьякове, Асееве, Брике. Но «производственная»(!!) пьеса С. Третьякова «Хочу ребенка» (отрывок—ужасающий!—напечатан в «Н. Лефе»),—показала воочию, что ее автор не способен «произвести» хорошее литературное потомство. Это, разумеется, умаляет его право на внимание читателя. О *Брике* было почти все сказано мною в первой статье — вряд ли что можно к сказанному добавить. Его участие в «протоколе» лишний раз убедило меня, что дописать анонсированную повесть «Еврей и блондинка»—так он «*не беллетрист*», а вот посквернословить — так он «*да, беллетрист*», на это Брик «*всегда готов*». Об *Асееве* не хочется говорить совсем: он меня сильно огорчает. Вследствие снижения поэтического достоинства Маяковского Асеев в Лефе сейчас самый крупный мастер, которого не заели еще халтурные тенденции. Но он почему-то взял на себя скромную роль Санчо-Пансы при «величайшем Дон-Кихоте». Впрочем, если вам больше нравится, его можно сравнить с хлестаковским Осипом, имитирующим ужимки и прыжки своего барина. Оттого-то, когда клевещет на меня Маяковский, он смешон; когда в том же «протоколе» это делает Асеев—он жалок. Печальная картина.

IV

Но было бы несправедливостью полагать, что «Новый Леф» сердит на одного меня. Мне сдается: «заметки» мои сыграли роль иглы, проколовшей издавна назревавший пузырь недовольства советской журналистикой вообще. Она идет не туда, куда хочется Лефам. Об этом красноречиво говорит статья В. Перцова «Лицо толстого журнала». Статья примечательная.

Я не знаю, кто такой *В. Перцов*. Быть может, это псевдоним, за которым скрываются Шкловский, Чужак и Левидов? Но если В. Перцов самостоятельная величина—тем хуже для «Лефа». В лице В. Перцова мы имеем еще один любопытный экземпляр представителя «левого фронта». Но ведь эти экземпляры — не случайны. Их высказывания строго обдуманы—иначе какой бы это был оркестр, хотя бы и шумовой!

Вот что читаем в статье:

«Легко себе представить, что вместо трех или четырех основных журналов стал бы в порядке централизации издаваться только один. При чем слиянье этих журналов было бы не чем иным, как слияньем перецлетов».

Таков лейт-мотив статьи. *Нет разнообразия направлений, убита богатая разноликость русской журналистики.*

Прежде, очевидно, в «доброе» старое время—литератор ни на кого не походил.

А нынче—взгляните-ка:

«Сотрудники этих журналов не отличаются друг от друга не только по идеологии, но, как это легко установить, и по фамилии».

Мало этого. Перцов указывает, что даже фамилии редакторов также одни и те же, или

«поразительно походят одна на другую».

При всем этом, разумеется, писатель находится в крайне плачевном положении: если редактор может обойтись без писателя, то у писателя «выбор меньше» и «податься» ему «некуда».

«Редактор всегда имеет возможность заявить автору, при прочих равных условиях: «Вы разрешите мне иметь свой вкус»—и забраковать произведение».

Для автора же все редакторы серы, только, как сказано, «выбор его ограничен».

Читатель может подумать, что в советской стране редактор действительно может иметь «свой вкус»? Ничего подобного! Вот что сообщает нам на этот счет Леф:

«Власть редактора очень мала. Он управляет, по сути дела, только письмоводителем и курьером». «Как правило, он, редактор, самостоятельных впечатлений не имеет»,—режет по стеклу В. Перцов.

Вещь, крайне любопытная:—редактор оказывается лицом подставным! Удивительные поистине «*послсдние новости*» может узнать советский редактор при чтении журнала «Левого фронта».

Признаюсь, я некоторое время глазам не верил, вертел тетрадку в руках, явь—не сон: «Леф». «Москва». «Государственное издательство».

Но разве мы в самом деле до того «донивеллировались», что никакой разницы нет между «Октябрем» и «Н. Миром», между «Печатью и Революцией» и «Звездой», между «Красной Новью» и «Молодой Гвардией»? А Перцов уверяет—вопрос только в «упаковке».

Мы не закрываем глаз на «меньшее» разнообразие «имен» и «сотрудников» в нашей советской журналистике, сравнительно с давно прошедшими временами. Но так и быть должно. В эпоху диктатуры пролетариата, в период жесточайшей борьбы не может быть и речи о том «разнообразии», о котором пишет В. Перцов. Но только извращая и подтасовывая факты можно так изображать лицо советского журнала, как это делает он. Его статья—такой же злобный выпад, как заявление В. Шкловского в той же книжке, будто в некоторых наших вузах «гимназисты» читают историю литературы. Правда, советская власть «вытряхнула» кое-кого из университетов. Кое-кого (и по заслугам) «не пускает» в университеты. Но бормотать что-то о «гимназистах», преподающих в вузах, значит, все-таки, клеветать на наши вузы.

Все это лишний раз заставляет меня с некоторым сомнением смотреть на так наз. «Левый фронт искусства». Странная, знаете, левизна! С бубнами и литаврами об'являют себя защитниками, да еще «всегдашними», коммунистической культуры. А поскребешь слегка какого-нибудь «Лефа»—под одним оказывается Мих. Левидов, под другим—Виктор Шкловский, под третьим—В. Перцов.

Если «Леф» — *писатель*, как Виктор Шкловский, то он совсем *не левый*. Если же он *левый*, как Н. Чужак,—то он совсем *не писатель*.

Другие, наконец, и не писатели, и не левые, как Родченко, Левидов и Перцов, а делатели шума, профессиональные, так сказать, джаз-бандиты, которых по функции, выполняемой ими в оркестре, можно было бы обозначить: «бубен», «медная тарелка», «последний барабан».

V

Все это дает основание отвести упрек, который бросают мне некоторые товарищи: я-де ударил *влево*. Как видит читатель—«левизна» нашего шумового оркестра весьма сомнительна.

Не правы упрекающие меня еще и потому, что забывают о чрезвычайно важной задаче марксистской критики—*бороться не только с врагами, но и с теми проявлениями разложения, недомыслия, заблуждений, недобросовестности, которые имеются в нашей собственной среде.*

Эта задача непосредственно связана с борьбой за качество нашей литературы.

Хороша была бы наша Красная армия, если бы мы в ее пределах не вели жестокой борьбы со всем, что пытается ее ослабить изнутри. Хороша была бы наша техника, если бы мы не дрались каждодневно за ее повышение. Бросить или ослабить борьбу с недостатками в наших собственных рядах—это значило бы заняться *саморазоружением.*

Ведь в резолюции ЦК о политике партии в художественной литературе—перед нею расшаркиваются все, кому не лень—черным по белому вырезано, вырублено, высечено:

«марксистская критика должна... давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде».

Сказано это или не сказано? *Сказано.*

Правильно это или не правильно? *Правильно.*

Есть макулатура и отсебятина в «лефовской» среде? *Еще бы! Больше чем надо! С избытком!*

Почему же нельзя ударить по этой макулатуре и отсебятине? Потому что они «левые»? Но ведь о «левых», о «своих» и говорит резолюция ЦК, это во-первых. *А во-вторых, в том-то и суть*, что под *«левым* знаменем» в «Лефе» орудуют самые настоящие *«правые»*,—я ведь показал это весьма обстоятельно. И когда Левидов или Шкловский заявляют: «нас нельзя трогать—мы левые», то ведь только теленка может убедить эта наивная попытка «правых» застраховать себя от «левой» критики.

Разумеется, Маяковский—не «правый», так же, как и Асеев. Никакие недостойные приемы лефовской «полемики» не заставят меня последовать их примеру и забыть это. Но ведь этих «левых» можно усадить на одной табуретке, их даже *не «семь»*, а всего *«два»*, но какой же это **«фронт», если его надо искать с микроскопом!**

Это ведь и есть **«блеф»**, узурпация левого знамени, попытка кого-то «надуть», «обставить», «втереть очки», потому что все остальное в «Н. Лефе»—это либо литературные нули, либо маски, из-под которых

выглядывают быстроглазые, звонкоголосые, расторопные Шкловские, Чужаки, Левидовы, Перцовы—«всегдашние—*ха-ха!*—защитники коммунистической культуры».

Но каковы бы ни были поэтические достоинства Асеева и Маяковского—они не дают нам оснований покрывать и оправдывать **«маяковщину»**—«нахрап», балаганную шумиху, «внутреннюю разнузданность», «интеллигентское самомнение», невероятнейшее чванство, узурпацию не принадлежащего им знамени «левого фронта», с помощью которых «новые Лефы» завоевывают «свое» место под солнцем.

«Законы не знают переодевания». И если мы сейчас бьем по остаткам «рабского прошлого» в нашем *быту*, кто возьмется доказывать, что все это надо щадить и бережливо замалчивать в нашей *литературе?*

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

I. ВИКТОР КРАСИЛЬНИКОВ. А. Новиков-Прибой.—II. Р. КУЛЛЭ. Синклер Льюис.—III. ФРОЛ СКОБЕЕВ. Литературный ларек.—IV. ПРОФ. П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Нескромности лорда Берти.—V. А. ИОФФЕ. За рубежом.—VI. АДАЛИС. Под Араратом.

I. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

(Критические заметки)

Виктор Красильников

I

А. Новиков-Прибой—писатель моря, кругосветных плаваний, прямой продолжатель литературных традиций путешествия на «Фрегате Паллада» Гончарова и «Вокруг света на «Коршуне» Станюковича. Но такова сущность XX в.: хоть море, конечно, и осталось тем же самым, по которому плавал симбирский дворянин, автор «Обрыва» и «Обломова», самый подход к нему, в частности, манера описания оказываются глубоко различными. Гончаров и Станюкович—туристы, путешественники; океан дает им и их героям калейдоскоп изумительных картин, материал для больших мыслей и сложных эмоций, но никогда не заражает желанием действия. В бурю Иван Андреевич Гончаров беспокойно томится в четырех стенах «кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра», или осторожно пробует «пойти наверх, на улицу, как назвал верхнюю палубу».

Несколько действеннее герои Станюковича; по роду службы (адмиралы, капитаны, старшие офицеры и иные морские чины) они обязаны отдавать в рупор команду: «Все наверх!», встречать на мостике лицом к лицу сбивающий с ног ветер, но, конечно, им никогда не приходилось «оглушенным бурей крепить паруса, висеть над качающейся палубой, беспомощно болтая ногами, задыхаясь от воздуха, распарывающего легкие, как меха» (Новиков-Прибой — «Море зовет»). Любовь к морю матроса-профессионала, любовь, нередко перерождающаяся в ненависть, но «неведомой силой» вновь влекущая к борьбе с волнами,—таково то новое, чисто производственное чувство, которое выделяет писателя Новикова-Прибоя из рядов всех маринистов (как раньше писавших, так и современных, напр., Соколов-Микитов).

Герой рассказов и повестей Новикова-Прибоя почти всегда матрос, даже более—матросский коллектив.

Сын кантониста николаевского времени, сам матрос, Новиков-Прибой стал писать о матросе. Его выступление в литературе почти совпало с пер-

выми ласточками литературы рабочего класса—Ляшко, Серафимовичем, Гладковым. Произведения этой группы писателей (впоследствии сделавшейся центром «Кузницы») должны были показать читателю рабочего на фабрике, на заводе, в семейном быту, обычно общественника, часто революционера-подпольщика. Главной своей задачей писатели ставили—дать во весь рост этого нового человека, раскрыть его психологическое содержание. Стремление реалистического показа сближало манеру их работы с приемами прозаиков-народников (Глеб Успенский, Левитов, Короленко) и передвижников в живописи. В «Морских рассказах» (первой книге) Новикова-Прибоя ясно ставилось такое же задание; рассказ «По-темному» говорил о переживаниях двух путешественников по-неволе — политических эмигрантов; «Подарок»— о боцмане Груздеве, стыдливо выпрашивающем себе ребенка - подкидыша на воспитание и т. д. Сразу же сказались особенности «морского» жанра, если Гладков в первый этап писательства удовлетворялся мемуарной формой «Изгоев», то развертывание сюжета рассказа «По-темному», подчиняясь велениям океанической качки, было авантюрно-неожиданным и кинематографически - быстрым. Правда, Новиков-Прибой не владел тогда достаточной выучкой и иногда шел по линии наименьшего сопротивления: так, ошеломляющие подробности катастрофы при Цусиме он вложил в уста единственного, спасшегося с броненосца Б., матроса Семена, а так как способности рассказчика не были им еще достаточно развиты, впечатление получилось меньшее, чем при прямом показе событий. После «Морских рассказов» учеба прозаика определялась двумя основными моментами: с одной стороны, работой над заострением, рельефностью психологического рисунка героев, над портретностью их (что проходило под влиянием, главным образом, М. Горького), с другой—изучением писателей для тщательной разработки по-новому, по-своему тех или иных сюжетов. В небольших рассказах книг «Море зовет» и «Две души» эти две основные точки приложения внимания писателя можно довольно отчетливо проследить; в смысле портретности особенно впечатляюща характеристика «Порченого»— бывшего крестьянина, унтер-офицера царской армии, привезшего в деревню культуру городских бульваров, мерзость царской охранки и «пачку радужных за месиво из жидов» (рассказ «Порченый»). По линии же «развертывания сюжета» просится в кино-сценарий рассказ «Зуб за зуб»—невероятная история о вероятном событии из дней сибирской колчаковщины (гримировка белых отрядов в целях получения сведений о настроениях населения).

Большие повести Новикова-Прибоя («Море зовет», «В бухте Отрада», «Подводники», «Женщина в море», «Ералашный рейс», «Ухабы») соединяют в себе основные особенности композиции его рассказов; мастерски разматываемый клубок сюжета приводит в движение определенное количество нужных прозаику лиц. Писатель не страдает модной болезнью современной прозы—тенденциозностью; его интересует вообще человеческая личность, поставленная в определенные условия (главным образом жизни на море). И оттого, что матрос Новиков - Прибой пишет о матросах, о том, что он лично переживал, или сопереживал, его повести, несмотря на динамичность—близость к авантюрному жанру, никогда не ощущаются, как просто занимательное чтение. Да, они читаются легко, как хороший переводный роман, но помниться будут долго; без насилующей морали, без приспособленчества к агит-лозунгам они заставляют читателя, с волнением проследив приключения парохода «Коммунист», самому сделать выводы. Новиков-Прибой удачно сосватал сюжетность западно-европейской литературы с социальной заостренностью современной русской—в этом секрет его воздействия на читателя и залог успешной будущей работы.

II

Новиков-Прибой не тенденциозен, но и не беспристрастен, не холоден, как зеркало. Среди своих героев моряков он имеет друзей и врагов. Друзья—ма-

шинист Самохин, совместивший в одном лице рулевого, кочегара, механика и даже самого капитана, «наперекор стихии» приводящий пароход «Дельфин» в порт («Ералашный рейс»); шкипер Федор Павлович, спасающий жизнь десятка людей («Ералашный рейс»); старый матрос Джим, меняющий трудовой дом на легкую смерть в волнах океана («Море зовет»). Все делающие жизнь—борцы против вылазок и покушений моря, грудью защищающие себя и других, на их стороне симпатии писателя. Русская литература составила обильный мартиролог «лишних людей», но, наверное, впервые в ней прозвучал голос идущего на смерть семидесятилетнего матроса: «Я не считаю себя несчастным. Я хорошо пожил, чорт возьми! Если бы мне снова родиться, и меня спросили бы, кем я хочу быть, я выбрал бы только долю моряка, не задумываясь нисколько. Словом, я бы не прочь повторить свою жизнь». Герои-друзья Новикова-Прибоя все не прочь повторить жизнь, все они могут смело заявить: «Двадцать четыре часа в сутки нам мало». На море они горят желанием «сокрушить рога» буре, на суше—торопятся наверстать потерянное время. И так до той нежеланной поры, когда какой-нибудь капитан—старая морская акула—не произнесет зловещего слова: «Выдохся», или седая волна не «слизнет» случайно зазевавшегося с палубы.

Особенно любовно писатель изображает матросов-общественников, революционеров. Биография их проста и понятна: сначала новобранец, деревенский парень, «истукан истуканом», ошалело передвигающий ноги по палубе корабля; потом, окончив курс жестокой «науки»,—«орлиный взгляд» даже перед самим боцманом. Разные страны, народы, встречи пробуждают любопытство; от книжек про громоотводы, животных, микробы оно притягивается к вопросам о России, войне, царе. Неожиданно рядом окажутся люди, сделают вам подсчет, «сколько людей одето 1914—1917 годами в защитный цвет, сколько работает для фронта в тылу на фабриках и заводах, на полях и в рудниках»; докажут, почему у многих крестьян в деревне «нет никакой скотины, кроме вшей». И отсюда глухая ненависть ко всякому насилию, «прижиму» старших офицеров и боцманов, постоянная готовность коллективно отстоять свои права. Отсюда восстание на броненосце «Потемкине» и в Севастопольском флоте.

В самой манере описать наружность человека, в подборе характерных для него привычек и свойств чувствуется—друг или враг он Новикова-Прибоя. Вот, например, два портрета из «Ералашного рейса»: «Капитан Огрызкин, хилый и забитый жизнью старичок. Всегда ковыряет в своих пожелтевших зубах спичкой, потом нюхает эту спичку, морща маленький, как у ребенка, нос. Временами узколобая голова его откидывается назад, осматривая небо с редкими облаками, морской горизонт. Нет никаких признаков к перемене погоды, но капитан досадливо морщит угрястое лицо с рыжими ползучими усиками и облизывает сухие губы. Он не любит моря», и его, как сухопутного труса, по недоразумению жизни затесавшегося в компанию моряков, не любит писатель. «По палубе, от носа до кормы, прогуливался человек средних лет, в черном суконном бушлате, в черных брюках. Это был шкипер баржи... Высокая стройная фигура, широкие плечи, крутая грудь, загорелое лицо с тяжелыми челюстями. В походке его было что-то твердое и упрямое, что бывает у людей, чрезвычайно уверенных в себе». Шкипер уверен в себе и имеет на это полное право—он спасет себя и других, он перед угрозой наплывающей мины не позабудет на покинутой барже своего любимца-кота «Кранца». И таковы все уверенные в себе «швабробородые», «лобастые», «породистые» друзья Новикова-Прибоя. Рассчетливым бесстрашием, упорством они во многом напоминают героев Джека Лондона, неутомимых и неукротимых колонизаторов Аляски. Но есть и большая разница: смелые авантюристы Джека Лондона—обычно люмпен-пролетарии, одиночки; матросы же Новикова-Прибоя—та передовая часть русского пролетариата, которая сигнализировала 1905 год восстанием на бронс-

носце «Потемкине». Новиков-Прибой—писатель масс, матросского коллектива. Есть два основных приема изобразить массу, толпу: или она интересует художника как стихия, единая воля тысяч и десятков тысяч людей; или, наоборот, он расчленяет ее на группы, составляет из отдельных, наиболее характерных представителей этих групп. Первым приемом дает толпу Артем Веселый; для него важен не сам человек, а его реплика, действие. В массовых сценах «Страны родной» и «Вольницы» даже не всегда видишь, кто это «для забавы постреливает в воздух» или кроет крупным матом; знаешь одно—кто-то из армейцев или красно-флотцев,—и этого достаточно. Новиков-Прибой работает по принципу—от частного к общему; он тщательно выписывает отдельные фигуры, дает иногда чуть не сотню портретов команды корабля, справедливо предполагая—общую характеристику коллектива читатель сумеет сделать сам. Корабль в походе—это отдельный кусок замкнутой в себе жизни; здесь каждому до всех дело. Поэтому иногда кажется, что среди десятков и сотен матросов, того и гляди, безнадежно заплутается главный герой Новикова-Прибоя, что писатель как будто бы его забыл. Но обычно промелькнут опасные страницы, опять герой встанет во весь рост и окажется—отступления были необходимы для развития сюжета, для характеристики того же самого главного героя.

Несколько замечаний о женщинах в изображении Новикова-Прибоя. К ним часто приложимо сравнение: «капризные и таинственные, как море». Писатель-матрос знает женщин, главным образом, по минутным встречам на берегу, по мимолетным свиданиям, чтобы не встретиться с ними завтра. В результате—образ какой-то стандартной особы, «ростом среднего калибра, но проворной, как мадагаскарская ящерица, в голубом платье с яркоцветистым шелковым шарфом на шее» она может счастливо произрастать под любым небом—солнечной Италии (рассказ «Под южным небом»), хмурой Англии («Море зовет») или России («Подводники»). К ней нужно смело подкатиться с правого траверса, отбарабанить по-матросски: «Позвольте покрейсировать вместе с вами», и пусть она итальянка, сеньора Тереза, а вы—владимирец рулевой Петрован Силкин, Тереза поймет комплименты Петрована: «Ты сияешь, как это море! Если бы только открыла для меня люк своего сердца, я сгорел бы от счастья!» Все Амелии, Терезы, Полины похожи друг на друга, все они липнут к моряку, «как ракушки к судну». Но Новиков-Прибой знает и других женщин—некрасовских многострадальных женщин деревенской России, и для изображения их судьбы в ассортименте художественных приемов он сумеет найти нужные краски (рассказ «Порченый»).

III

Новиков-Прибой—один из редких современных прозаиков, реализм которых не скатывается в нудный бытовизм. Его рассказы и повести не протокольные копии жизни, а картины, написанные вдумчивым художником после тщательного отбора фактов. Конечно, справедлива формула Безыменского—можно «в каждой мелочи найти революцию», но ведь не всякая мелочь равно интересна и нужна литературе. А затем—нужно каждую мелочь пропустить через призму социальной группы и своего «я», нужно заставить ее зазвучать по-особенному, по-своему, внести в разработку тем известное новаторство сюжетных положений и изобразительных средств. «Тащить историю литературы» вперед без новаторства невозможно.

В библиотеку писателей-маринистов Новиков-Прибой внес свое слово—прежде всего освещением некоторых, остававшихся до него в тени, моментов жизни моряка. Например, о подводниках, экипажах подводной лодки, погружающихся и отсиживающихся от неприятеля на дне моря, до повести «Подводники» (да и после нее) никто в мировой литературе не сказал ни слова. Пушечными выстрелами против самодержавия прозвучали рассказы «Одобренная крамола» (чтение в казармах военного экипажа запрещенных отрывков Льва Толстого из миссионерской

книги, разбирающей его учение) и «Бойня» 19-и матросов в Кронштадте на форте № 6 в 1906 г. Новы для литературы и типы матросов - революционеров, играющие в произведениях писателя большую роль.

Из изобразительных средств Новикова-Прибоя выделяется профессионально-производственный язык героев и автора. Диалог его матросов драматичен, остр, как соленый морской ветер, и хмелен, как весна; в нем с новой силой зазвучали нотки великого русского языка. Только наследники дядей Митяев и Миняев («Мертвые души»), приклеивших к Плюшкину прозвище «заплатанный», могут обозначить человека «Порченым», «Шалым», «Босым черепом», «Камбузым тюленем», «Антикротом с горошком», а их долголетний морской стаж сделает обычной такую узорную речь: «Правильно, норд'ост вам в спину», «Темно, как в брюхе акулы», «Хорошая книга—вентиляция для мозга», «Гулять под ручку с такой королевой—да тут сердце от счастья может лопнуть, как цистерна от воды». Замечательна конкретная производственность сравнений и образов матросов Новикова-Прибоя: «Действовать как Бородкин (надоедать женщине с любовью. *В. К.*)—это все равно, что голой мачтой ветер ловить»; «Постарел—представляешь собой отработанный пар»; «Корпусом он хоть куда, даже в адмиралы годен, а рылом—форменный вышибала из публичного дома. Рот широкий, точно у сома. Нос для семерых рос, а достался одному, похож на бугшприт старинных кораблей», и т. д. Автор (как и его герои), кажется, хочет ослепить читателя красочным богатством матросского языка, передать ему хотя бы небольшую долю своих «кругосветных» впечатлений. Разгрузить себя от них—это обязанность и главное удовольствие его жизни.

В качестве контраста обычному производственному языку приходится отметить культивирование Новиковым-Прибоем таких книжных оборотов: «Солнечные потоки, разливаясь, грели благодатным теплом душу и тело водников»; «Жизнь представлялась в виде страшного провала, населенного двуногими гадами» ;«Первозданные массивы гор», и т. д. Список подобных примеров можно было бы несколько увеличить. Автор наивно полагает, что о важной материи «благодатного тепла» или «куполообразных вершин гор» необходимо обязательно говорить возвышенным «штилем»; причины наивности, очевидно, коренятся в специфическом подборе книг для чтения (от «Джека Потрошителя до священного писания» и журналов по астрономии), о котором прозаик пишет в своей автобиографии. Интересно, что в некоторых вещах («Ералашный рейс», «Подводники») эти стилистические вариации карамзинской «Бедной Лизы» почти отсутствуют—борьба писателя с ними может и должна окончиться успехом.

Новиков-Прибой пишет с 1905 года. Двадцатилетний с лишком писательский стаж научил его быть интересным колоритным рассказчиком (сказом написаны «Рассказ боцманмата», «В бухте Отрада» и др.), приучил к ускоренному темпу и действенности повествования, помог овладеть мемуарной формой (повесть «Ухабы» представляет дневник старого морского капитана). Особенно характерна последняя глава из «Ухабов»—описание суда над капитаном; капитан пишет сам о себе, он в одном лице и рассказчик и герой, пригвожденный к палубе тысячами глаз команды—своих судей. До конца суда он не двигается с места, а какая вакханалия страстей толпы бушует вокруг него! Какая неожиданная смена событий, жуткое лавирование между жизнью и смертью! Современным русским прозаикам есть чему поучиться у Новикова-Прибоя; его умение дать кривую динамики событий—ценный прием, который может разгрузить многие большие повести и романы от обильных скучных сюжетных «отступлений».

Новикова-Прибоя много читают [1]), но сравнительно мало о нем пишут. У читателя создалось в основном верное представление об авторе «Подводников», как о писателе моря и матросов. Нужно

[1]) Первые две книги «Морские рассказы» и «Море зовет» вышли в издательстве «Пролетарий» 4-м изданием; «Две души»—3-м изданием.

добавить—Новиков-Прибой имеет ряд небольших, очень сильных рассказов из деревенской жизни («Порченый», «Лишний»); его герой матрос—обычно крестьянский парень, частенько вспоминающий свою избу и свою Груню.

П. СИНКЛЕР ЛЬЮИС

Р. Куллэ

Ни в одной истории литературы так прозрачно не отражены линии литературной традиции повествовательных жанров, как именно в американской. Первые этапы героических достижений завоевателей Америки отразились ярче всего в авантюрных романах Фенимора Купера, Майн-Рида и др., игнорировавших социальную сторону фабулы и усиленно подчеркивавших ее приключенческие элементы. Эти романы, рожденные в эпоху первых итогов, как-то сразу пересекают захиревшую на новой и неподходящей ей почве традицию английского романа, вывезенного на пузатых кораблях первыми и еще сентиментально настроенными пионерами. «Роман ужасов» и намечавшиеся из него тенденции к романтической манере Вальтер Скотта, столь естественные в условиях «старой и веселой Англии», на почве борьбы, крови, приключений и первобытности Америки просто оказались ни к чему, не могли пустить корней и найти читателей. Вот почему уже первые американские романисты, как Брокден-Броун, отказываются от английской традиции и английскому романтизму противопоставляют своеобразную струю реализма, получившую у величайшего повествователя Америки конца XVIII в., Вашингтона Ирвинга, широкую социальную окраску в его новеллах. Конечно, своеобразный романтизм звучит и в авантюрном романе американских классиков, но это романтизм действия и утверждения текущего социального дня, а не ухода в рыцарскую старину, которой девственная Америка никогда не знала.

В дальнейшем своем развитии авантюрный американский роман неизбежно переплетался чертами социального и психологического жанрового оттенка, в зависимости от того «социального заказа», какому он отвечал на том или ином этапе развития общества и его отношений... Эпохи перемирий и строительства, классового становления буржуазии и успехов торгово-промышленного вырастания акцентуировали социально-психологическую сторону романа, накладывали «урбанистический» колорит на фабулу и тему.

Обращение интересов общества в сторону завоевания нового плацдарма для успехов интенсивно развивавшегося капитализма, или необходимость эмансипации от каких бы то ни было тенденций со стороны «бабушки Англии», или стремление раздаться пошире на юг, запад, север—находили живейший отклик и в авантюрно-социальном романе Америки. А это уж дело темперамента, мироощущения и комплекса настроений отдельных писателей, если они, как Амброуз Бирс, видели в том или ином общественном движении мрачно-кровавые стороны, воспринимали действительность, как Эдгар По, под углом зрения чутко-эмоционального темперамента художника, или, как Бичер Стоу, умели внести гуманные и человеколюбивые настроения в совершенно определенные социальные отношения...

Жанровая чувствительность к колебаниям волн жизни находилась неизменно в прямых отношениях в истории американского романа. Вот почему у величайшего романиста Америки — у Джека Лондона—так сильно пульсирует жизнь в произведениях, и так тесно переплетены жанровые особенности его романов. Попробуйте, проведите решительную линию по его произведениям и скажите, где у него кончаются элементы авантюрного романа и начинают кристаллизоваться социальные и психологические! Это клу-

бок переплетенных жанровых линий в одном большом повествовательном импульсе, охватившем и «проблемы» общественные, физиологические, психологические, политические и чисто литературные задания. В Америке подлинный художник иным и быть не может. Тот или иной дефект его дарования, его неполновесность или перенапряженность приведут его не к американской литературной традиции, а к чему-то иному. Мало одаренный художественно, Эптон Синклер едва ли типичен для Америки. Он, как натуралист-бытописатель, с весьма острой социальной восприимчивостью и большой социальной совестью, только тематически в Америке и с таким же успехом мог бы быть «полезным» в литературе всякой другой страны, где резкие противоречия капиталистического строя вызвали бы те же самые бледные произведения, но в иных комбинациях имен, мест действий и бытовых особенностей...

Или тот же Эдгар По, гениальная одаренность которого оплодотворила через Шарля Бодлера одно из глубоких течений европейской литературы, в лучших своих произведениях не типичен для Америки, как поэт, предвосхитивший настроения европейской интеллигенции более позднего периода.

Столь популярный у нас О. Генри, поражающий читателя перенапряженной талантливостью повествователя, умеющий так рассказывать, что концовка рассказа ни в какой мере не может быть предусмотрена его началом и неизбежно сваливается на читателя, как неожиданный подарок, гораздо более типичен для американской прозы, спаявшей в весьма своеобразный сплав жанровые элементы авантюрно-социального повествования. Через газетный фельетон, трепещущий «злобой дня», отзывный на запросы читателей Америки, не умеющих отделить «приключения» от общей стихии жизни в своем сознании, лежал путь выпрямленной линии литературной традиции.

Эта прямая линия американской повествовательной традиции ведет к роману смешанного жанра и априорно предполагает в писателе или синтез элементов на протяжении всего творчества, как у Джека Лондона, или закономерный ход эволюции, внутреннее врастание и перерастание через все ступени жанровых особенностей повествования, как у Синклера Льюиса.

Вот почему этот писатель имеет сейчас одно из популярнейших имен и не только в Америке. Его путь, как романиста, отчетлив и прозрачен, как воды широкого, но не бурного потока, отражающего прихотливые очертания берегов, зубчатые верхушки прибрежных лесов, высокое небо со стадами облаков, но и несущего на своей поверхности корабли и лодки, наполненные искателями приключений и смелыми авантюристами, и большие комфортабельные пароходы, на палубах которых раскинулись в ленивых позах дельцы и бизнесмены с нечистой совестью и звериными инстинктами.

* * *

Творчество Синклера Льюиса (род. в февр. 1885 г.) не только типично и показательно для современной американской литературы, но является и одной из наиболее высоких ее вершин, достижение которой ему удалось с необыкновенной легкостью, благодаря его действительно огромному дарованию. Есть что-то пластически спокойное в его широком созерцательном охвате, том творческом диапазоне, который не позволяет писателю замкнуться в тесный круг тем, заставляя его органически врастать во все многообразие жизненных проявлений, пульсирующих в самых разнообразных концах и частях громадного социального тела. Интерес писателя к деятельности людей и к формам ее выявления ведет его то по широким, то по извилистым и узким руслам реки жизни, везде открывая ему самое типичное, самое характерное, самое трепетное в современном общественно-психологическом типе Америки, под какой бы маской и в какой бы одежде ни встретил его художник в своих странствиях. Профессия, пол, классовая принадлежность и степень культурности социальной и индивидуальной накладывают свой штамп на человека, и особенности этих комбинаций и составляют об'ект на-

блюдений для острого взора читателя...

Синклер Льюис—эпик, воспитавший в себе благородную неторопливость повествователя, черточку за черточкой берущего смелой рукой самую «гущу жизни», и умеющий добытое, не спеша, положить на свое место, примерив и рассчитав предварительно, чтоб архитектонически получился наиболее полный эффект. Этот прием требует большого умения, так как он охлаждает тот «эмоциональный заряд», который многим писателям заменял и глубину и широту рисуемой картины.

Синклер Льюис свободен от этого «эмоционального заряда» просто потому, что природой оказался вооруженным таким проницательным глазом, который обеспечивает ему и нужную широту охвата, и значительную глубину проникновения, и спокойную неторопливость созидателя-эпика.

Он не специально романист-психолог, но он так полно ощущает человека в его эмоциональной и интеллектуальной сферах, что мотивировка действий, переживаний, мыслей и настроений его персонажей становится художественно убедительной.

Обаянием большого мастерства веет с каждой его страницы, заставляет читателя подчиниться художественной воле творца и верить, что именно такими должны быть живые и ныне действующие в самых различных областях жизни американцы—мужчины, женщины, девушки всех профессий, классов и степеней культурности.

Эпическое спокойствие повествователя разрешило для Синклера Льюиса и одну из труднейших проблем писательской деятельности: масштаб претворяемых в художественные произведения наблюдений.

Горячащийся публицистически Эптон Синклер прикован к Нью-Йорку, к отдельным отраслям индустриального производства и небольшому кругу социальных проблем, входящих в сферу его темперамента и понимания, к отдельным каноническим литературным персонажам. Как только он выйдет за пределы привычных границ, он мечется, как под стеклянным колпаком... Остроталантливый Шервуд Андерсен возвышается до потрясающей силы только на страницах лирически волнующего психологизма, в рамках противоречивой психики человека. Как эпик—он фрагментарен. Есть целый ряд современных американских писателей, творчество которых замкнуто несколькими улицами города (У. Франк, Дос-Пассос и др.), или сферой традиционных областей «бродяг» авантюрных романов (Д. Кэрвуд и мн. др.).

Синклер Льюис имеет огромный масштаб. Нью-Йорк и провинция, городская сутолока жизни и спокойное прозябание фермеров, север и юг, запад и восток, словом, все штаты и Канада открыты его спокойному созерцающему и поразительно прочно запоминающему детали взору. Его память хранит громадный запас мелочей, собранных на всех дорогах, «главных улицах» и перекрестках провинциальных, столичных, заштатных городов, больших и малых деревень, просто на железнодорожных станциях и на площадях грязных одиноких поселков. И этими мелочами он умеет блеснуть, показав в нужном месте кусочек такой детали так, что она, как блик на картине, вдруг осветит и осмыслит большой угол рисуемого полотна.

Но этот же талант повествователя-эпика заставил Синклера Льюиса пройти и через все этапы повествовательных жанров. Льюис постепенно и закономерно впитывал и перерабатывал в себе все жанровые особенности романа, преодолевая достижения литературной традиции, вплетая свое звено в ее бесконечную цепь.

Обозревая творчество Синклера Льюиса,—восемь больших романов,—можно говорить не о смене в них жанров, или о переходе автора от одного к другому, а о *преобладании* тех или иных элементов в каждом из его романов. Дань типично-американскому роману с элементами «авантюризма», звучащими то громче, то глуше, Льюис неизменно отдает в силу органической неизбежности иметь дело с этими красками на своей палитре, оттенки которой собраны в тон общему колориту жизни. Но с первого романа «Наш мистер Ренн»

и до последнего опубликованного «Ментрап» Синклер Льюис проходит совершенно своеобразную эволюцию романиста, то усиливающего, то ослабляющего интерес к центральной фигуре, к «герою» произведения. Эта колеблющаяся линия восхождения и спуска героического персонажа находится в прямой зависимости от акцентуации жанрового оттенка: чем сильнее упор в сторону авантюрного романа, тем определеннее фигура «героя», «героини», пока в «Мистере Бэббите» Льюис не дойдет до формы широкого, безгероичного социального романа, в котором центральный персонаж не «герой» первоначальной концепции, а некий символ, собирательное лицо современного делового янки с его особенностями и типическими чертами. После этого романа концепция центрального персонажа получает иную мотивировку и раздвоется: идя одной линией к сильнейшему и значительнейшему роману писателя—«Мартину Арроусмиту»,— другой к своеобразной фигуре антипода Мартина — Ральфу Прескотту в «Ментрапе» и через него, вероятно, куда-то дальше.

Эти восемь романов Синклера Льюиса рисуются нам, как цельный и законченный этап его творчества, характерно начатый и законченный одним и тем же приемом «пародирования», играющим такую большую роль в истории творчества больших художников (вспомним Достоевского).

Но об этом ниже, теперь же остановимся несколько подробнее на отдельных произведениях для уяснения этой важной особенности таланта Льюиса.

* * *

«Наш мистер Ренн»—роман с показательным подзаголовком «романтическое путешествие одного джентльмена» — является первичной ячейкой эпического творчества Синклера Льюиса. В этом произведении автор еще не свободен от сковывающих пут традиции приключенческого романа, в который он, в подражание великому мастеру Джеку Лондону, подсыпает не слишком большие дозы «общественной» установки, собирая их на улицах Нью-Йорка, в частной конторе, где служит «наш» мистер Ренн, в большом типичном общежитии и т. д. Но главное в этом произведении—«романтическое путешествие», совершенно неизбежное в «настоящем» романе. И Синклер Льюис подходит к своей теме весьма оригинально: он *пародирует* общепринятые приемы американского повествования. Этот роман—в значительной мере вырос из пародийного задания автора. Сделав своего героя, мистера Ренна, этого типичного американского мелкого конторщика, «героем» романа, Льюис должен дать героическую мотивировку, столь принятую в линии литературной традиции для оправдания интереса в приключенческом романе. И Льюис пародирует канонического «героя» романов, рисуя фигуру мистера Ренна, которого он наделяет качествами шаржированного, окарикатуренного героя: плюгавая внешность, однобокая романтическая мечтательность (шарж на американского Дон-Кихота!), путешествие в Европу на скотопровозном судне в обществе быков, «подвиги» Билля, «приключения» в Англии, встреча с Истрой Нэш, девушкой другой среды и интересов, любовь к которой особенно ярко подчеркивает ничтожество «героя» на фоне натуры, которая ему не по плечу, подлинное место Ренна по возвращении в Нью-Йорк подле мещаночки Нелли, с которой он и находит свое незамысловатое счастье на максимум заработка в неделю и в маленькой квартирке многоэтажной громады Нью-Йорка... Весь роман построен в этом пародийном плане, на контрастах «героического» по традиции и иронического по существу отношения к трактуемому материалу. Провалы между обоими планами автор заполняет бесподобными мелкими характеристиками, тонкими бытовыми наблюдениями, резкими мазками реалистического рисунка социального фона и налетом своеобразного юмора, заимствованного из большой и вдумчивой начитанности.

Так, от первого своего романа с «минус героем» и обязательной данью «приключенчеству» Льюис отправляется в дальнейший творческий путь, захватив из него одну фигуру Истры Нэш,

еще несколько загадочной в первом, но уже весьма определившейся во втором произведении автора.

«Полет Сокола»—тоже с известной приключенческой окраской, но уже с совершенно иной установкой роман. Он тоже связан с традицией, овеян дыханием Джека Лондона, но в манере социально-героического романа лучших образцов и вовсе лишен пародийности. Летчик—Сокол Карл Эриксон—подлинный, серьезный герой, он имеет свою «историю», ту Vorgeschichte, о которой заботятся романисты, желающие дать характер, тип в своем литературном персонаже. Мистер Рейн не имеет прошлого, т.-е. его незачем рассказывать: всякий и сам догадается, каково оно. Карл Эриксон растет на глазах читателя, следящего из страницы в страницу за его детством, годами учения, скитаниями, трудом и подвигами авиатора, триумфом победителя, исканиями любви и ласки, ростом чувства и судьбой человека.

Не случайно «героем» избрал автор не «потомственного» американца, а иммигранта в предшествующем поколении: все эти «потомственные» давно перестали быть героями, а автору нужен был персонаж с подновляющей традицию мотивировкой. Эриксона автор проводит по типичным этапам Америки: из хлеборобных, фермерских провинций через города и дороги скитаний в Нью-Йорк, из авиационной ячейки Калифорнии—по воздуху через всю страну и обратно в Нью-Йорк уже в качестве искателя новых путей после головокружительных триумфов летчика.

Впервые у Синклера Льюиса звучат в этом романе социальные мотивы. Среда играет роль части фона, другую часть занимает традиционно-американская манера повествования. Но социальные мотивы склонного к отвлеченному и несколько наивному «социализму» автора вводятся уже рукой крепнущего мастера. Инцидент в колледже с проф. Фрэзером, нью-йоркское общество средних лавочников, психологическая мотивировка классовых черт в Руфи Уинслоу, беглые штрихи, набрасывающие быт «деловой» Америки и типично-буржуазное отношение к «знаменитостям», в какой бы области они ни об'явились, характеризуют путь Льюиса, на который он вступил уже твердой ногой.

В дальнейшей эволюции его творчества тема «героя» в стиле традиционного романа оказалась исчерпанной. Автор не нашел новой разновидности для «героического» романа, и ему приходилось итти или прямо к безгероичному социально-бытовому роману, или через окольные дороги социально-психологического романа с перенесением внимания на другие персонажи к нему же.

Синклер Льюис пошел по второму пути, ибо он ему был нужен, как ряд этюдов к широкой картине общества.

Героя больше нет, но, может быть, есть «героини»? Женщина—вот еще почти совсем неоткрытая область американского романа. Героини Джека Лондона не удовлетворяли Синклера Льюиса, и он должен был через них притти к своей собственной концепции литературной американки. От первых романов остались у него три типа, более или менее отчетливо созданных: Истра Нэш, Герти Каулс и Руфь Уинслоу. С Истрой, изломанной, европеизированной представительницей богемы, делать было нечего, Герти Каулс годится только на третьи роли и, после известного преображения среды и места, появится в образе супруги мистера Бэббита, а вот Руфь Уинслоу—как характер—может увлечь и развернуться в ряд персонажей. С ней и вступил автор в полосу своих трех «женских» романов: «The Job», «Main Street» и «Free Air».

Если Руфь не выдать замуж за Сокола-Эриксона, лишить ее богатого папаши, но сохранить за ней ее интеллектуальность, чувствительность, темперамент и тягу к любви, которую нужно завоевать на этапах самостоятельного существования девушки, пробивающей себе дорогу в конторах и агентствах сумасшедшего капиталистического Нью-Йорка, то получится своеобразный тип героини, во всяком случае достойный пентрального места в романе и могущий послужить выра-

жением социально-психологического типа женщины современной «деловой» Америки.

Приглядитесь к Уне Голден, героине романа «The Job» и вы увидите, как призрачны намерения автора, как отчетливо вырастает из предшествующих персонажей этот тип Синклера Льюиса. Приведение в исполнение этого задания заставило автора изменить в корне конструктивный план своего романа. Совершенно исчезают приключенческие мотивы, «героичность» растворяется в приемах мотивировки *характера*, и на первое место раз навсегда выступает задание создать полный и цельный социальный фон, вывести выпукло и ярко среду, дать картину того общества, отвратительные черты которого не могут не возмущать чуткое сознание художника.

Девушка Уна Голден завоевывает себе какой-то кусок жизни, находит свое место и свое личное счастье в конце романа.

Очередным заданием для автора становится рисунок психики женщины, связанной мужем, домом, семьей и определенной средой «друзей и знакомых» на фоне того же общества, но взятого уже не в масштабе большого центра, а умышленно — в контрастовом плане «главной улицы» провинциальной дыры.

Эта тема с изумительной полнотой разработана Льюисом в его следующем романе «Main Street» («Главная Улица»).

Кэроль — известное преображение предшествующих героинь, но уже в начале романа выдаваемая замуж за неплохого, но и не «героического» человека, врача в провинциальном городе. Ее мечты быть общественно-полезной, внести «красоту» в жизнь дрянного городишки, эмоциональные бурления ее натуры незаурядной женщины, ее судорожная борьба за малюсенькие отступления отпошлого, штампованного, общепринятого и «приличного» уклада мещанского прозябания — стимулируют черты настоящей личной трагедии в бесконечном ряде столкновений, интриг, лицемерия и лжи, какими она окружена в своей жизни на этой типичной «главной» улице, по бокам которой выстроились «особняки» буржуазных верхов чванной и глупой горсточки бизнесменов и чиновников провинции...

Конечно, крылья Кэроль подрезаются, она должна уступить в неравной борьбе и, махнув рукой, помириться с болотом, если в нем живешь, если ты женщина, имеющая мужа, детей, дом. Но рожденная ею дочь рекомендуется матерью и мужу, и—через его голову—читателю, как «бомба», которая взорвет когда-нибудь устои ненавистного Кэроль мещанского быта «главной улицы».

Однако, пока растет и зреет эта «бомба», Синклер Льюис в следующем своем романе «Free Air» («На вольном воздухе») возвращается еще раз к прототипу своих женских персонажей—Руфь Уинслоу. Он берет девушку из среды несколькими градусами выше средних лавочников — крупной промышленной аристократии. Это уже круги, задающие «тон» всему обществу, к разоблачению которых и потянулась рука смелого и от произведения к произведению зреющего художника. Клэр Болтвуд—это преодоление Руфи, естественное в сознании писателя после Уны и Кэроль. Клэр выше своей среды и сознает это, чувствуя неудовлетворенность и недовольство своей жизнью, обставленной роскошью и мишурой аляповатого крупно-буржуазного вкуса. Ее прогулка в автомобиле в Ситл в шт. Вашингтон является некоторым выходом из душной атмосферы среды и в то же время канвой для самого романа, в котором приключенческий элемент взят не как главный, а как второстепенный мотив и как повод к сближению с Мильт Дагеттом, сильно пахнущим еще Карлом Эриксоном, как и он, идущим к завоеванию жизни и женщины из другой среды по влечению сердца через препятствия, как и он—не «потомственный» американец, а иммигрант в третьем поколении.

Интеллигент Мильт противопоставляется чванным дельцам и денежным тузам, нажившим свои состояния весьма и весьма сомнительными средствами. Это разоблачение темного прошлого «гордых» лавочников оригиналкой старухой, «тетей Хэти», не просто гвоздь

романа, а одна из вех сюжетной линии социально-психологического целого. Во многом этот роман повторяет знакомые ситуации прежних произведений: официальный жених Клэр, Джеф Сэкстон,— только разновидность Филя Денлеви, мотивировка характера Мильта, история нарастания любовной эмоции Клэр, отдельные сцены и положения и т. д. Но он все-таки этап в творчестве автора, так как не только завершает определенную галлерею типов и характеров, но и подводит его вплотную к созревшему заданию построить широкий социально значимый роман с многосторонним отражением недостатков и теневых сторон жизни общества, в котором нет «героев», а есть яркие индивидуальности, задыхающиеся в условиях стандартизованной пошлости бытового уклада и обреченные либо на борьбу, либо на роль своеобразной американской разновидности «лишнего человека», из'еденного рефлексией и гамлетизмом.

Эти три задания и выполняет Синклер Льюис в своих последних трех романах: «Mister Babbit», «Martin Arrousmith» и «Mentrap».

В «Мистере Бэббите» покончено с героями и героинями. Центральная фигура дельца Бэббита, ни плохого, ни хорошего, а среднего человека современной Америки, воплощает не индивидуальность, а типичный продукт пошлой буржуазной общественности. Бэббит банален во всем: от одежды и пробора до мыслей и «идеалов», ординарных потребностей и эмоций. Его «бунт»— не протест, а каприз, выросший из маленьких эгоистических побуждений, не только принципиально не обоснованных, но и просто хаотически случайных, почему он так легко и безболезненно сдает все позиции и мирится с обществом, с наслаждением растворяясь в его пошлой болотной тине. Его супруга—это прожившая ординарную, бесцветную жизнь Герти Каулс, его сын—Бэббит в молодости и его дочь— та же, лишь на ступеньку следующего поколения поднявшаяся, Герти. Ни дерзаний, ни взлетов, ни смелых поступков не совершается в этом романе: ровная река пошлости и деловой пены льется в спокойных берегах налаженной, стандартизованной жизни Зенита, символизирующего всю Америку, пожалуй, выразительней, чем это сделал бы Нью-Йорк. Зато и картина получается потрясающая по полноте и насыщенности. Физически задыхаешься в этой атмосфере эпически спокойно развертывающегося повествования, мозаически, по камешку складывающегося в громадное целое. Фон романа занимает все место, как бывает на картинах с огромным задним планом «воздуха». Вот этот спертый воздух, в потоках которого дрыгаются маленькие фигурки банальных людей, шелестящих чеками и занятых только устройством своего мизерного благополучия, дает совершенно своеобразный социальный портрет Америки, написанный рукой вполне созревшего большого мастера.

Но ведь не все же в Америке Бэббиты! Пусть класс умирает, но страна живет, выталкивает какие-то новые элементы на авансцену жизни, уготовляя путь новому, свежему классу.

Представителей другого класса, идущего на смену разлагающемуся, Синклер Льюис пока не знает, или, может быть, умышленно не показывает, пока не дорисует полной картины современности.

А в ней есть индивидуальности, крупные, неукладные люди, которым тесно в стандартизованных рамках, которые всей своей деятельностью неизбежно «прут на рожон», не могут не попасть в положение конфликта с окружающей средой и обществом.

Какая же судьба ожидает эти личности, выступающие с подлинным бунтом против липкой, пошлой рутинности жизни, бросающие вызов «приличному» обществу?

«Мартин Арроусмит» иллюстрирует судьбу такой индивидуальности, умышленно поставленной автором в верхний срез американского общества, в среду его мозга, ученых университетских коллегий. И там те же интриги, то же честолюбие, подхалимство капиталу, карьеризм, рутина, пошлость, «второсортность» мышления и кастовое чванство. Ученые лаборатории превращены в инкубаторы, в которых высиживаются дешевые, но гнусные политические идеи,

подводятся «идеологические» базы под всякие ку-клукс-кланы, обмозговываются «обезьяньи процессы», душится живая исследовательская мысль и свободная инициатива изысканий... Мартин со студенческой скамьи задыхается в этой атмосфере, мечется от начинания к начинанию, от дела к делу. Он — врач, администратор, ученый и просто человек с мыслями и эмоциями недюжинной натуры — не может найти спокойной «настоящей» деятельности, сталкиваясь на всех перекрестках с глухой стеной застоя, рутины, пошлости и злобы.

Рамки романа бесконечно раздвигаются: показывается вся страна, столица, большие и маленькие города, поселки и фермы, проходят галлереи людей всех профессий, темпераментов и культур... Редкостью становится *человек*, а гениальный Готлиб только предмет травли. Сам Мартин нигде не уживается, ничего сделать не может, так как на всяком деле лежат две печати: рутины и бездарности.

Конфликт Арроусмита с обществом — не путь шествия героя, а крестная голгофа большой индивидуальности, утопляемой в жидком вонючем болоте. Характерно, что в этом социально-бытовом романе с очень широким охватом мы не встречаем ни одной знакомой уже нам фигуры женщин. Для нового задания потребовалась новая глина, и Льюис лепит теперь уже небольшие, но весьма реальные фигурки женщин, встречающихся на пути Арроусмита, из которых Леора совершенно иная комбинация черт общественно-психологического типа современной американки. Слабой реминисценцией прежних героинь выступает образ второй жены Мартина, типичной буржуазки из среды лавочников, с которой он, конечно, ужиться не может.

Но если отнять у Мартина Арроусмита его одаренность, напряженность воли, снизить волну его эмоций и лишить творческого фермента его ум, что получится? Этот вопрос, кажется мне, стал перед Синклером Льюисом после написания романа о Мартине Арроусмите. И он на него ответил «Ментрапом», в котором Ральф Прескотт, — обездушенный Мартин, изнанка его большой личности. Глина та же, из которой вылеплен и Арроусмит, но «дух» ее не оживил. В результате тонкое художественное пародирование последнего «героя».

И создается завершающий определенный творческий этап роман о человеке робком, страдающем оглядкой, склонном копаться в душе, повесть о нерешительном, безвольном и сомневающемся интеллигенте.

Вернувшись, по необходимости создать контрастовый план, к приемам авантюрного романа, Льюис весь роман выдерживает в тонах отчетливых противоречий, выдающих его намерение спародировать еще раз и себя и канон повествования.

Беспочвенный интеллигент Ральф ищет сильных переживаний в какой-то чортовой трущобе в Канаде, где жизнь, тоскливая и нелепая, почему-то должна остро воздействовать на его психику. Любовь к замужней женщине и долг дружбы к ее мужу, невольное ее похищение и своеобразное сожительство втроем питают душу этого многословного и «гамлетизирующего» американца, кругом обманутого и жизнью и людьми. Вот что может получиться из интеллигента современной Америки, где сцепления классовых группировок хаотичны и случайны, где нет определенной физиономии интеллигенции, затерявшейся между типами дельцов и бродяг...

Этот роман должен открыть глаза американскому читателю, сказать какое-то важное, но, может быть, и последнее слово о сегодняшней культуре махровой буржуазной общественности. Но этим же романом логически завершается и какой-то этап в творчестве самого Синклера Льюиса. Не берясь пророчествовать, мне хочется только указать, что дальнейший его ход должен быть — по логике эволюции всей волны его творчества — в сторону освещения отношений и персонажей в среде другой классовой прослойки американского общества, может быть, еще в формах связей и переходных ступеней между постигнутым и постигаемым.

А где он будет их искать, скажет, вероятно, в ближайшем будущем его

новый роман, в появлении которого нет решительно никаких оснований сомневаться...

* * *

Мы совершили путь по громадному оазису творчества одного из одареннейших писателей современной Америки, пытаясь не только рассказать читателю о содержании и общественном значении его романа, но и заглянуть одним глазком в его интимную лабораторию, где задумывались и вынашивались его незаурядные произведения.

Остается сказать несколько слов о его манере художника-повествователя. Перевод всегда обезличивает оригинал, передавая содержание, но лишая «стиля» или придавая ему черты личности переводчика. А плохих переводчиков больше, чем хороших. Вот почему наш читатель не ощущает стиля и Синклера Льюиса.

Между тем, Льюис в своем стиле неодинаков. У него для каждого романа свои приемы не только общей сюжетной композиции, но и фразовой конструкции. В одним случаях он ориентируется на короткую, обрывистую, даже сухую фразу, в других—течет широкой стилистической волной периода, всегда стараясь передать стилем ту «единицу эмоции», которая, по выражению Вундта, лежит в основе каждого произведения и создает ему аромат того или иного «настроения». Эти «настроения» у Синклера Льюиса находятся в тесной связи с его отношением к материалу, из которого он создает свои картины общества.

Но неизменно через все произведения проходит его излюбленный прием мозаичной кладки. Он по камешкам создает терпеливо и настойчиво целое и громадное. Маленькие фразы вырастают в большую волну стиля, роскошный стилистический период становится только ячейкой, ложащейся рядом с другой, чтоб, сцепившись в целое, дать бо́льшую единицу, которая в свою очередь, сочетаясь с рядом других, вырастает в картину. Ряд картин, неспешно и прочно соединенных, создает целое полотно.

Синклер Льюис не любит приема перестановки и перетасовки сюжетных планов. Раз начав, он неудержимо идет вперед, развивая и расширяя нить повествования до конца. В этом он американец с практическим и деловым подходом к задаче, что вполне совпало и с его большим, чисто-эпическим дарованием, в свете которого эмоционально-лирическая стихия играет подчиненную роль, укладываясь в ряды повествовательных приемов.

Вот почему этот писатель так закономерно-последовательно прошел положенные этапы в развитии своего творчества, вырастая из элементов пародийно-приключенческого романа, через авантюрный и социально-психологический роман, в первоклассного мастера социально-бытовых повествований с очень умелым пользованием внутри произведения преимуществами всех жанровых установок, психологической мотивировкой и чеканной мозаикой стиля.

В этом его великая художественная убедительность.

* * *

Статья эта была уже набрана, когда мы получили только что вышедший в свет в Нью-Йорке новый роман Синклера Льюиса «Elmer Gantry». Роман этот развертывает огромное полотно современной Америки в области ее официально-религиозных отношений. Автор посвятил его Менкену, главному изобличителю ханжества и лицемерия американского клерикализма.

В этом огромном романе рассказывается жизнь молодого здорового парня—Эльмера Гантри, которого мать хочет видеть служителем культа, а учителя деятельно готовят его к этой миссии.

В атмосфере профессиональных интересов церкви, утопая в волнах церковного делячества со всеми особенностями бытовых его форм, растет и формируется будущий пастор, представляющий в начале книги интересы баптистского бога. Раз'ездные проповеди в полном блеске их коммерческой стороны и сознательного мороченья доверчивых верующих составляют фон, на котором разыгрывается личный роман героя с пасторской дочерью, которая еще до своего замужества с Гантри

умудряется ему изменить. Вокруг эпизода с пасторской дочерью, застигнутой папашей и свидетелями en flagrant délit, разыгрывается скандал. Гантри меняет пасторскую рясу на костюм и судьбу комми-вояжера, что обогащает его опыт и хорошо знакомит с жизнью страны. Но профессия держит человека цепко, и Гантри должен вернуться к тому делу, которому он так упорно обучался. Через любовь к женщине-проповеднице, имеющей головокружительный успех у «верующей публики», Эльмер возвращается к церкви и вновь окунается в ее атмосферу, насыщенную ложью, лицемерием, расчетом, обманами и т. д.

После смерти подруги, далеко не одними идеями приковывавшей к себе Гантри, он быстро завоевывает успех в качестве представителя теперь уже бога методистов. Он женится и погружается в кипучую деятельность видного и модного проповедника. Но он переоценивает себя, свои силы и податливость среды, на нравы которой он хочет влиять не только словом служителя культа, но и мерами служителя государства. Чрезвычайно характерно это переплетение полицейских функций и «духовной» деятельности пастора. Обличая «пороки»—алкоголизм, курение, свободную любовь, несоблюдение воскресного отдыха, непосещение церкви и т. д., Гантри не останавливается перед насилием и принудительным внедрением своей морали в среду паствы. Получается гнусное социальное уродство, на фоне которого мечты Гантри о всеобщей и единой методистской этике для всего мира приобретают выразительность острейшей сатиры, возбуждающей смех и негодование.

Этот роман полон исключительной силы. Он не только вскрывает одну из самых смрадных язв ханжеской Америки «обезьяньих процессов», он показывает с потрясающей убедительностью всю буржуазную Америку, обрабатываемую деятелями типа Эльмера Гантри, который сам не верит в бога, которым он торгует, навязывая массам этот товар, совершенно необходимый для поддержания существующего порядка вещей.

Этот роман—этап огромной важности в творчестве Синклера Льюиса: в нем он поднимается на страшную высоту творчества, сумев показать отрицательного героя не пародийно, а в теснейшей связи со всей социальной обстановкой. Это—героический роман, но с отрицательным героем, как «Мартин Арроусмит»—с положительным. Вот почему этот роман, выросший из «Мартина Арроусмита», с такой же силой показывает еще мало освещенный мир клерикалов Америки. Нужно было великое мужество, чтоб показать болото научного мира, но для обличения могущественнейшей среды клерикалов Америки потребовался героизм беззаветного борца за истину.

Отсюда—потрясающее впечатление, которое производит этот роман.

III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАРЕК

Фрол Скобеев

Не любо—не слушай...

Небезызвестный фельетонист Мих. Левидов, философствуя о любви в одном из подвалов «Вечерней Москвы» (№ 278, 1926 г. «Также о любви»), щеголяет перед читателями своим знаньем русских пословиц:

«Лозунг—ум хорошо, а два—лучше, или—*семь раз отрежь, один раз отмерь*»...

Ах, тов. читатель, не верь Мих. Левидову: если так резать, как он рекомендует, то и мерить будет нечего.

Еще о ликвидации неграмотности

Чудно переводят наши переводчики, но еще чудней то, что Госиздат издает их переводы. Впрочем, переводчики во вступленьях не нуждаются, а говорят сами за себя.

На этот раз говорит Н. О. Лернер, немало, как видно, потрудившийся над романом М. Ролана «Осман-омолаживатель» (ГИЗ, 1926):

«Его... сложенье и... костюм вызвали бы улыбку *на уста* (?)... присяжных красавцев» (стр. 36).

«Доктор... со своими... глазами, *перекатывающимися* с одного предмета на другой» (стр. 89).

«Так отставной кондитер, *разбогатевший порчею зубов* (?!) своим современникам, стал владельцем *родимого* дома Ковиньолей» (стр. 30).

Почувствовав от такого перевода порчу зубов, с перекатывающимися глазами я прибежал к дедушке русской литературы, т. Козьме Пруткову, и говорю—вот, мол, как писать начали.

— Что ж,—говорит т. Прутков,—неграмотность-то еще не вся ликвидирована, удивляться тут нечего...

Прокатили

Как сообщает газета «Кино» (№ 2, 1927),

«Прометус» начинает с начала января *прокатывать* «Ивана Грозного» («Крылья холопа») по берлинским экранам.

Конечно, Грозному от таких «прокатываний» ничего не сделается, но правильность языка страдает несомненно.

Нам пишет Вера Инбер

В своем письме из Парижа о «Золотой лихорадке» Чаплина («Вечерняя Москва» № 18, 1927) Инбер уверяет москвичей:

«*Недаром* во Франции *писались книги* по поводу «Золотой лихорадки». Из... хороших картин эта самая лучшая, ибо... ее ирония и нежность *не поддаются описанию*»...

Зачем же писать о том, что не поддается описанию? Занятие, по меньшей мере, бесполезное. Бездельники эти французы!

Кто кого тащит?

Как утверждает Маяковский («Письмо к Горькому», «Новый Леф», № 1, 1927):

годы на спины грузя,
тащим
историю литературы
лишь мы
и наши друзья.

Но, ознакомившись с «Новым Лефом», читатель увидит, что не они ее тащат, а она их, и притом за волосы.

Дважды умерший

Это—Николай Васильевич Гоголь, а хоронила его дважды—«Вечерняя Москва».

В календаре № 52 газеты от 4 марта 1927 г. было напечатано:

«1852. Умер Ник. Вас. Гоголь».

Это же известие, но уже с указанием, что умер *писатель*, а не какой-нибудь другой Гоголь, мы находим и в календаре № 54 газеты от 7 марта, где читаем:

«1852. Умер писатель Н. В. Гоголь».

Жив бы был Иван Александрович Хлестаков и если бы читал он «Вечернюю Москву», то непременно бы сказал:

— Ах, да, это правда: в первый раз точно какой-то Гоголь умер, но есть другой Гоголь, писатель, так тот уж, верно, в этот второй раз скончался...

Новое открытие

Рецензируя постановку пьесы А. Глебова «Рост», Уриэль пишет («Вечерняя Москва», № 27, 1927):

«Рост»—это кусок нашей борьбы на мирном фронте, и этот *кусок звучит* бодро».

Слыхал я, что будто бы есть поющие слоны, но чтобы куски звучали—не слыхивал, это в диковинку.

Мат из люльки

Это у М. Есипова в рассказе «Риштрат» («Мир Приключений», №8, 1926), где так и сказано:

«...Калистрат брыкался в люльке и орал *истошным матом*».

Должно быть, ребеночек очень бойким родился, но даже «благой мат» и то мало уместен для младенцев, качающихся в люльке.

Игрушечная война

Тот же Есипов, там же, пишет:

«Пришли сначала белые солдаты, потом красные пришли выгонять их.

Получилась война».

К этому бы следовало добавить:

Поставили они пушку, постреляли горохом, а потом разошлись.

Так все просто выходит у Есипова.

Разговор о Фурманове и о Гоголе

Как сообщает «Вечерняя Москва» (№ 242, 1926), памятник покойному Д. Фурманову комиссией при ВАПП по увековечению его памяти «будет установлен на Пречистенском бульваре, о переименовании которого в улицу им. Фурманова возбуждено ходатайство перед Моссоветом».

— Вот,—говорю за чаем тов. Прутькову Козьме,—скоро памятник новый открывать будем.

— Это,—отвечает т. Прутков,—хорошо, да тут что-то не так. Пречистенского-то бульвара в Москве и нет вовсе. Пойдем, брат, удостоверимся.

Встали и пошли. Через ул. Герцена, ул. Грановского, по улице Маркса и Энгельса и ул. Фрунзе—приходим на этот самый бульвар, как сказал милицейский—бывший Пречистенский.

— Смотри,—говорит т. Прутков,—видишь синюю дощечку на угольном доме?

— Вижу.

— Что на ней написано?

— Гоголевский бульвар. Внутренний проезд.

— А на той стороне?

— Гоголевский бульвар. Внешний проезд.

— Вот,—спрашивает он меня,—видал? Фурманов, конечно, писатель хороший, но и Гоголь тоже, брат, ого! Стоит ли переименовывать-то?

Руководство для переводчиков

Оно называется «Французско-русское руководство для разговора и эпистолярного стиля» («Librairie Garnier Frères. Paris. 29. 10. 1917. p. 376. Prix 6 fr.), составлено некиим Монтевердом и продается в Москве, в «Международной Книге».

Знаменитая развесистая клюква ничто перед теми ошпирными знаниями русского быта и языка, которые развертывает перед изумленными читателями г. Монтеверд. Оно и понятно—развесистой клюкве уже сто лет, а это руководство издано совсем недавно—сейчас же после Октябрьской революции.

Как должен разговаривать и что делать каждый честный француз, попавший в нашу варварскую страну,—на это руководство дает исчерпывающие ответы, поражая необыкновенной предусмотрительностью.

Вот, в качестве примеров, несколько таких разговоров [1]):

В дороге на станцию (стр. 119—194):

— ...если *везму* извощика, сколько будет стоить?

— Это зависит от *долготы* (?) пространства.

— Шофер! Шофер! *пристаните*.

— Полагайтесь на меня. Ваши сундука следуют за вами *нога за ногу* (?).

На границе (стр. 222):

— Дорога *заставлена*, шоффер... Дайте знак трубою.

— День *наисходе*. Зажгите фонарь.

— Еще *большой* (?) день; *во внимания* благоразумия зажгем фонары.

— Ночь скоро приходит. *Надо боятьс случая и протокола* (?).

Театр и концерты (стр. 297):

— Комик... *делает на публике* (?) неодолимое впечатленье.

В парикмахерской (стр. 306—308):

— Бритва вас не *трет*? (?!).

— Ваша бритва мне *трет* (?!).

— Желаете немножко рысовой пудры?

— Спасибо, довольно будет немножко уксуса (?).

— Продолжайте пробор *сзади головы* (?).

— Я не люблю *стирок* (?), довольно будет немножко воды.

— Пожалуйста, *обжечь* мне немножко *кончины* волос (?).

— Я вас прошу *притупить* мои *усы* (?).

---

[1]) Составленное еще по старой орфографии это «Руководство» весьма своеобразно пользуется «ятем», который я выпустил, как и «и десятиричное». В остальном орфография подлинника сохраняется.

Зубной врач (стр. 340—341):

— Я не закрыл глаза *чрезцелу* ночь...

— Мне недостает двух зубов у *низшей* челюсти...

Живопись и фотография (стр. 355—356):

— В *так* живописной стране как вот эта человек *покушен* (?) набрасывать ежеминутно...

Но всего лучше монолог, почему-то попавший в раздел

Гимнастика и пр. (стр. 359):

«...человек—борец неутомимый, *если* не может *вестъ* войну с другими *людями*, он должен ее вести с *элементами* (?).

Но и за одного Икара *обжегающего* себе *крыла* и *упадшего* в море, сколько-то *дедалов* достигнут славы, *исполняя* свои *сновидения* (?) и *бросившись в пространство мира вслед за прогрессом* (?!).

Поистине изумительно! Зачем ввезено к нам такое руководство? По этому вопросу запросил раз'яснений у т. Пруткова.

— Как,—говорит он,—зачем? Да наши переводчики им пользуются. Что ты, не видишь, что ли, братец? Почитай-ка переводные-то книжки, там еще хуже разговаривают.

Увы, это так.

IV. НЕСКРОМНОСТИ ЛОРДА БЕРТИ [1])

Проф. П. Преображенский

Скромное название английского издания «Дневник лорда Берти» изменено русским переводчиком в более красочное—«За кулисами Антанты», и хотя далеко не всегда поэтические вольности бывают удачны, эта перемена имеет свое оправдание. Почти что незаметное по своей скромности английское заглавие скрывает книгу весьма нескромного содержания, книгу несомненно интересную даже для нашего поколения, заваленного всевозможными откровениями и разоблачениями по части международной истории. И это несмотря на то, что в ней нельзя найти каких-либо новых сенсационных разоблачений или даже достаточного количества новых материалов по дипломатической истории за время мировой войны. Для всякого, кто знаком с бесконечным количеством изданных дипломатических документов и воспоминаниями высокопоставленных государственных деятелей, дневник Берти будет своего рода полезным противоядием против некоторых специфических особенностей этих материалов.

У дипломатического способа выражения мыслей имеются свои особенности, которые медленно, но верно, набивают оскомину при их изучении. Какая бы сомнительная сделка ни содержалась в данном документе, все равно—он написан тем языком, который даже в просторечии называется «дипломатическим»: все полно любезностями, заверениями в миролюбии, ссылками на прогресс, культуру, общественное мнение и т. п. Человеческий язык в этих документах обычно начинается лишь в примечаниях на полях и в заключительных пометках, делавшихся теми, кто эти документы по обязанности читал. Эти примечания известны почти исключительно в немецких документах и принадлежат они по большей части такому заведомо нескромному и бестактному человеку, как Вильгельм II. Если бы свести все эти нескромные примечания воедино и придать им членораздельный смысл, то получился бы приблизительно дневник лорда Берти. Этот результат тем более удивителен, что английские дипломаты не только в официальных документах, но даже в своих воспоминаниях, твердо помнили мудрое изречение своей родины: «Дипломат—это человек, посланный за границу, чтобы лгать на благо своей собственной страны»... В этом отношении так типичны прилизанные и исполненные достоинства и благонамеренности воспоминания таких китов либерального империализма, как Ас-

[1]) Лорд Берти. — «За кулисами Антанты». Дневник британского посла в Париже. 1914—1919. Перев. и прим. Е. С. Бердовича. ГИЗ. М. 1927. Стр. 230.

квит, Холдэн, Грэй! Лорд Берти на время отложил эту манеру в сторону и на закате дней своих, чувствуя, как с каждым днем его карьера близится к концу и уходят в прошлое гордые принципы английской дипломатии эпохи лорда Солсбери, когда Англия была твердо уверена и в «блеске» своей изолированности и в неприступности меловых скал своих берегов, заносил в свой дневник такие вещи, которым он никак не мог подыскать подходящего места в закругленных формулах своих нот и донесений. И как бывает обманчива наружность! «Розовый цвет лица, седые волнистые волосы... он излагал вопросы с безобидной светской иронией, которая прикрывала утонченную практическую сметку»,—описывает Пуанкарэ наружность сэра Фрэнсиса Берти, английского посла в Париже. Эта идиллическая наружность очень мало соответствует далеко не идиллическому тону писаний лорда Берти.

Но в дневнике Берти интересна не только его формальная сторона. С точки зрения содержания это прекрасный дипломатический жанр, в достаточной степени обнаженные бытовые картинки дипломатической жизни в эпоху мировой войны. Можно даже с интересом проследить психологическую эволюцию этой жанристики—начиная с несколько придавленного, раздраженного и неуверенного тона первых лет военной грозы и кончая злобным торжеством победителя, восторгающегося беспощадностью маршала Фоша по отношению к повергнутым «бошам». Этот жанр без всяких прикрас и смягчений открывает ту оборотную сторону медали, которую иногда с таким трудом приходится вылущивать из вороха сложных оборотов и украшений, уснащающих реальные факты международной политики в пунктах и параграфах дипломатических нот, конвенций и соглашений. И это особенно пикантно потому, что, как нам известно, этот же самый человек умел в совершенстве пользоваться и волапюком дипломатической вежливости. С некоторым основанием можно даже поставить это обстоятельство Берти в заслугу. Крылатое выражение «человек в футляре» всего чаще может быть применено к дипломатам. Чтобы сделаться дипломатом, надо обязательно надеть особый футляр на свои чувства, мысли и способ их выражения, а потом, кто знает, такой футляр может прирасти и к живой плоти человека. С Берти этот футляр хоть на время отскочил—и картина получилась достаточно поучительная.

Конечно, отнюдь не следует думать, что Берти раскрывает какие-либо глубокие истины—все его суждения, замечания более, чем обусловлены традициями английской политики, к тому же для этой политики в эпоху его дневника несколько устарелыми. Но дневник Берти интересен тем, что самодовольная, подчас туповатая, ограниченность заядлого империалиста и брюзжащего на демократические уклоны английской и французской жизни аристократа выступает совсем неприкровенно,—sans phrase.

Прежде всего надо отметить, что Берти писал свой дневник в очень трудное для Антанты время, когда трещал по всем швам западный фронт, а русский паровой каток отказывался выполнить возложенную на него антантовскими дипломатами задачу. Эти неудачи пробуждали между союзниками дух своры и обостряли придушенные общей опасностью внутренние противоречия Антанты. Из трех членов этой дипломатической комбинации только свое собственное отечество и до некоторой степени Франция, может быть, потому, что Берти все же несколько акклиматизировался на месте своей миссии, сравнительно милостиво трактуются английским дипломатом. Россия находит себе очень мало сочувствия на страницах его дневника. Впрочем, Россия сама по себе представляется почтенным английским сэром, а впоследствии и лордом, довольно странной: «Нет больше России! Она распалась, и исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, т.-е. Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т. п. и сколько бы их ни удалось сфабриковать,

то, по мне, остальное может убираться к чорту и вариться в собственном соку. Российская республика не была бы в состоянии управлять магометанскими ханствами в Средней Азии и кавказскими княжествами» (стр. 191). В этих словах вся философия русской истории, и все сочувствие «дружественного» дипломата к «дружественной» российской державе!..

Еще острее становится у Берти вопрос о деятельности русской дипломатии в первые годы войны: «Какой дурак этот Извольский! Несколько дней тому назад он сказал: «У меня нет друзей. У меня есть союзники и люди, которыми я пользуюсь». В начале войны он претендовал на роль ее виновника. «Это—моя война». Теперь же он говорит: «Если бы я хоть сколько-нибудь был ответственен за эту войну, я не простил бы себе этого никогда» (стр. 37); или: «Сазонов обнаруживает полную меру глупости. Он воображает, что победа русских под Перемышлем делает его диктатором» (стр. 52). «Русские подобно Бурбонам ничего не забыли и ничему не научились; они продолжают до сих пор говорить: «Этого мы не хотим, то нам нужно, этого мы не позволим» (стр. 62). «Во время различных кризисов они все время вели себя положительно, как идиоты». В конечном счете вряд ли умственные качества русских дипломатов особенно интересовали Берти, но приходится сознаться, что у Берти были свои и очень основательные причины поносить и Сазонова и Извольского. Замыслы русской дипломатии вообще были мало приятны для Англии. «Здесь существует авторитетное мнение, что, имея Россию на Кавказе, на Босфоре и на северном конце Багдадской железной дороги, Англия окажется выданной на произвол России в Месопотамии» (стр. 52), —формулирует Берти свои реальные опасения за будущее. У него была своя, гораздо более скромная, программа уступок требованиям русской дипломатии. Когда Грэй сообщил ему, что в 1908 г. Англия была принуждена обещать России свободный проход своих военных судов из Черного моря в Средиземное и обратно, то Берти предложил следующее разрешение вопроса о проливах: «Константинополь превращается в вольный город, все форты на Дарданеллах и Босфоре разрушаются, к Дарданеллам и Босфору применяется под европейской гарантией режим Суэцкого канала» (стр. 39). Грэй вполне резонно усомнился в согласии России на такие, в конце концов, типично английские предложения. Несмотря на сомнения Грэя, Берти твердо надеялся, «что общественное мнение в Англии и за границей заставит державы отвергнуть в принципе русскую точку зрения о правах москвичей в отношении Константинополя и проливов между Черным и Средиземным морями» (стр. 49), и с сочувствием излагал точку зрения некоторых французских политиков о том, «чтобы Англия и Франция заняли Константинополь раньше России, дабы москвичи не имели возможности совершенно самостоятельно решать вопрос о будущем этого города и проливов» (стр. 50). Конечно, эти надежды и рассуждения имели некоторое основание в тот период времени, когда дарданелльская экспедиция союзников еще имела некоторые шансы на успех. Берти еще мог повторять Делонклу, который, как бы в pendant к воплям русских шовинистов о водружении креста над св. Софией, протестовал «во имя цивилизации против позора, каким явилось бы господство синода над Полой и Стамбулом», и говорил «о необходимости противодействовать замыслам св. синода» (стр. 54). Но, увы, как раз в это время царское правительство уже успело исторгнуть от своих союзников цену крови тех миллионов русских солдат, которых русское правительство за отсутствием снаряжения могло только и предложить Англии и Франции.

И все же Берти во многом прав в своей нелестной характеристике русской дипломатии. Русская дипломатия в своей константинопольской авантюре ставила себя почти что в опереточное положение, пытаясь принять смехотворное участие в дарданелльских операциях то путем посылки «Аскольда», то выдвигая совершенно нелепый проект посылки

казачьей бригады к Дарданеллам через Владивосток. Все эти претензии и эта склонность делить шкуру еще неубитого медведя и привели Берти к почти что справедливому выводу: «Русская дипломатия не заслуживает даже презрения. Она говорила и действовала так, как будто все русские пооедители могут диктовать свою волю» (стр. 68). Берти пришлось воочию убедиться в справедливости мнения гр. Витте, который был «против войны, так как Россия недостаточно подготовлена, и население ее не находится в состоянии покоя и удовлетворения; по его мнению, России, ее армии, железным дорогам и финансам нужно еще три года, прежде чем пуститься в войну» (стр. 20).

Уже в декабре 1915 г. Берти заносит в свой дневник, «что путь, по которому идет царь, напоминает путь Людовика XVI, возможно, что он будет устранен таким же способом, но, по русской манере, придворными кругами и аристократами». Такая революция по предполагаемой «русской манере» устраивала Берти, и при слухах о происках русских германофилов при царском дворе по поводу проекта заключения сепаратного мира, в августе 1916 г., Берти предается следующим размышлениям: «Я думаю, что Россия созрела для революции, и что попытка пойти на соглашение с Германией до того, как она разбита, об'единит народ и армию против германской партии и русского двора. Будем на это надеяться и об этом молиться» (стр. 110). Надежды Берти исполнились, и молитвы были услышаны. Революция произошла, но тут выступили ненавистные для Берти «пацифистские» и «экстремистские» элементы, и на место весьма мало им ценимого царского правительства пришло временное: «такои сволочи—правительством ее нельзя назвать,—которая стоит у власти в Петербурге» (стр. 141). Деятельность некоторых элементов из среды этой «сволочи» доставила в связи с предполагавшейся Стокгольмской конференцией столько хлопот Берти и его соратникам, что ему пришлось много раз плакаться в своем дневнике о «непрактичных людях» (стр. 153), какоВыми он, как это ни странно, почитал западно-европейских» правительственных» социалистов. Но действительность превзошла и эти ожидания — ругательный эпитет принужден был переместиться влево, и Берти пришлось мечтать уже не о революции, а совсем о другом: «Если бы только у Керенского хватило ума об'единиться с Корниловым, чтобы выгнать всю эту сволочь из Петербурга, то, может быть, был бы восстановлен хоть какой-нибудь порядок» (стр. 155).

На этот раз Берти просчитался, и записи его дневника о «шайке Ленина и Троцкого» принимают порой курьезный характер. Впрочем, эта курьезность зависит, главным образом, от источников его информации. В ней очень видную роль играл «Маклаков, так называемый русский посол» (стр. 164), сообщивший Берти «ценные» сведения о замыслах большевистского правительства, «которое спуталось с Щегловитовым и подготовляло с помощью немцев возведение на престол кого-либо из членов российского царствующего дома; и о желаниях русского народа, который не дозрел до республики, а хочет конституционную монархию» (стр.165). На фоне этих драгоценных сведений и бешеной злобы на выбытие русской армии из рядов анти-германской коалиции и начались разговоры об интервенции. Уже в декабре 1917 г. Берти советует Японии или Америке захватить Владивосток, чтобы предотвратить захват военных складов русскими «максималистами». Первым советчиком в этом направлении у него оказался «дурак» Извольский, рекомендовавший японскую интервенцию на том глубокомысленном основании, что «если вмешаются китайцы, то сибиряки бросятся в об'ятия большевиков» (стр. 169). Очевидно, для Извольского японцы были «почище» китайцев. Месяц спустя—разговоры Берти с Извольским относятся к концу января 1918 г.— Извольский развил более полную программу: «Концентрированное давление на большевиков должно быть начато из Архангельска, Сибири и Кавказа» (стр. 170). Однако этот обширный план не вызывал у Берти особого энту-

зиазма. «Очень длинная волынка»,— комментирует Берти излияния Извольского, который в разговорах с ним, не то из раскаяния, не то специально для своего собеседника, «каялся, что лично был против передачи России Константинополя!»...—и это после неудачи с Эренталем и после своей предвоенной деятельности на посольском посту в Париже! «Так называемый русский посол» Маклаков оказался еще смелее Извольского и без обиняков заявил Берти, да еще со слов Милюкова, «что британское правительство подстрекало русское требовать Константинополь, чего русские, за исключением отдельных лиц, не хотели, так как знали, что владение Константинополем принесет затруднения и сделает невозможным какое-либо примирение с турками» (стр. 165). Но относительно интервенции Маклаков прямо не высказывался, проявив, повидимому, в этом вопросе некоторую бестолковость. «Так называемый русский посол Маклаков хочет и не хочет русской интервенции в Сибири» (стр. 179), но зато твердо надеется на такие осязательные вещи, как «голод, мор, гражданская война и господство террора» (стр. 171).

Берти не пришлось вести дальше эти поучительные разговоры. Уже летом 1917 года в газетах начались слухи о том, что он покидает свой парижский пост. Сам Берти отнесся к этим слухам не очень одобрительно: «Мне не предлагали подавать в отставку, и... у меня нет оснований для этого», но в апреле 1918 г. Бальфур, конечно, «в очень благородных выражениях» сообщил Берти, что его миссия в Париже окончена. Берти оставалось только поблагодарить и перейти на покой в палату лордов.

Не следует думать, что только подвиги и дела русской дипломатии вызвали такую резкую характеристику со стороны Берти. Россия все же была великой державой и как-никак даже членом Антанты, но уже Италия являлась для британского величия сэра Берти страной весьма низкопробной. Даже Соединенные Штаты, повидимому, вследствие той неторопливости, с которой они входили в столь выгодную для них всеевропейскую свалку, вызывали у Берти брезгливую злобу, не говоря, конечно, о всей надоедливой балканской мошкаре, которую приходилось еще упрашивать, и надувательства которой высокородной английской дипломатии приходилось сносить. Можно почти без комментариев привести такую серию аттестаций: «Эти американцы—прогнившая шайка жуликов, распевающих псалмы и гоняющихся за барышами» (стр. 81); «Когда же итальянцы найдут момент, достаточно благоприятный, чтобы продаться?» (стр. 30); «Болгария, Греция и Румыния, как голодные волки, бросятся на умирающего турка, чтобы отхватить себе клочек, а турки повернут фронт и предадут своих друзей-гуннов» (стр. 49); «Органы германской печати сообщают о предполагающейся встрече королей Болгарии и Греции. О, эти шакалы, лижущие сапоги императора гуннов!» (стр. 81). Так и кажется, что присутствуешь на кухне, где готовили очень изысканный обед и преподнесли его в виде деклараций, нот, союзных и мирных договоров, но все эти тонкие кушанья готовили из очень недоброкачественных продуктов, с кухонными остатками которых, еще более разложившимися под пером недовольного английского дипломата, и приходится иметь дело.

Но зато Берти щедро расточал свои похвалы всем наиболее квалифицированным сторонникам крутой политики и насилия над побежденными и революционерами: «Фош был блистателен» (стр. 196); «Клемансо—это чудо» (стр. 197); «Два больших военных человека было в эту войну—Жоффр и Фош, а большим патриотическим и государственным деятелем, без всяких задних мыслей касательно голосов на выборах, является Клемансо» (стр. 203) и, наоборот, вкладывал, сколько мог, злобного яда в свои замечания об «идеалистах на конференции», в роде достопочтеннейшего Видро Вильсона, отечественных и французских социалистах, как Макдональд и (путаемые переводчиком) Томас и Тома. Для него, английского политика-реалиста старой школы, Лига Наций является лишь какой-то

неопределенной величиной, «от которой и колониальный мандат как-то неловко получить» (стр. 195). Он почти что потирает руки при мысли о «грызне», которая начнется в этом непонятном и ненужном для него учреждении. Здесь он оказался почти что провидцем. Но он ошибся в главном.

«То, что называется Россией, я считаю мертвым», — гордо записал лорд Берти 23 января 1919 г. Берти уже умер. Вспомнил ли бы когда-нибудь он эту дату, если бы продолжал заседать в предназначенной для него неблагодарным отечеством высокой палате?

V. ЗА РУБЕЖОМ

(Путевые впечатления из записной книжки журналиста)

А. Иоффе

В пути Москва—Варшава—Вена

Уже на Александровском вокзале в Москве, в «вагоне специального назначения», начинаешь чувствовать себя за границей, не то в Западной Европе, не то в Америке; впрочем, как себя чувствуют в Америке—я не знаю, ибо никогда там не бывал, хотя и не теряю надежды побывать, несмотря даже на упорную «визовую», так сказать, непримиримость нынешнего Вашингтонского правительства: начнут когда-нибудь и нам визы давать; жизнь заставит.

Но Европа хорошо знакома, и то неосязаемое, неуловимое, но внешне даже так резко ее характеризующее,—сразу же ощущается и отмечается.

Кажется, если человека, хоть раз побывавшего в Западной Европе, совершенно неожиданно и внезапно, даже, скажем, с завязанными глазами и на ковре самолете, перенести в любой российский город, а оттуда в любой западно-европейский,—он, не колеблясь ни минуты, заявит, в первом случае: «Союз Советских Социалистических Республик», а во втором: «Западная Европа».

Наш «вагон специального назначения», положим, обманывает: он—российский и пока стоит на самой что ни на есть русской территории, в матушке-Москве. Тут иллюзию «заграничности» создают: иностранный вид вагонов, да со всех сторон звучащая иностранная речь совсем не по-российски разодетой публики, в особенности дам.

Но специфический характер западноевропейских городов и даже деревень, вообще говоря, вероятно, главным образом создается массой готики, которая совершенно или почти совершенно отсутствует у нас.

Спокойное величие византийского стиля, преобладающего в нашем отечестве,—теперь, как и прежде, сразу же при переезде из Западной Европы через нашу границу приближает путешественника к «азиатщине» и переносит его в близкую нам «Евразию».

Пусть специалисты спорят о том, какой именно из всех стилей лучше и красивее,—каждый из нас чувствует себя *дома* только на этих улицах с многочисленными церквами, с их широкими позлащенными или ярко зелеными куполами, с плоскими крышами домов, с древними «Кремлями» наших старых городов, с их вычурными стенами «Китай-города» или длинными мавританскими окнами, а в особенности со столь родной и любимой нами, потому что типичной, несуразностью контрастов, когда рядом с девятиэтажным небоскребом ютится крохотный одноэтажный, или даже длинный, но во всяком случае низкий розовый или желтый домик с колоннами александровской эпохи. И, наоборот, все мы чувствуем себя на чужбине, когда видим ровные улицы с их однотипными домами, все ровнехонько в шесть этажей и ни на дюйм выше или ниже, с тянущимися в высь узкими шпилями их мрачных из серого камня готических церквей, с крестом у католиков или петухом у реформистов на самом высоком из шпилей; или же маленькие дома заграничной провинции, либо даже деревни,

где покатая красная черепичная крыша выше всей остальной части дома; или же, наконец, пестрые «лоскутные» ковры засеянных полей, мелькающих в окна вагонов, вместо необозримых пространств наших степей, лесов, либо же, засеянных одним и тем же родом хлеба, полей.

При царском самодержавии были у нас, входившие в состав российской империи, «переходные», так сказать, смешанного типа города, в роде Гельсингфорса, Риги, Варшавы, где российское, «евразиатское» перемешивалось с западно-европейским, но нынешняя Советская Россия и в этом смысле «очистилась», и теперь никто, даже, если бы при нашем воображаемом примере с ковром-самолетом не знал этого заранее, не мог бы усомниться, где он находится, в Западной ли Европе, или у нас.

Однако эти теоретические рассуждения прерываются вполне реальными и достаточно неприятными сообщениями.

Некоторые «маленькие недостатки механизма» сразу же дают себя чувствовать; сначала, как и полагается, недостатки отечественного механизма: придя в вагон во-время, за 5 минут до отхода поезда по расписанию,—с неудовольствием узнаешь, что отойдет наш поезд не раньше, чем через час, ибо на 7 часов опоздал манчжурский поезд, с которым он согласован.

Немного поворчав на эту неожиданную задержку,—неожиданную потому, что опоздания в отходе поездов теперь у нас уже давно отошли в область прошлого, мы от них отвыкли, ибо теперь наши поезда не только отправляются, но и движутся с почти математической точностью и аккуратностью, нисколько не уступая в этом отношении западно-европейским,—поворчав на это, устраиваешься поудобнее в своем «международном» купе, и предаешься размышлениям, благо для них времени предостаточно.

Да, как недавно еще, всего несколько лет назад, опоздание совершенно никого не трогало, опаздывали не на несколько часов, а на несколько суток. А теперь... прямой поезд Варшава—Вена! «Манчжурский поезд»!—Шутка ли сказать: маршрут в десятка полтора тысяч километров; путь, во много раз превышающий переезд через всю Западную Европу; грандиозный мост, соединяющий Запад с Востоком, Европу с Азией; необозримая «Евразия», шестая часть всей суши земного шара Советского оазиса в капиталистическом окружении... «Манчжурский поезд»—десять-двенадцать суток путешествия без пересадок, без границ, без досмотра вещей, просмотра паспортов. А там, еще дальше—Япония, Корея, Китай; Токио, Пекин, Шанхай, Кантон; если угодно,—Манилла, Филиппины, Канада, даже Калифорния, Соединенные Штаты Северной Америки... Двухнедельное путешествие по-суху в самых удобных в мире российских вагонах—двухнедельное такое путешествие вместо шестинедельного морского переезда, с страшными тихоокеанскими бурями, с неизбежными частыми отклонениями «в Ригу» и другими неприятностями столь долгого морского путешествия.

А на Западе, наоборот, начинается «версальская чересполосица»; что ни час, то новая граница, новая таможня, досмотр вещей, паспортные мытарства. Нет, насколько удобнее во многих и многих отношениях поездка на Восток, чем на Запад...

Но третий звонок обрывает нить этих размышлений. Последние прощания,—и поезд трогается в 18 часов 20 минут вместо полагающихся 17.

Едешь. — В вагон-ресторане (тоже вполне западно-европейского стиля и вида) в последний раз поглощаешь вкусный русский обед в предвидении печальной необходимости пару месяцев питаться почти несъедобной заграничной гадостью, ложишься спать, а на утро, немного нагнав первоначальное опоздание, подъезжаешь к польской границе.

Маленькая станция «Столбцы», ставшая известной благодаря тому, что определением Рижского мирного трактата возле нее проходит советско-польская граница. Более всего, однако, у нас известна тем, что обычно советскому гражданину здесь устраивают хотя бы самый маленький «бенефис».

Но к дипломатам любезны. А на этот раз местные польские власти проявляют

максимум внимания: все in corpore являются в вагон приветствовать, и итальянского посла графа Манцони, переведенного на тот же пост в Париж, и меня грешного весьма милостиво и с чисто-польской галантностью переводят прямо из вагона в вагон, без всяких формальностей и задержек. От избытка усердия чуть было не происходит курьезное, но, — если бы осуществилось, — весьма прискорбное недоразумение: перепутали было багаж графа Манцони с моим, благо оба мы имеем прямые билеты до Вены. Представляю себе физиономии их сиятельств, если бы, по прибытии в Вену, они вместо своих 16-ти сундуков получили один мой чемоданчик...

Как бы то ни было, но, наконец, все формальности выполнены, и бедные пассажиры, не имеющие привилегии диппаспорта, прошли через все пограничные «хождения по мукам»; поезд или, вернее, такие же, как наши, вагоны, но по-старому называющиеся здесь вагонами «международного общества спальных вагонов» и никем здесь не национализированные,—трогаются в дальнейший путь.

И тут мы узнаем о новых «недостатках механизма», на этот раз, однако, *не* советского механизма и *не* маленьких недостатках.

Согласно расписания, три раза в неделю от Столбцов должен отходить прямой поезд на Вену, хотя и с пересадкой в Варшаве, но без потери времени там, а только с получасовой остановкой. Когда вспоминаешь прошлогодние мытарства: почти шесть часов ожидания на советской границе, в Негорелом, почти столько же в Столбцах, затем почти сутки в Варшаве,—то заранее радуешься новому согласованию и благословляешь польское железнодорожное начальство за такое облегчение и ускорение путешествия. Однако оказывается, что на деле, на практике, не все так хорошо, как в теории. Поезд в Варшаве должен быть фактически согласован не только с московским, но и с манчжурским, ибо, как указано, в Москве первый дожидается второго, естественно, что при таких огромных расстояниях приход поезда во-время по расписанию почти невозможен, и обычно бывают опоздания. Тем не менее, идущий только три раза в неделю, якобы, согласованный прямой поезд Варшава — Вена — в Варшаве московского поезда *не дожидается* и отправляется аккуратно через полчаса после его номинального прихода, т.-е. фактически, в виду постоянного опоздания московского поезда,—почти всегда *до* прихода последнего... Хорошенькое «согласование».

В Москве концессионное общество «Дерутра», продающее прямые заграничные билеты, этого не сообщает, но, наоборот, усиленно рекомендует брать спальные места до самой Вены, красноречиво описывая повый норядок и все прелести нового «согласования» поездов.

В польском поезде кондуктор уже предупреждает об опоздании, преждевременном уходе «согласованного поезда» на Вену и вероятности перспективы ночевать в Варшаве, однако обнадеживает, что, вероятно, спальные билеты не пропадут, а будут обменены на другой поезд.

Льстишь себя этой надеждой, хотя настроение уже испорчено, ибо никак не можешь понять смысла и цели такого странного «согласования», когда «согласованный поезд» не дожидается прихода того, с кем согласован.

Но по приезде в Варшаву, конечно, узнаешь, что не только поезд на Вену давно уже ушел, так что приходится в Варшаве ночевать и ждать до двух часов следующего дня, но что билеты в спальных вагонах, взятые на ушедший поезд, недействительны для другого, и приходится покупать новые. Все протесты ни к чему не приводят, ибо, проехав десятки раз в вагонах международного общества, как водится, тут только впервые узнаешь, что на всех этих билетах написано «Общество не отвечает... в случае опоздания поезда» и т. д.

Приходится уплачивать вдвойне, а в утешение можно продолжать размышления о том, для чего же и кому именно нужно такое странное «согласование поездов», если международное общество выгадывает еще от уплаты

дважды за один и тот же переезд, то польское железнодорожное ведомство, которое ведь именно и устанавливает маршруты, даже и этого удовольствия не имеет. Вот уж поистине не маленькие недостатки механизма, а большие недостатки мыслительного аппарата...

Рассерженный необходимостью платить вдвойне за спальные места и ночевать в варшавской гостинице, — не можешь уже об'ективно воспринимать варшавские впечатления.

Быть может, поэтому по дороге в гостиницу отмечаешь лишь, что Варшава попрежнему неприглядна, и, как новое, замечаешь только, что огромный православный собор, который польские власти начали разбирать немедленно после получения независимости,—теперь, наконец, снесен окончательно, а вместо него зияет огромная, открытая пустая площадь. Пусть от этого страдает эстетика, но зато торжествует шовинизм!..

Впрочем, поляк-извозчик, который, убедившись, что вы не притворяетесь, а на самом деле не знаете польского языка, начинает свободно говорить по-русски,—подробно раз'ясняет, что на этой площади будет разбит прекрасный сквер, а на прилегающих к ней улицах бульвары. «Когда все это разрастется,— будет очень красиво!»—добавляет он.— Возможно. Но пока очень некрасиво.

В гостинице, еще в вестибюле, не впуская в нанятый номер, требуют паспорт и, несмотря на заявление, что он дипломатический и на соответственные протесты,—отбирают его. Так-де требует полиция!.. Этим последняя наглядно демонстрирует свое происхождение от до-революционной царской полиции. «Школа» всегда сказывается, и, несмотря на весь свой шовинизм и руссофобство, польские жандармерия и полиция, как известно, продолжают оставаться единственным в мире пережитком старого царского самодержавия.

Более никаких впечатлений от Варшавы не получаешь и, уплатив по довольно солидному счету, на другой день отправляешься в дальнейший путь.

Дипломатический паспорт дает возможность ночью незаметно проехать через Чехо-Словакию и проскочить через австрийскую границу (вероятно, для других пассажиров, сталкивающихся на этом коротком переезде с четырьмя пограничными пунктами и четырьмя таможнями, это путешествие не столь удобно), а на рассвете прекрасное весеннее солнце в Вене в значительной мере рассеивает остатки вчерашнего варшавского настроения.

Красота этого прелестнейшего в мире города, под управлением социал-демократического магистрата почти восстановившего свою былую наружную чистоту, еще усугубляет благоприятное первое впечатление.

Сами венцы утверждают, что, если запастись достаточным количеством пива и горячих сосисок с хреном, то в Вене в пять минут можно произвести любой переворот; все, что нужно истинному венцу, — это «покой и удовольствие»; «благодушие» — отличительная черта типичного венца.—Меня лично более всего поражало всегда, как австрийцы легко и быстро свыклись с положениемтретьестепенного государства после того, как только что перестали быть великой державой; те же люди, которые только что представляли правительство «его апостолического величества», «славную» Габсбургскую династию, гордо производящую себя от самого Юлия Цезаря,—на завтра уже при каждом третьем слове повторяли: «мы маленькие, мы слабенькие»...

Говорят очевидцы, будто к концу войны, когда неуспех немецкого оружия был уже ясен,—венцы продолжали по целым дням сидеть в своих многочисленных кафе и на все лады обсуждали вопрос: «Кто нас заберет?». «Если нас заберет Чехо-Словакия, то...». «Если нас заберет Венгрия...». «Если нас заберет Германия...». То, что никто «не заберет», даже на ум не приходило. И когда в результате Сен-Жерменского мудрствования Австрия сохранила видимость независимости, то, хотя она родилась там в виде обреченного на смерть, а в лучшем случае на прозябание, младенца с крохотным слабеньким тельцем и огромной «водяночной» головой (Вена, составляющая треть населения всей Австрии),—то уже одна эта кажущаяся независимость воспри-

нималась, как огромное благодеяние, и венцы решили, что теперь им уже совсем не о чем беспокоиться, но можно спокойно предаваться своим обычным занятиям, среди которых, как указано, не последнее место занимают удовольствия.

Получив возможность существовать только благодаря займу «Лиги Наций», Австрия продолжала прозябать, используя этот заем, и даже мало огорчалась от того, что ей на шею был посажен «верховный комиссар Лиги Наций», что фактически лишало ее и той тени независимости, которая была ей предоставлена Сен-Жерменским Трактатом.

Уронив свою валюту до того, что один американский доллар стал равен 70.000 австрийских крон,—Австрия стремилась лишь к тому, чтобы узаконить это соотношение, и единственной, произведенной ею, финансовой реформой было то, что,—когда при помощи все того же займа Лиги Наций, да еще упорно проводимой верховным комиссаром, роттердамским бургомистром, доктором Циммерманом, политики сокращения расходов, которая выбрасывала на улицу сотни тысяч государственных служащих,—ей удалось стабилизировать эту валюту,—она вычеркнула четыре нуля; вместо 10.000 крон написали—1 шиллинг... и на этом успокоились. Что за дело, что по закону больших чисел это удорожало жизнь, ибо, как показал опыт всех стран, психологически почему-то легче купить вещи, если они стоят не столько-то миллионов крон, а лишь столько-то сотен шиллингов. Почти все австрийские или навязываемые ей реформы проходят через пацифизацию ее населения. Австрийцу тяжелее приходится, но за то иностранец легче тратит, а, помимо того, что от трат иностранцев—профит государству,—венец просто любит, когда веселятся; если он не может сам веселиться,—пусть хоть веселятся другие.

Когда Вена вымирала после войны от голода и многочисленных болезней,—она все же веселилась, и ее кафе, театры, увеселительные места всякого рода были, как всегда, переполнены, и шампанское лилось рекой. Вымирали венцы, а кутили иностранцы, особенно те, что с хорошей валютой; ведь для хорошей валюты в Вене все было страшно дешево... до человеческой жизни включительно...

Тогда-то ведь и родился проект, деятельно обсуждавшийся на столбцах печати всего мира, и находивший так же полное сочувствие у самих венцев; проект сделать из Вены международный увеселительный центр... конечно, писали: и культурный.

Слабое, мол, крохотное тельце Австрии не может выдержать этой головы, Вены, а все-де культурное человечество заинтересовано в сохранении прекрасных венских музеев, картинных галлерей и т. п., поэтому необходимо, чтобы все культурное человечество пришло на помощь и взяло на свое содержание эти обще-человеческие культурные ценности. Так писали. Но думали, конечно, иначе, и гораздо больше заботились об увеселениях Вены, нежели об обще-человеческих культурных ее ценностях.

Действительно, мы не знаем, никогда не слышали, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь хоть чем-нибудь помог хоть какому-нибудь из венских музеев или картинных галлерей, но бесспорно, что увеселительные заведения Вены содержатся за счет иностранцев.

Вена—в руках пролетариата. Ошибочно этот пролетариат еще идет за предательскими социал-демократическими вождями, но во всяком случае это именно он правит в Вене и Веной. И тем, что Вена сохранила и сберегла все свои культурные ценности, которые ведь были рассчитаны на государство и население совсем других размеров,—этим «культурное человечество» обязано только самопожертвованию венского пролетариата, который голодает, холодает, выносит ужасы все растущей безработицы и все же не только сберегает доставшееся Австрии культурное наследство, но за время своего господства создал очень много нового, прежде всего в области школьного дела, затем в деле постройки новых домов для борьбы с чрезвычайно тяжелым в Вене жилищным кризисом...

Что же касается *веселящейся* Вены, то, действительно, она все более и более

интернационализируется. Это отражается и на серьезных делах.

Сен-Жерменская Австрия, которую безжалостно обкарнали со всех сторон, осталась почти без промышленности: крупнейшие индустриальные районы старой Австро-Венгерской монархии находились, как известно, на территории нынешней Чехо-Словакии, которая поэтому, отделившись, переживает свою беду: имеет промышленность, далеко превышающую ее собственные потребности, и еще не имеет достаточных рынков для сбыта продуктов своей промышленности; земледелие было развито, главным образом, в Венгрии и отчасти в тех районах, которые отошли к нынешней Юго-Славии и, в некоторой степени, к Италии. Австрия в Сен-Жермене была скроена так, что осталась без железа и угля, следовательно, при всем напряжении своих производительных сил не может быть и не имеет возможности рассчитывать хоть когда-нибудь стать промышленным государством; земледельческим же не может быть потому, что парцелированное потеющее на своих крохотных земельных участках крестьянство Нижней Австрии довольно уже тогда, когда производит достаточно для удовлетворения собственных потребностей, а работающие почти на голых скалах крестьяне Тироля уже ни в коем случае не могут рассчитывать на какие-либо излишки для вывоза. Огромная Вена, теперь, как и прежде, остающаяся мировым центром, свои потребности в продуктах питания должна покрывать извне, а та небольшая промышленность, которая в Вене имеется (Вена никогда не была индустриальным центром), живет почти исключительно торговлей с СССР.— Понятно, поэтому, что венские промышленники, не довольствуясь этим, все чаще и чаще подумывают о том, чтобы свои предприятия из пределов медленно-умирающей Австрии перенести на территорию нашего Союза; кое-что в этом направлении уже сделано, по другим вопросам ведутся теперь конкретные переговоры.

Однако, как мировая столица,—Вена всегда была торговым центром, и по причине своего топографического положения,—главным торговым центром для юга Европы и Балкан.—Мы уже указывали, что фактически крупнейшую долю в торговле Австрии составляет ее торговля с нашим Союзом, но старые связи, исторические навыки и привычки не так-то легко изживаются: Вена остается и надолго еще останется центром южно-европейской и балканской торговли.

Однако в этом деле она, по причинам, указанным выше, все менее может играть самостоятельную роль и все более и более становится посредницей между потребителями и другими, капиталистически более сильными, государствами-производителями.

Но и в этом отношении, как торговый центр, Вена более всего играет роль, как центр увеселения. Эти два фактора всегда как-то идут вместе: покупатели и продавцы, приезжающие купить и продать, одновременно всегда желают повеселиться, и всякая ярмарка всегда привлекает не только купцов, соединяющих приятное с полезным, но и просто «прожигателей жизни», желающих лишь покутить и повеселиться. Это обстоятельство превосходно известно всяким ярмарочным комитетам, которые поэтому при подготовке к ярмарке всегда одинаково озабочены как устройством торговых павильонов, так и устройством различных увеселительных учреждений.

Общая тенденция Вены, как увеселительного центра, к интернационализации, особенно ярко сказывается в ее ежегодных весенних «мессах»—ярмарках.

По официальным отчетам бывшие до сих пор венские «весенние мессы» не дали сколько-нибудь серьезных коммерческих результатов, но с каждым годом они все более и более привлекают в Вену веселящуюся, жаждущую удовольствий и наслаждений публику. В этом году, по сообщению газет, к венской «мессе», которая на-днях начинается, специально должны прибыть из Америки три пассажирских парохода. Можно с уверенностью утверждать, что лишь самая незначительная часть пассажирского состава этих пароходов будет состоять из американских дель-

цев-коммерсантов, в громадном же проценте будут пассажиры специфического типа скучающих американцев, в Европе ищущих рассеяния и удовольствий.

А в этом отношении Вена уже давно имеет хорошую рекламу. Венские театры считаются одними из лучших в мире, и, хотя давно уже крупнейшие венские знаменитости в Вене являются лишь гастролерами, довольно редкими гостями, но именно это ведь показывает, что венская марка попрежнему высоко стоит.

Если даже торговая Вена все более становится международной,—настолько, что важнейшие торговые улицы Вены пестрят вывесками иностранных фирм и их отделений, а знаменитый Пуаре ежегодно устраивает в Вене свои «выставки мод» и тут же продает привезенные им из Парижа дамские туалеты, составляющие грезу, любимую мечту и вместе с тем действительно художественную сказку для любой буржуазной дамы, к какой бы она национальности ни принадлежала, то настолько же более интернационализирована, так сказать, веселящаяся Вена.

Даже внешний вид венских улиц, конечно, центра, а не рабочих предместий, создает сразу же это впечатление интернациональности: магазины пестрят надписями, что здесь-де говорят на одном или на другом, или же на нескольких сразу иностранных языках; веселая, нарядная, фланирующая по улицам толпа—явно «всех племен, и наречий» и даже цвета кожи.

В одном из венских «обозрений» выведен полицейский, который, хотя и чистокровный венец и может из'ясняться лишь на чисто-венском диалекте, но юридически отвечает только по-французски, ибо он, мол, приставлен для удобства французской публики.

В этой маленькой шутке, действительно, отражается истинный характер современной Вены.

Но венцы отличаются тем, что «гипертрофируют» воспринятые ими заграничные нравы и обычаи.

По сравнению с прошлым годом, при первом взгляде на центральные венские улицы бросается в глаза несколько большая нарядность фланирующей публики, особенно, конечно, дам; хотя, впрочем, и мужская мода не отстает, и венские газеты, которые внимательно отмечают все подобные «события», предупреждают, что в ближайшем будущем в моде будут яркие, цветные мужские костюмы, на манер ярко-желтых, синих, красных и т. п. шелковых камзолов XVIII столетия.

Однако большая нарядность гуляющей публики об'ясняется не только тем, что на улицах города больше иностранцев, по так же и тем, что сами венки, во что бы то ни стало, стараются тянуться вслед за иностранками и умудряются одеваться по моде, тратя на это гроши; для этого в Вене имеются торговые улицы, далеко не центральные, где магазины продают по дешевке кричащие модные туалеты, на вид (впрочем, быть может, только для недостаточно посвященного глаза) совершенно похожие на те, которые носят следящие за модой иностранки (имеющие деньги), хотя—далеко не такие же.

И еще в одном отношении подражающие иностранкам венки в нынешнем году отличаются от прошлого года: как известно, короткие платьица все еще в моде, но изящная венка решает, что, если уж короткое, то до самого предела, постепенно, но быстро совершенствуясь и на этом пути; поэтому, по сравнению с прошлым годом, бросаются в глаза особенно коротенькие платья и особенно открытые стройные ножки венских дам; если в прошлом году юбочки выше колен были исключением, то в нынешнем,—наоборот, покрывающие колена платья попадаются особенно редко. Так, быстро совершенствуется скромная венка на пути современного буржуазного «прогресса».

Собственно говоря, по закону диалектики, короткие дамские платья, мода на которые держится ведь уже значительно более десятилетия,—уже давно должны были бы перейти в свою противоположность и замениться длиннейшими юбками с тренами. Специалисты этого дела уверяют, что мода, действительно, пыталась установить это, но неожиданно натолкнулась на сильнейшее противодействие со стороны «прекрасного пола»: женщины, если и при-

няли трен, то только в виде накидки сзади, короткие же платья и открытые ноги упорно отстаивают, несмотря нато, что никогда и ни в чем раньше не замечалось противодействия женщин любой навязываемой им моде.

Это бесспорно доказывает своеобразную констелляцию женской психики после войны,—конечно, лишь психологию тех женщин, которые одеваются по моде и следят за ней... Но в Западной Европе—таких большинство.

И не только в этом веселящаяся Вена интернационализирована, но и во всем остальном, более всего, однако, эта Вена американизируется, а отчасти англизируется, поскольку американский доллар безусловно теперь царствует во всем буржуазном мире, а английский фунт стерлингов, пользуясь неподготовленностью Америки к новой для нее роли мирового гегемона, расчищает для него дорогу.

Это отражается и проявляется как в большом, так и в малом, а поскольку в современной Австрии, и, в частности, в современной Вене, нет и не может быть больших дел, — американизация проявляется в ее быте, в типичных для нее увеселениях.

«Джаз-банд» повсюду вытеснил венский оркестр; американский «фокстрот» изгнал совершенно даже такую, казалось, совершенно необходимую принадлежность старой Вены, как венский вальс; знаменитая венская оперетта умерла и в самих венских опереточных театрах—вместо нее ставятся типичные американские, либо прошедшие лондонскую обработку, «ревью»—обозрения, в которых ничего ровно не обозревается, кроме разве только обнаженного женского тела; прославленная венская опереточная дива, недавно еще пожинавшая лавры на театральных подмостках всех частей земного шара,—отошла в область предания и мирно почила на лаврах на собственной крохотной дачке где-нибудь в окрестностях Вены, а вместо нее захлебывается от аплодисментов американская гастролерша из «мьюзик-холла»; нежно-сентиментальная венская «субретка», как будто бы персонифицировавшая все то, что есть типичного в истинно-венской душе, тоже больше не существует, и последняя из них, уже в весьма преклонном возрасте, изредка выступает где-нибудь в окраинном театре, перед рабочей аудиторией,—ее место заняла эксцентричная, подвижная, как ртуть, англо-американская «гёрль», поющая без голоса, а вместо томного вальса лихо отплясывающая какие-то акробатические танцы, где голова оказывается на месте ног, а ноги на месте головы, и настолько эта бесшабашная девица переродила немецкую «Гретхен», что последняя, позабыв обо всей своей пресловутой скромности, откровенностью костюма или, вернее, отсутствием такового далеко перещеголяла свою заокеанскую учительницу и вызывающе оголила на сцене не только, как она, свои тонкие ноги, но и свою грудь, до чего англо-американское ханжество не допускает, оставляя хоть маленькие «чашечки».

«Гремевшие» два года назад в Лондоне американки—«18 Гоффман гёрльс» доведшие танцовальное искусство до высшей степени акробатической техники, — совершая свое триумфальное путешествие по всему континенту Западной Европы,—в настоящее время «гостят» в Вене и еженощно выступают в одном из вышеупомянутых американизированных «ревью»; об этих эксцентричных девицах буржуазные газеты всего мира прокричали, что, несмотря на полнейшую свою распущенность на сцене, они отличаются особенной скромностью в жизни: живут они все вместе в одном помещении и в почти монастырских условиях; составляют нечто в роде общины с настоятельницей или начальницей во главе и специально к ним приставленным «духовным отцом», священником, пастором, щедрые отношения «почитателей таланта» с благодарностью принимаются, но... только через посредничество начальницы или пастора, точно так же свидания с мужчинами разрешаются в присутствии этих последних. Если такой «звезде» повезет или она наживет себе достаточный капиталец, для того, чтобы считаться выгодной партией,—она чинно и скромно выходит замуж и становится примерной женой и матерью семейства. никогда даже не вспоминаю-

щей о былых своих «эксцентричностях»; американское, а также английское буржуазное, и даже аристократическое «общество» ею не брезгует и принимает в свою среду; известно, ведь, что некоторые «добродетельные» британские лорды женаты на таких именно «гёрльс», и чопорность семьи от этого нисколько не уменьшается. Так, по крайней мере, пишется в английских газетах и романах, а за ними это же повторяет и буржуазная пресса в других западно-европейских странах.

Правда, по своим лондонским наблюдениям я знаю, что в «веселой старой Англии»—в действительности многое обстоит далеко не так, как уверяют сами англичане, и что одной из характернейших особенностей английской жизни и быта является лицемерие и ханжество, что, наконец, гордое утверждение британского суда, будто «англичанка не может быть проституткой», дает лишь возможность и право этим самым судьям приговаривать несчастную проститутку - англичанку, когда она попадается с «поличным», к пожизненному заключению в доме для умалишенных, — но кое-что верное во всех этих заявлениях, несомненно, имеется.

Во всяком случае верно то, что между английской или американской «артисткой» такого пошиба и ее венской сотоваркой—существует огромная разница.

Последняя не лицемерит; свое поведение на сцене она переносит в жизнь, и, обнажаясь там,—она «распоясывается» и здесь. Не потому, конечно, что венская девушка морально ниже или более распущена, нежели английская или американская, а только потому, что иначе не проживешь: импортное всегда ценится больше туземного, а особенно, если импортное специально модно.

Мне рассказывали, что девушка в кафе, где танцуют, и других танцовальных учреждениях, «дансингах» всякого рода, не выступающая на сцене, но обязанная оставаться ежедневно в учреждении с 11-ти часов ночи до 3-х часов утра, а три раза в неделю—до 5-ти, принужденная танцовать с каждым, кто того пожелает, и учить танцам тех, кто не умеет, но хочет научиться; она обязана с каждым (о чем, конечно, ничего нет в контракте), кто пригласит, пить и как можно больше требовать из буфета;—за все это она получает от хозяина в неделю 20 австрийских шиллингов, т.-е. меньше 3-х американских долларов,—сумму, следовательно, которой едва хватает на пару шелковых чулок; а ведь она должна быть всегда прилично и по моде одета и обута; за танец ее партнер норовит отделаться поцелуем руки, в лучшем случае угостит ее бокалом вина или даст несколько грошей.

Венская «гёрль», выступающая на сцене, получает немногим больше такой танцовщицы (конечно, если она не имела счастья проскочить в знаменитости и «любимицы публики»), но имеет гораздо больше расходов, прежде всего на специальные «эстрадные» туалеты, затем на учителя, с которым она разучивает свои танцы, ибо не может она из месяца в месяц выступать с одними и теми же, и т. д.

Естественно, что для такой «артистки» весьма скоро стирается грань между сценой, подмостками и тротуаром, и властно встает перспектива когда-нибудь умереть в госпитале или на мостовой... Но пока она отгоняет от себя эти мрачные мысли и веселится, сколько может, веселится во всю и танцует днем, вечером, ночью...

А за нею веселится и танцует вся Вена, находящаяся ведь не в лучшем положении.

Сцена, как говорят, всегда является отражением жизни, и наоборот.

Нравы венской сцены переносятся в венский быт: не даром утверждают знатоки этого быта, будто от былой «скромности» венской девушки, теперь не осталось и помину. В настоящее время как раз среди венской мелкобуржуазной молодежи процветают «лиги свободной любви», в роде наших времен первой революции, и нравы и быт этого общества ничего общего не имеют с довоенным.

Большие венские газеты приводят своеобразную статистику венского веселья. Оказывается, с 1-го января по

1-е марта в венском магистрате было заявлено 5.300 танцовальных балов, это значит, не считая домашних балов, которые не подлежат заявке, но бывают очень большими, не считая кафе, ресторанов, «дансингов» и всяких иных учреждений, где постоянно танцуют, было устроено в Вене столько балов всего лишь за два месяца, и, конечно, на самом деле число их гораздо больше, потому что, как всегда бывает, многие устроители, несомненно умудрялись обходиться без заявки.

При этом газеты с удовлетворением отмечают, что число балов не уменьшается, а увеличивается, несмотря на приближение «великого поста», когда религиозные люди все же не танцуют, хотя со времени социал-демократического управления запрещение танцовать в посту снято.

Газеты подчеркивают также, что в этом году заметно особенное увеличение маленьких и средних балов в то время, как число больших репрезентативных, представительных балов, по сравнению с прошлым годом, осталось неизменным и составляло 70 таких балов, где было посетителей от одной до четырех тысяч человек.

Правда, лица, посещавшие венские балы в нынешнем году, передавали мне, что доходность их была в высшей степени незначительна, ибо публика умудрилась «надуть» устроителей.

Обыкновенно, главный доход на балу дает *буфет*, а не входная плата, которая умышленно, для того, чтобы приманить побольше публики, а потом, когда люди «разгуляются», побольше «нагреть» их в буфете на еде и особенно на напитках,—всегда устанавливается минимальной. Однако в этом году такие расчеты не оправдались; как видно из цифр, публика валом валила на балы, но буфетные комнаты пустовали, а когда наступало время поесть, «гости» вынимали из кармана или из сумочек заготовленные дома бутерброды и т. п. и «замаривали червячка»... Повеселиться, мол, поплясать, — всегда готовы, но платить... ни—ни: самим дороже стоит; не взыщите,—денег нет.

И, действительно, денег у венцев нет... Как мы выше указывали, ни дел, ни денег, ни будущего. Полное прозябание и медленное умирание. Быть может, с горя она так много и танцует... Как в известном романсе, «она танцовала»; правда, в романсе этом *она* танцовала при всяких бедах (включительно, если не ошибаюсь, до смертной казни), которые приключались с *ним*,—Вена же танцует при мытарствах, которые переживает сама. Но ей, бедной, ничего другого не остается...

Из безвыходных положений—нет выхода. Быть может, в этом случае, действительно, и лучше ни о чем не думать, а веселиться, тем более, если это, так сказать,—в крови и если это—единственный источник существования...

Поэтому Вена танцует.

Вена, 5/3 27 г.

VI. ПОД АРАРАТОМ

Адалис

За вулканической грязью старо-армянских базаров и дремучими строительными лесами Советского Аистана, за землетрясением, за Пчанахским перевалом, за деревнями молокан, лицемерных и самодовольных, как последние люди на остывающей планете, лежит та, пограничная с Персией, земля, о которой я хочу рассказать. По величине она равна одной восьмой части Московской губернии, а географически представляет собой скорее север Иранского плоскогорья, чем юг Закавказья Главный процент ее населения—азербайджанские тюрки; столичный город—Нахчеван на Араксе. Редакция «Вечерней Москвы» пересылала мне почему-то газеты по зловещему адресу «Нахичеван на Стиксе», и газеты доходили.

Нах-че-ван — значит Ноева стоянка. Предание гласит, приблизительно, так: когда старик Ной со своим живым товаром слез с Арарата, первая плоская

земля, на которую он ступил, была нынешняя Нахчеванская республика. Здесь он жил, по мере возможностей, семейной жизнью, здесь и умер, завещав похоронить себя на армянском кладбище. Во времена дашнаков его могила считалась свидетельством на неоспоримое право Армении «от моря до моря». После муссавата Ноевы кирпичики разошлись на починку беженских жилищ: я лично видела эту могилу уже в разрозненном состоянии. Что касается самой Ноевой усыпальницы, что на кладбище за крепостью, она представляет собой обширную яму, в которую прочно вбит кирпичный кол; кругом лиловый зной, и, как древняя Ассирия, валяются каменные комоды армянских надгробников.

Другой старик, Мусеиб Алахвердов, чувяшник, коротко сообщил мне, что за последние 10—12 тысяч лет «армяне ходили сюда молиться, тюрки ходили сюда играть». В 1925 г. в Ноев лагерь прибыла Рыковская комиссия и сменила правительство.

Пепельная земля Нахчевана — ветхая земля. За годы муссавата она состарилась больше, чем за все свои тысячелетия. «Кровь Востока»—вода оросительных канав—не навещала ее с 1918 по 1923: желанная и свежая, она обходила Нахчеван по двум границам: персидской и армянской. И единственным орошением края была кровь национальной резни. Сейчас водное хозяйство восстанавливается, но нигде в Закавказье хлопок и виноград не знают столько болезней и тайных пороков.

Лучше всего покамест эта ветхая земля родит суровых ископаемых: древнюю утварь, обсидиановые стрелы, бронзовый век, открытый в нынешнее лето Мещаниновым и Миллером, мрачные минералы—изумительную по качеству соль, серу и свинец.

Богатейшие залежи нахчеванской соли разрабатывает Сольпром, аппарат которого еще весь в Баку, а работа уже вся в Нахчеване. Серная руда, столькопроцентная, что я боюсь назвать цифру, подтвержденную рядом спецов, лежит в горах, пушистая и нетронутая, как кустарный цыпленок. Больным виноградникам ее не видно.

Я вспоминаю дорогу на соль—в 12 верстах от столицы. Всклокоченная, худая, пепельно-серая пустыня, темный зной, огромные розово-зеленые черепахи разбросанных холмов... Из расселин пышет горячим и зловонным дыханием Ноя. По пути на промысла, у самой автомобильной дороги, стоит новенький дом, построенный на средства и вкусы Сольпрома—будущий рабочий поселок. Я не знаю, как сейчас, а тогда рабочие-тюрки боялись войти в него и жили под верандой. Архитектура виновата—нечто среднее между воздушным замком анархистов-биокосмистов и холерным бараком: малахольный, кокетливый, неуютный. Беспощадная пустыня кругом, добела раскаленное небо, знойные ветры ходят смерчами, а он красуется, и на четырех концах у него блистают четыре ненужных шара, предательски похожих на позолоченные пилюли!..

Но половина печатного листа не Араздаянская степь: всего не расскажешь. Постараюсь коротенько изложить то, что навязывается мне сейчас на память.

Исмаил

Исмаил—амбал (носильщик). Он утверждает, будто ишаки и лошади-тяжеловозы не боятся его конкуренции только потому, что им все равно приходится отдавать все заработанные деньги хозяевам. Исмаил очень маленького роста, и у него умные повадки горбуна, но горб этот—экономическая надстройка. Он являет собой деревянную махинацию, обитую ковровой тряпкой, и служит вьючным седлом для тяжестей.

Исмаил, как и все население Нахчевана, живет в развалинах. Но в то время, как многим его друзьям и даже иным беспризорным посчастливилось устроиться в развалинах домов, он со своим семейством населил развалины развалин: еще до муссавата, превратившего город в мусорную свалку, жилище Исмаила имело только три стены. Исмаил утверждает, что ему нравятся звезды, а в полдень он спит под навесом одного из базарных складов или, если там все занято, устраивает свою

пыльную голову в тени близстоящего верблюда. Остается добавить, что в полдень верблюды не дают тени.

Третья вещь, которую утверждает Исмаил, та, что союз пищевиков, в котором он, по острому недоразумению состоит, не только не в состоянии помочь ему, но еще нуждается в его членских взносах. «Если нуждается—пусть берет»,—говорит нахчеванский гидальго.

Мы познакомились с Исмаилом, когда покупали в керосиновой лавке пастушескую свирель, из которой, казалось, нельзя было вытянуть ни звука. Исмаил поглядел искоса и последовал за нами к нам домой. Тут он сбросил свой горб, сел на него и принялся наигрывать на нашей клокочущей и шипящей обновке песни горных чобанов; на языке дыханья они означали солнечное утро, вдоволь воды, человеческую дружбу и урожай.

С тех пор, кого бы из нас Исмаил не встречал на базаре, он подходил с радостным «селям-алейкум» и провожал друга до конца его сегодняшнего пути. Однажды мы нашли его, усталого и двугорбого, поздно вечером, при мутно-зеленой луне. В этот вечер пришел из Персии, как сумасшедший дервиш, ветер пустыни; на базаре бушевал ядовитый мусор, зелень маленьких деревьев гремела, как листовое железо; мы еле-еле нашли приют в единственной незакрывшейся еще на ночь чай-чи. За ужином мы сонно считали мух мрачных, как вороны, и, когда приспело время расплачиваться, хозяин заявил, что амбал уже позаботился обо всех. Вопли ужаса и протеста не помогли.

Мне больно вспомнить о том, что было дальше. Текли, чорт их возьми, недели нашего пребывания в Нахреспублике; по условиям тамошней почты наши письма и корреспонденции не доходили до Москвы; высланные нам редакциями деньги возвращались за ненахождением адресата. Было плохо. И вот стоило кому-нибудь из нас помечтать о крепком чае с чуреком, как откуда ни возьмись—из камней, из травы, из мусорных свалок, из мешков с овощами—вырастал Исмаил. Каждый раз он беспечно увлекал нас в чай-чи, и всякий раз мы шли в отчаянной надежде ответить из последних грошей на его гостеприимство. Но он оставил нас в дураках до конца. Исмаил хорошо знает, что он—хозяин Нахчевана и что долг хозяина—гостеприимство.

Мы уехали не попрощавшись с ним—он как в воду канул. Комсомолец наш, Сенька, суеверно об'ясняет это тем, что мы «разбогатели».

Амбал Исмаил не просил меня писать о нем. И да не покажутся взяткой те стаканы чая, которыми он угостил меня в дымной чай-чи Кербалай-Керима!

Контрабанда

На границу лучше всего смотреть с городского плоскогорья, где семейное кладбище нахчеванских ханов. Полдень. Разбавленные солнцем персидские горы имеют отвратительно лиловый цвет контрабандного джерсе. Между горами и железной дорогой витиевато течет Аракс, и, кто его знает, где там персидская вода и где наша! Вдоль Аракса зеленеют деревни, на полях розовеет хлопковый цвет, еще ничего не знающий о своей страшной болезни—«чоре». Над головой тяжело шумят и ворочаются в воздухе огромные стаи разжиревших от тутовой ягоды каменных скворцов.

Ближайшее к персидским горам село—разбойничий Неграм, знаменитый, кроме темного прошлого, тем, что лет пять тому назад, в эпоху общей разрухи и резни, принял на свою территорию бежавшего из Персии бенгальского тигра. Тигра убили, но слава Неграма не умирает. А чем еще знаменит Неграм, об этом нам расскажет краевой агроном.

Краевой агроном суров, силен и нелюбим населением ни городским, ни сельским, за то, что позволяет себе жуткую роскошь работать целых 15, а то и 17 часов в сутки. Ежедневно он об'езжает районы на самолюбивой, как старая дева, извилистой, рыжей кляче, а дважды в неделю поспевает в город—в Наркомзем. Здесь он долго и членораздельно требует у наркома Хасаева денег на свой показа-

тельный участок и выходит изредка победителем. Только за городским садом, будучи уверен, что остался наедине с извилистой клячей, он начинает устало горбиться и вытирать свой вспотевший лоб. Живет он близ села Тазакент, на полпути от Неграма в город, в комнате, от которой отказался бы рабфаковец, не попавший в общежитие. Ибо нет соседства ненадежней уплотненных человеком змей, скорпинов и фаланг!

Так вот этот дядя лежит ночью в среде пресмыкающихся и прислушивается к дыханию своего агропункта. Иногда все спокойно, а иногда из Неграма тихо идет человек. Углубившись в показательный хлопок, он тщательно оглядывается по сторонам и всуе произносит имя Аллаха. Потом начинает рыть землю.

Агроном встает с постели, неспеша одевается и босиком выходит в поле: необходимо подкрасться к вредителю сзади, молниеносно сорвать с его головы шапку и членораздельно закашлять. Если для вящшей литературности из облаков выплывает ослепительная и совершенная местная луна, агроном и его гость долго смотрят в лицо друг другу.

— Слушай,—дрожащим голосом говорит таинственный незнакомец,—отдай мой последний шапка...

— Не хочу.

— Вот возьми весь мой последний контрабанда даром!

— Не хочу.

— Что значит не хочу? Мой брат тебя будет убить.

— Я понесу твою шапку в погранотряд, хочешь?

— Нет, ей-бога, не хочешь!

Агроном закуривает и, хозяйственно поддерживая гостя под локоть, выводит его за пределы показательного хлопка. Тут, на убеленной древним лунным сиянием большой дороге, он прочно ставит свой ультиматум:

— Ты сейчас пойдешь обратно в Неграм. Завтра ты начнешь хорошо ухаживать за своим участком земли. Ты будешь опылять его серой.

— Нет, время нет.

— Тебя зовут Абас Шарифов, и шапка твоя будет в погранотряде.

Контрабандист всхлипывает кокетливым бабьим смешком, вздергивает плечи и сдается. Когда его спина уничтожается лунным сияньем, агроном уходит спать.

Утром в отдел защиты растений Азхлопкома является за опылителем хмурый крестьянин с головой, застенчиво повязанной персидским носовым платком. Чтобы не рассмеяться, я упорно смотрю в окошко на хитрый полдень. Я знаю, что в тщательно политой земле агропункта уже гниет лиловое, как пограничные горы, контрабандное джерсе!

Там, где зарыта собака

Dahin, dahin, wo ist der Hund begraben!

В советском учреждении с халдейским именем ОЗРА, что значит вышеупомянутый отдел защиты растений, есть решетчатое окно с видом на горбатый пустырь. На сей раз вечереет. Холодно и ветрено—осень. Из «красной кооперативной столовой» почтенного Бегляра Халил-оглы доносится восточная музыка—кеманча и тара—и страстное соловьиное ржанье знаменитейшего певца в Нахчеване. Днем и ночью гулко работает в соседней кузнице молот, ветер поднимает над площадью тысячелетнюю пыль. Я сижу на подоконнике ОЗР'ы и курю душистый таможенный табак. А напротив, на щербатом и грязном пустыре, кончаются похороны собаки.

Я люблю кочевать по советским границам и не боюсь жизни, а сейчас мне жутко до крика. Но зав. ОЗР'ой, Хесров, напрягая в закатном свете с'еденные пылью глаза, пишет очередную реляцию в Наркомзем; Федя—корреспондент «Правды», неслышно возится по углам с фотографическими пластинками и, сгорбившись под чужой шинелью, я берегу свой крик про черный день.

Их четверо сейчас—две женщины и два мальчика; еще двое придут, когда совсем стемнеет. Женщины сбросили на земь свои ситцевые покрывала и

высоко засучили ярко-зеленые штаны. Мальчик пляшет, закутавшись в розовую чадру; другой баюкает на руках отчаянно визжащую черную собаку. Могила готова, камни разрыты; собаку погребают живьем.

— Остальной женщин умер две недели. Он так дышал и бил свой грудь вот так.

Карапет, маленький курьер ОЗР'ы, изображает в лицах, как умерла по дороге в больницу пятая нахчеванская проститутка, старуха—ей было уже восемнадцать лет. Я видела ее совсем недавно на задворках базара: сидя на корточках и плотно отвернувшись к стене, она ела из пригоршни жареные бараньи кишки. У нее был смуглый, открытый горб на груди и большое нечеловеческое лицо. Из оставшихся в живых одна слепа, а другая похожа на лубочную смерть—вместо глаз, носа и рта—четыре зияющих улыбки, плечевые кости раздирают кожу. Руки вот только странно коротки.

Все они живут на пустыре против ОЗР'ы. Пустырь отнюдь не считается предосудительным местом: это одна из общественных уборных; кроме того, там гуляют свиньи честных молоканских хозяев. Показательный же заповедник беспризорных занимает лишь третью часть его.

У нас тоже, как известно, есть беспризорные, и я знаю многих из них; но в этот вечер на базарной площади кружатся холодные, как труп, смерчи тысячелетней пыли, и Федя, корреспондент «Правды», поглядев в окно, удивленно разводит руками. Я понимаю его. Зачем беспризорные хоронят собаку? Ведь они нарочно приучали ее и еще двух других, чтобы спать рядом с ними и согреваться! Это была вполне рациональная собака, имевшая экономическую базу.

— Да,—отвечает Хосров.

И я иду за справками в Наркомтруд, потому что он за углом. Кружатся смерчи. В Наркомтруде сидит, забившись в сумерки, Абдулла и угрюмо гадает на пальцах, пустит ли сегодня электрическая станция свет.

— Абдулла,—добавляю я,—проводи меня, пожалуйста, к беспризорным, потом переводи с тюркского на русский и обратно.

Он отказывается.

— Почему?

— В тебя на базаре будут бросать камни.

— Я не пойду на базар!

— Значит будут бросать не на базаре.

— Абдулла, расскажи, какие меры насчет беспризорных?

Он медленно закуривает:

— Есть меры, чтобы выполнить их, и есть меры, чтобы не выполнить их. Сначала хотели посадить всех на лодку, чтобы спустить по Араксу вниз. Но это не вышло, потому что Мусаев запретил и потому что в Нахчеване нет лодки. Тогда Наркомпрос подарил им цветное белье, чтобы носить вместо платья.

— То, вот, зеленое белье?

— Сильно розовое и сильно зеленое.

— А еще?

— Ты сама знаешь—будки деткомиссии. Один день растрата, другой день ревизия. Ты сама знаешь.

— А сегодня что там было?

— Я думаю,—растрата.

Искренне не могу припомнить нашей беседы с ним, но ответная его фраза, под занавес—вот она, по гроб моей жизни!—

— Чего вам надо? У вас миллионы беспризорных, и число их увеличивается. А у нас в городе их всего 10 штук, и число их остается как было!

Тогда я возвращаюсь в ОЗР'у. Электрическая станция так и не дает света в эту ночь; в окно сыплются овальные звезды. Беспризорные на пустыре уже успели похоронить свою собаку и, как говорится в арабских сказках,—«это пока все о них».

Половина печатного листа кончается, не доходя Арарата, контур которого доминирует над нахчеванским пейзажем. Арарат отсюда—огромный и нежный геометрический чертеж. По утрам, в прозрачном и словно обсахаренном небе, он так прекрасен и четок, что не расскажешь. Снег на нем ярок, и почти у подножия его, с нашей стороны, простирается саранчей и цоцмадой светлая Араздаянская степь.

Книжное обозрение

1. МИХ. ВОЛКОВ. Байки Антропа. Арк. Глаголева.—2. А. ТВЕРЯК. Передел. В. Красильникова.—3. АЛ. СЫТИН. Брат идола. А. Лежнева.—4. КОНСТ. БОЛЬШАКОВ. Сгоночь. Б. Анибала.—5. М. ШАГИНЯН. Избранные рассказы. В. Гольцева.—6. Т. ДМИТРИЕВ. Зеленая зыбь. Як. Бенни.—7. „МОСКОВСКИЙ ПУШКИНИСТ“ І. Л. Гроссмана.

Михаил Волков. — «Байки Антропа». Вторая книжка. Изд. «Московское Товарищество писателей». М. 1927. Стр. 190. Ц. 1 р. 25 к.

Мих. Волкову нельзя отказать в знании современной великорусской деревни. В «байках» Антропа деревенская жизнь получила довольно многообразное отражение. Ростки новых и остатки старых нравов, молодежь и старики, бабы и мужики—такова тематика «баек». В этих своих «байках» дед Антроп повествует и о бабах, организующих свою собственную сельско-хозяйственную артель («Бабьи подвохи»), и о комсомольцах, отучающих стариков от «присловий» («Присловье»), и о том, как мужики начинают жить без икон («Деревяшки»), рассказывает Антроп и о «колдунах», и о крепких мужичках—Петрах Савельевых, благоденствующих за счет своих батраков—«Пантюшей» и «Дашуток», и еще о многом другом в жизни нашей деревни говорит словоохотливый дедушка. «Байки» Антропа, не прикрашивая деревни, не идеализируя, не разрисовывая ее в сплошные розовые краски, вместе с тем, дают нам возможность отчетливо почувствовать пробивающиеся в нашей современной деревне ростки новой жизни.

Волковский дед Антроп говорит мужицким языком. Его «байки» свободны от того псевдо-мужичества, которое все еще ощущается в речах многих «мужичков» у некоторых наших беллетристов.

Стиль «Баек» прост и безыскусственен, однако и настоящая вторая книжка Михаила Волкова, подобно первой («Дубье»), является все же не столько собранием деревенских художественных новелл, сколько сборником этнографических очерков о деревне. Автор не идет за пределы простого литературного коллекционирования бытовых фактов.

После второй книги автору надо пожелать перейти от этнографического очерка уже к художественной новелле или рассказу.

Арк. Глаголев.

Алексей Тверяк.—«Передел». Роман. Издат. «Пролетарий». Харьков 1927 г. Стр. 276. Цена 2 р. 50 коп.

Алексей Тверяк — один из группы молодых пролетарско-крестьянских писателей, которые хотят изобразить, главным образом, бытовое строительство современной деревни. Не скрывая пережитков старины, нажима дедов и отцов, они противопоставляют им работу агронома, избы-читальни, комсомола. «Передел» (роман этот известен также под названием «Трактор») представляет собой художественную обработку одного волостного земельного процесса: при переделе землемер помог кулакам «об'егорить» бедноту, и лишь с помощью шефа-завода бедноте удается настоять на новом разделе земли. Писатель значительно осложнил материал процесса: он внес новую деталь—о помощнике директора завода—бывшем белогвардейце, срывающем работу своего начальника; ввел ряд второстепенных действующих лиц, способствующих ходу процесса—работников уездной газеты и т. д. Обилие героев сильно повлияло на качество зарисовки их характеров; собственно говоря, о многих из них, кроме того, что они за «передел» (т.-е. за молодежь, за новый быт) или против него, сказать нечего. Ни положительные (Андрей, Аксинья, директор), ни отрицательные типы автору не удались; правдоподобнее всего проходные лица (свидетель

Кирилла). Слишком ясна и мораль романа—правда торжествует, свихнувшиеся исправляются, а «нетрудовые элементы побеждены».

Композиционно роман далеко не безупречен; от сокращения многие главы (напр., XIII 2-ой части или XVIII 3-ей) выиграли бы в действии. Есть повторения в изображении любви директора и его жены Зины. Язык романа в меру стилизован под крестьянский сказ и только изредка, но густо усложнен провинциализмами (пример: «оторвет голову от подушки, и глаза в окно в т о р к н е т»).

Хотя роман не принадлежит к числу увлекательных, прочесть его все же следует: перелом в деревенской жизни изображен писателем со знанием дела.

Виктор Красильников.

Александр Сытин. — «Брат идола». ЗИФ. Стр. 143. Ц. 1 р. 10 к.

Книга А. Сытина представляет собой сборник новелл, об'единенных единством места и колорита. Автор рассказывает о стране, которую мы мало знаем и которая редко бывала об'ектом художественного произведения. Это—Аравия.

Восток имеет не только свой колорит, но и свои литературные условности. Аравия Сытина — не фантастическая страна сказки или оперы с нарисованным великолепием декораций. Это Аравия современности. Она разделена на сферы влияний. На нее положила свою тяжелую руку Англия, поддерживающая постоянную войну между отдельными арабскими государствами. В ней пробуждается освободительное национальное движение. Это—Аравия—живая и реальная. Не зная страны, трудно сказать, в какой мере стилизована Сытиным действительность. Но, что здесь имеются некоторые черты условного, «поэтического» Востока, доказывают такие фразы:

«Я знаю только три танца, но они моего племени. Быстрокружный танец солнца, печальный и мерный танец луны и горестно-неподвижный—смерти».

Это напоминает Оскара Уайльда. От Флобера у Сытина пристрастие к декоративности:

«Хафыр—подкова из красных яхонтов—был прикреплен к его голове. Красные камни рдели на солнце, как окаменевшие капли крови врагов. Позади шейха вилось зеленое знамя, и кривой серп полумесяца литого золота на древке знамени был изогнут, как копыта коня старого Мустафы (пророка). Следом за шейхом шли племена бедуинов. Шаммады в коричневых плащах. забаа, вооруженные короткими пиками, роали на низкорослых крепких лошадях. После всех прошел отряд харбов. Лица их были черны, как у рабов. Они качались на быстроногих верблюдах и по первому приказанию могли опередить всех».

Все это придает рассказам Сытина налет литературщины. Первое впечатление складывается поэтому не слишком в пользу автора. Но, продолжая чтение, вы невольно увлекаетесь и занимательностью сюжета, и новизной обстановки, и необычностью разыгрывающейся на ваших глазах борьбы. Вы убеждаетесь, что в этих рассказах есть и новизна и оригинальность, но она только притушена, прикрыта литературной традиционностью.

Перед читателем проходят те, которых он встречает или встречал на газетных столбцах, в телеграммах, в скупых сообщениях с Востока: ваххабиты, Ибн-Сауд, король Гуссейн,— развертывается борьба за Мекку, за халифат, за независимость — мелькают названия: Геджас, Иемен, Моссул,Ирак. Конкретная действительность сегодняшнего дня облечена Сытиным в нарядную, яркую, пышную художественную форму. Много красок, великолепия, торжественности. Автор, быть может, не знает большого разнообразия в типах, но они выпуклы, характерны, несколько упрощенны и плакатны и бросаются в глаза. Восточный юмор использован в меру и умело (новелла «Розовый куст»). Трудно передать нагляднее своеобразный характер пустынной страны и ее обитателей, чем это сделано в рассказа «Кофейник Абдуллаха» и на некоторые страницах «Дипломатического самумх». В последней вещи автор старается изобразить борьбу арабских государств с Англией за свою независимость. Рас-

сказ читается с большим интересом, благодаря неожиданным поворотам сюжета и острым ситуациям, но к концу растянут, перегружен рассуждениями (о колониальной политике) и эффектами.

В целом книга А. Сытина, несмотря на некоторый баласт литературщины, ярка и увлекательна.

А. Лежнев.

Конст. Большаков. — «Сгоночь». Роман. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1927. Стр. 315. Ц. 2 р.

«... сгоночь от «сгонять», не изгой, которого изгоняют, а сгоночь, как сволочь, ничтожная, ни на что не потребная кожура, которую только потому и сволакивают, что называют сволочью» (стр. 11).

Так определил один из генералов добровольческой армии деникинщину и ее сподвижников, о которых повествуется в этой книге.

Екатеринодар. Новороссийск. Добрармия и ее верхушка—штаб и обер-офицеры. Английский представитель при командовании вооруженными силами Юга России. Амденско-Акинская магистраль и нефтемаршруты. Таинственная мисс и темные махинации наштаба добровольческой с нефтью—вот как завязана интрига «Сгоночи». Дальше показано опустошенное, разложившееся белое офицерство—наркоманы, спекулянты и карьеристы,—заведомо неудачная борьба с Красной армией, крах белых и катастрофическая эвакуация из Новороссийска. Конец книги переносит действие в Константинополь, затем в Крым. Последние страницы также посвящены эвакуации, но уже врангелевской.

Красная армия показана издали, но ее неумолимая поступь чувствуется в каждой главе, и обреченностью отмечены отдельные персонажи «Сгоночи», вот почему трое из них кончают самоубийством.

Язык книги—своеобразен. Недлинные, с вводными предложениями, сложно построенные, несмотря на свою краткость, фразы шершавы и необычны. И если на первых страницах «Сгоночи» эта шершавость языка несколько затрудняет и замедляет чтение, то к ней скоро привыкаешь и вчитываешься в книгу с возрастающим вниманием.

Большаков очень сдержан, скуп на слова и деловит. Его герои не говорят «здравствуйте», «прощайте» и «как поживаете», их диалоги ограничены лишь самым необходимым, тем что нужно для дальнейшего развития действия.

Но эта краткость имеет также и отрицательную сторону: местами она превращается в недоговоренность, так что о некоторых эпизодах повествованья читатель может строить лишь более или менее вероятные догадки.

Отдельные персонажи «Сгоночи» автору удались: так, напр., он прекрасно описывает лощеных английских джентльменов, греющих руки около русской нефти, довольно законченно очерчены—наштаба добрармии Крымоновский и, связывающая его с англичанами, мисс Гвэндолен, неплохо намечена фигура Деникина. К сожалению, иногда второстепенные персонажи заслоняют собой некоторых из главных, недостаточно ясно выраженных в романе.

С большим уменьем написан целый ряд глав, посвященных отступлению белых и эвакуации из Новороссийска, но во всей «Сгоночи» нет композиционной стройности и целостности, распадаясь на эпизоды, она представляет из себя цикл хуже или лучше сделанных этюдов к большому полотну.

Наименее удался Большакову конец—в нем нет той сжатости и пристальности, с которыми написаны первые $^3/_4$ книги, он смят и ослабляет внимание читателя.

Несмотря на это, «Сгоночь»—интересная книга. Интерес ее увеличивается, пожалуй, еще и тем, что Большаков, доселе известный как поэт, обратился—и не безуспешно—к прозе—явление для нашего времени характерное.

Борис Анибал.

Мариэтта Шагинян.—«Избранные рассказы». Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 191. Ц. 1 р. 50 к.

Писательский облик Мариэтты Шагинян явно двоится в этом сборнике, составленном из произведений, созданных за двенадцатилетний период творчества. С одной стороны, мы находим

здесь ряд рассказов философского порядка, трактующих о человеческой судьбе, о любви и смерти. С другой стороны, в книге содержатся рассказы, которые следует отнести к так называемой производственной беллетристике.

Рассказы первого типа («Голова медузы», «Стихотворение», «Где я?» и др.) написаны очень гладко, умело, умно и формально-совершенно. Все в них «сделано», поставлено на свое место, однако современный читатель остается неудовлетворенным и неувлеченным ими. Дело в том, что почти все они недостаточно выразительны в эмоциональном отношении, лишены в большинстве случаев фабульного напряжения и (что самое существенное) звучат теперь каким-то культурным анахронизмом. Проявляя неслучайный и глубокий интерес к психологическим и философским проблемам, автор «Путешествия в Веймар» дает своеобразное истолкование жизненных явлений в плане метафизическом.

Но, ведь помимо всего прочего, М. Шагинян—прекрасная журналистка, хорошо ориентированная в текущих вопросах литературы и жизни. Она принадлежит к числу выросших до революции писателей, отчетливо и остро сознающих, что целый ряд старых «канонических» литературных приемов нами уже изжит. Она серьезно озабочена обновлением этих приемов и хочет научиться как-то по-новому откликаться на запросы сегодняшнего дня. Отсюда возник интерес к фабричному репортажу, репортажу художественному, по собственному выражению автора—«ставящему проблемы» (см. статью Шагинян—«Писатель болен», недавно вышедшую в Гиз'е)

Тематическую актуальность таких «производственных» рассказов, как «Три станка», «Качество продукции»,— отрицать нельзя. Они как будто бы написаны на «злобу дня» и вместе с тем представляют собою интерес не только временный, именно благодаря тому, что в них затрагиваются те или иные проблемы современного быта.

Но в итоге—читатель, познакомившийся со всем рецензируемым сборником, не может рассеять некоторого недоумения и впечатления двойственности: уж очень неоднороден материал, «избранный» Мариэттой Шагинян.

Виктор Гольцев.

Т. Дмитриев.—«Зеленая зыбь». Роман. Изд. «Московское Товарищество писателей». М. 1927. Стр. 285. Ц. 2 р.

Роман Т. Дмитриева написан в отчетливой реалистической манере, посвящен интересной, хотя и не раз уже подымавшейся в современной литературе, теме, занимателен, читается легко. На ясном, не особенно искусном, но крепко сколоченном языке благотворно сказались бережные, без излишних претензий, поиски редких, но не слишком архаичных «уездных» словечек русской речи. Тут и «жидель» осенних дней уездных, и «несклепистые» сынки мужицкие, и множество саморождающихся прибауток—сослужили автору скромную, но верную службу...

Есть, однако, в романе черты, свидетельствующие, что основной опасности, подстерегающей современного писателя, автору не удалось преодолеть. Роман его, особенно в начале, схематичен. Схема умертвила, сделала условными многие страницы первой части, искусственно упростила характеры и коллизии. Наблюдательности же автор далеко не лишен, и при большей свободе его от предумышленных схем жизнь била бы ключом на его страницах. О том свидетельствуют превосходно написанные сцены второй части романа и два выразительнейших характера: военкома Порывалова и конокрада Дудорова, при обрисовке которых автор сознательно стер предварительные чертежи.

Оттого речь их жива, поступки достаточно неожиданны, чтоб привлечь и увлечь внимание читателя, оттого они запоминаются. Центральная фигура романа однотонна—комиссар Тюрин в глухом уездном углу российском ведет напряженную борьбу с зеленою зыбью крестьянского моря—ушедшими в леса дезертирами. После долгой и острой борьбы он побеждает, и гибнут поводыри лесной братии—пять бандитов, выступающих сознательными непримиримыми врагами революции. Вот они: купеческий сынок, кулацкий сынок.

купеческий прихвостень, конокрад, и мужик-тугодум. Если бы не гудело в романе половодье боевого времени гражданской войны, не звенели бы поля и леса крестьянские буйною и жестокою жизнью, крепко, вопреки схеме, ухваченной автором, если бы не переплескивалась жизнь, даже через хорошо продуманные чертежи—роман был бы не удачей автора, а его поражением. Этого не случилось, и вторую книгу Т. Дмитриева мы можем отметить, как не лишенное недостатков, но отрадное его достижение.

Як. Бенни.

«Московский пушкинист». Вып. I (1837—1927). Статьи и материалы под редакцией М. Цявловского. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1927.

Первый выпуск нового издания, посвященного коллективному изучению Пушкина, приходится всячески приветствовать. Известное академическое издание «Пушкин и его современники» выходит за последние годы крайне редко; начатое в свое время С. А. Венгеровым, аналогичное издание оборвалось на IV вып. Между тем потребность в живом органе нашей растущей и зреющей «науки о Пушкине» совершенно очевидна. В частности отрадно нарождение его в Москве, где за последние годы заметно усилилось и углубилось изучение Пушкина, где сосредоточено лучшее собрание рукописей поэта, где ряд мест теснейшим образом связан с его биографией (начиная с момента рождения). Вот почему мысль покойного М. О. Гершензона издавать в Москве «Пушкинский ежегодник» отличалась несомненною жизнеспособностью.

К сожалению, составленный покойным исследователем сборник до сих пор не увидел света. Но ближайший сотрудник М. О. Гершензона по «Пушкинскому ежегоднику»—М. А. Цявловский—возродил его идею в новой форме небольших выпусков под общим заглавием «Московский пушкинист». Первая книга этого «непериодического издания» в связи с 90-летием кончины Пушкина посвящена целиком публикации материалов, относящихся к дуэли и смерти поэта. Все сообщения основаны на неизданных документах и представляют первостепенный интерес.

Вопрос о том, кто был автором знаменитых анонимных пасквилей, полученных Пушкиным незадолго до дуэли, разрешает по-новому В. В. Гольцев. На основании неизданных записок А. М. Голицына, в которых рассказывается о том, как Александр II в интимном кругу заявил однажды, что «автором анонимных писем, которые послужили причиной смерти Пушкина, был Нессельроде», исследователь приходит к выводу, что весьма враждебно настроенная к поэту графиня М. Д. Нессельроде могла быть инициатором пасквилей, выполненных другим лицом (вероятней всего, П. В. Долгоруковым). Отрывки из писем А. И. Тургенева и Я. М. Неверова, публикуемые М. А. Цявловским, Е. Н. Коншиной, Н. В. Голицыным и Л. В. Крестовой, сообщают ряд новых живых и характерных штрихов об эпилоге жизни поэта. Сведения эти дополняются сообщениями В. Ф. Саводника из дневников В. А. Муханова, рисующих картину общественного впечатления от дуэли и смерти Пушкина. Наконец, В. С. Нечаева вносит, на основании документов гончаровского архива, ряд новых штрихов в характеристику Дантеса. Это был, оказывается, практический делец и денежный карьерист, всячески стремившийся урвать львиную долю при дележе гончаровского наследства, даже в ущерб интересов Н. Н. Пушкиной, в жизни которой он сыграл такую трагическую роль.

Л. Гроссман.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Редакция: **А. В. Луначарский. В. П. Полонский. И. И. Степанов-Скворцов.**